



СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

1977



ИЗДАТЕЛЬСТВО • НАУКА •

Гос.
Публич.
Библиот.
в Ленинг.

Редакционная коллегия:

Ю. П. Петрова-Аверкиева (главный редактор), **В. П. Алексеев**, **С. А. Арутюнов**,
Н. А. Баскаков, **С. И. Брук**, **Л. М. Дробижева**, **Г. Е. Марков**, **Л. Ф. Моногарова**,
А. П. Окладников, **Д. А. Ольдерогге**, **А. И. Першиц**, **Н. С. Полищук**
(зам. главн. редактора), **Ю. И. Семенов**, **В. К. Соколова**, **С. А. Токарев**,
Д. Д. Тумаркин (зам. главн. редактора), **К. В. Чистов**

Ответственный секретарь редакции *Н. С. Соболев*

Адрес редакции: Москва В-36, ул. Д. Ульянова, 19.

В. И. Васильев

ПРОБЛЕМЫ ЭТНОГЕНЕЗА И ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ НАРОДОВ СЕВЕРА

(НА САМОДИЙСКИХ МАТЕРИАЛАХ)

Список работ, посвященных исследованию процессов этнического сложения народов Крайнего Севера СССР, довольно обширен. Если исключить публикации, касающиеся частных вопросов, то в него войдут работы В. Н. Чернецова об этногенезе обских угров, Б. О. Долгих о происхождении иганасан, долган и энцев, И. С. Вдовина об этногенезе ительменов, книга Л. В. Хомич, где рассматривается генезис ряда элементов традиционной культуры и освещаются некоторые события этнической истории ненцев, монографии М. Г. Левина по этнической антропологии народов Дальнего Востока, И. С. Гурвича и И. С. Вдовина по этнической истории Северо-Востока Сибири и Камчатки¹. Сюда же при- мыкает и книга Г. И. Пелих о происхождении селькупов².

И все же на сегодняшний день нет ни одной работы, где бы на материалах народов Севера сложение определенного этноса было прослежено в историко-хронологической последовательности от самых начальных этапов этого процесса до нашего времени. Более того, подобных работ немного и в общем фонде советской этнографической науки.

Такое положение, с нашей точки зрения, объясняется двумя причинами: сложностью исследуемых вопросов, требующих привлечения разнообразного и широкого круга источников из различных областей исторической науки и смежных научных дисциплин и кропотливой многолетней экспедиционной работы непосредственно в среде изучаемого народа, а также общей неразработанностью теории формирования народов на отдельных этапах и фазах их исторического и этнического развития.

Если начать со второй из названных причин, то нельзя не отметить, что, хотя проблема формирования народов интересовала еще историков античного времени и эпохи Средневековья, попытки теоретического ее осмысления были предприняты главным образом советскими исследователями.

¹ В. Н. Чернецов. Очерк этногенеза обских угров.— «Краткие сообщения Ин-та истории материальной культуры» (далее — КСИМК), вып. IX, М., 1941; Б. О. Долгих. Происхождение иганасанов.— В кн.: «Сибирский этнографический сборник», I («Труды Ин-та этнографии», далее — ТИЭ, т. XVIII), М.—Л., 1952; *его же*. Происхождение долган.— В кн.: «Сибирский этнографический сборник», V, (ТИЭ, т. 84), М., 1963; *его же*. Очерки по этнической истории ненцев и энцев. М., 1970; И. С. Вдовин. К проблеме этногенеза ительменов.— «Сов. этнография» (далее — СЭ), 1970, № 3; Л. В. Хомич. Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев. Л., 1976; М. Г. Левин. Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока.— ТИЭ, т. XXXVI, М., 1958; И. С. Гурвич. Этническая история Северо-Востока Сибири.— ТИЭ, т. 89, М., 1966; И. С. Вдовин. Очерки по истории и этнографии чукчей. Л., 1965; *его же*. Очерки этнической истории коряков. Л., 1974.

² Г. И. Пелих. Происхождение селькупов. Томск, 1972.

Важным хронологическим этапом явилась вторая половина 1940-х — начало 1950-х годов, когда по данной проблеме были опубликованы статьи А. Д. Удальцова, М. И. Артамонова, С. А. Токарева, Н. Н. Чебоксарова³.

И тем не менее приходится признать, что общая теория формирования и этнического развития современных народов в законченном виде еще не разработана. Об этом свидетельствует прежде всего крайняя расплывчатость терминологии и, в частности, различная трактовка ученых, работающими в указанной области, понятий «этногенез» и «этническая история». Существует «широкое» и «узкое» толкование этих терминов. В первом случае этногенез рассматривается как составная часть истории этноса на всех этапах его развития⁴, во втором — только на определенных начальных этапах, когда этнос синтезируется из различных, зачастую лингвистически и антропологически разнородных компонентов в целостное ядро⁵. Наконец, стоит привести и известное определение этногенеза как «элементов, из которых составила данная народность и ее культура, и тех исторических процессов, в результате которых складывался и развивался народ», принадлежащее С. А. Токареву⁶. Как видим, это определение фактически не оставляет места для применения термина «этническая история», обнимая все стадии формирования и развития народности обобщенным термином «этногенез». Столь же неправомерно, с нашей точки зрения, излишне архаизировать термин «этническая история», распространяя это понятие на все стадии развития человеческого общества, начиная «от появления Homo sapiens», как это делает Ю. Б. Стракач⁷.

Автор настоящей статьи считает необходимым разграничивать оба названных термина, понимая под этногенезом процесс исторического формирования этноса или, иными словами, его сложения из разнородных (разноязычных, разнорасовых) этнических компонентов⁸. В этой связи нас особенно привлекает определение Н. Н. Чебоксарова, который рассматривает этногенез как «историю всех коллективных этнических предков», вошедших в состав какой-либо этнической общности⁹. Мы также считаем необходимым подчеркнуть, что «при разборе этногенеза любого народа следует иметь в виду только коллективных этнических предков»¹⁰ (курсив мой. — В. В.). Если стоять на этой точке зрения, то период исторического развития этноса, с заключительной стадии его формирования до любого заданного хронологического отрезка, включая современный период, логически попадает под понятие «этническая история». Иными словами, под этнической историей понимается процесс исторического развития определенного сформировавшегося этноса.

Конечно, на длительном пути исторического развития этнос включает в себя иноязычные этнические группы, утрачивает определенные части собственной структуры, поглощаемые инородной, иноязычной сре-

³ А. Д. Удальцов. Теоретические основы этногенетических исследований. — СЭ (сборник статей), 1947, VI—VII; М. И. Артамонов. К вопросу об этногенезе в советской археологии. — КСИИМК, вып. XXIX, М., 1949; С. А. Токарев. К постановке проблем этногенеза. — СЭ, 1949, № 3; С. А. Токарев, Н. Н. Чебоксаров. Методология этногенетических исследований на материале этнографии. — СЭ, 1951, № 4.

⁴ М. Г. Левиц. Указ. раб., с. 5.

⁵ Ю. В. Бромлей. Этнос и этнография. М., 1973, с. 237, 238.

⁶ С. А. Токарев. Указ. раб., с. 15.

⁷ Ю. Б. Стракач. Периодизация этнической истории как научная проблема. — В сб.: «Бахрушинские чтения», вып. 1. Новосибирск, 1973.

⁸ С аналогичной трактовкой понятия «этногенез» недавно выступил и М. В. Крюков (М. В. Крюков. Эволюция этнического самосознания и проблема этногенеза. — В сб.: «Расы и народы», вып. 6, 1976, с. 63).

⁹ Н. Н. Чебоксаров. Проблемы происхождения древних и современных народов. Вступительное слово на симпозиуме. — В сб.: «Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук» (далее — МКАЭН). М., 1970, с. 757.

¹⁰ Там же, с. 756.

дой. Этот процесс фактически перманентен и пронизывает всю историю этноса в качестве необходимого и даже обязательного условия его развития. С таких позиций термин «этногенез» применим и для периода этнической истории, когда основное ядро этноса уже сформировано, но он продолжает впитывать (или отторгать от себя) определенные компоненты. И в этом смысле правомерно говорить о том, что этническая история включает в себя элементы этногенеза.

И тем не менее следует еще раз подчеркнуть, что в данном случае этногенетические процессы не являются определяющими, а носят сопутствующий характер, как всего лишь одно из условий исторического развития этноса.

Терминологическое разграничение понятий «этногенез» и «этническая история» требует, как нам уже приходилось писать ранее¹¹, дифференцированного подхода.

В советской исторической литературе, касающейся разработки названной проблематики, всегда отмечалась необходимость комплексного использования данных различных наук: археологии, антропологии, этнографии, лингвистики и др. Это положение, наиболее полно обоснованное С. А. Токаревым¹², в последнее время неоднократно подчеркивавшееся Ю. В. Бромлеем¹³, применительно к малым народам Севера нашло освещение в работе И. С. Гурвича¹⁴.

Полностью разделяя указанную точку зрения, мы хотели бы обратить особое внимание на то обстоятельство, что степень значимости данных различных научных дисциплин для исследования процессов этногенеза и этнической истории одного и того же народа не одинакова. Очень важно иметь в виду, что, поскольку процесс накопления исходных материалов в различных отраслях науки идет с разной степенью интенсивности, их роль в решении вопросов этногенеза и этнической истории коренных народов на определенных временных этапах может существенно меняться.

Переходя непосредственно к проблемам формирования и этнического развития самодийских народностей, мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что исследование их этногенеза в первую очередь сводится к выявлению этнических (родовых, родо-племенных) компонентов, результатом взаимодействия которых явилось сложение современных ненцев, энцев, нганасан и селькупов как самостоятельных этносов. Поэтому наряду со сравнительно-лингвистическим анализом словарного фонда современных самодийских языков и языков ныне исчезнувших самодийских групп Южной Сибири большое значение для решения проблем этногенеза приобретают данные этнонимии¹⁵. Как справедливо отмечают лингвисты, этнонимы часто заимствуются независимо от их языковой принадлежности, в результате чего в этнонимических названиях нередко консервируются древние фонетико-морфологические и лексические явления¹⁶.

В сочтении с историческими, топонимическими, фольклорными и другими источниками материалы этнонимии позволяют выявить в составе ненцев и других северосамодийских народов этнические подразделения, относительно которых можно с большей или меньшей степенью

¹¹ В. И. Васильев. Методические аспекты исследования этногенеза и этнической истории народов Севера.— В сб.: «Происхождение аборигенов Сибири». Томск, 1976.

¹² С. А. Токарев. Указ. раб.

¹³ Ю. В. Бромлей. Указ. раб., с. 237, 238; *его же*. Этнография на современном этапе.— «Коммунист», 1974, № 16, с. 67.

¹⁴ И. С. Гурвич. Изучение этногенеза народов Севера в советский период.— В сб.: «Этногенез и этническая история народов Севера». М., 1975.

¹⁵ С. А. Токарев. Указ. раб., с. 28—30; М. Г. Левин. Указ. раб., с. 22.

¹⁶ Ф. С. Чаплин. Этнонимия в алтаистике.— В сб.: «Проблемы алтаистики и монголоведения», 1975, вып. 2, сер. лингвистики, М., с. 98, 99.

вероятности предполагать их южносибирское или же автохтонное происхождение.

Еще М. А. Кастрен обратил внимание на то, что отдельные родовые названия «самоедов» Сибирского Севера находят аналогии в родовом составе камасинцев, карагасов и других небольших в численном отношении народов, населяющих область Саянского нагорья¹⁷. К настоящему времени список таких сопоставлений основательно пополнился¹⁸.

В первую очередь, обращает внимание название Маду у тундровых энцев (выступающее обычно как собирательное для всей этой самодийской группы), а также родовые имена Сойта и Мундеда. К числу южносибирских этнонимов в составе лесной группы энцев можно отнести родовые названия Муггади, Бай, Ючи и Аседа. Если обратиться к немецким материалам, то в аспекте южносибирских связей заслуживают рассмотрения этнонимы Харю (Кара) — у тундровых ненцев; Нгзваседа, Юуси и Вэла — у лесных ненцев; Выучи, Вэли, Лэхэ и Тайбари (Тысыя) — у ненцев Европейского Севера.

Что же касается родовых или родо-племенных компонентов в составе современных северосамодийских народностей, которые восходят к автохтонному досамодийскому населению Европейского Севера и Западной Сибири, то здесь материалы этнонимики дают сравнительно немного.

Пожалуй, наибольшего внимания заслуживает гипотеза Ю. Б. Симченко, согласно которой формант «чера», присутствующий в северосамодийских языках в качестве составной части ряда этнонимических и топонимических названий, выполняет роль своего рода этнического определителя¹⁹. В частности, как считает этот исследователь, присутствие данного форманта в родовых названиях типа Фалочера (Чунанчера) и Линанчера у нганасан, Соляндер (Сольянчер) и Лаптандер у тундровых европейских и сибирских ненцев одновременно служит указанием на генетическую связь членов этих родов с автохтонным населением Заполярья²⁰.

Важным лингвистическим источником при исследовании процессов этногенеза являются материалы топонимики, которые впервые были использованы в работах исторического характера еще в конце прошлого века²¹. Значение этих материалов особенно возросло в послевоенные годы в связи с широко развернувшимися исследованиями в области топонимики почти на всей территории СССР. При этом приемы и методы использования данных топонимики в исторических работах постоянно совершенствовались²², в особенности, когда это касалось «дописменной истории и истории бесписьменных народов»²³.

Наиболее значительные достижения сибирской топонимики связаны с именем А. П. Дульзона. На опубликованной им топонимической карте

¹⁷ М. А. Castren. Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845—1849. St.-Pb., 1856, S. 389.

¹⁸ В. И. Васильев. К проблеме этногенеза северосамодийских народов. — В сб.: «Социальная организация и культура народов Севера», М., 1974.

¹⁹ Ю. Б. Симченко. Некоторые данные о древнем этническом субстрате в составе народов Северной Евразии. — В сб.: «Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии», М., 1968, с. 194—198.

²⁰ Там же, с. 200, 204; Ю. Б. Симченко. Культура охотников на оленей Северной Евразии. М., 1976, с. 46, 47.

²¹ А. Соболевский. Названия населенных мест и их значение для русской исторической этнографии. — «Живая старина», т. 5, вып. 1, 1895.

²² С. Б. Веселовский. Топонимика на службе истории. — «Исторические записки», кн. 17, 1945; А. И. Попов. К вопросу об использовании данных топонимики в историческом исследовании. — «Вестник ЛГУ», вып. 3, 1948; Б. А. Серебрянников. О методах изучения топонимических названий. — «Вопросы языкознания», вып. 6, 1959.

²³ В. А. Жучкевич. К вопросу о возможностях и приемах применения топонимики в исторических исследованиях. — «История СССР», 1971, № 3.

Западной Сибири в пределах лесостепной зоны выделены три обширных ареала гидронимов: «ча» — в пределах Горного Алтая и на Саянах (главным образом в бассейне реки Кемчик) и «ба» — в двух далеко территориально отстоящих друг от друга регионах (в бассейне обских притоков Ини и Чумыша и на правобережье Енисея к северу от устья Тубы)²⁴.

Несколько ранее на широкое распространение этого гидронима в Восточно-Саянской горной области и частично в Западном Присяянье указал Л. Р. Кызласов²⁵. На территории северо-восточной Тувы целый ряд самодийских по принадлежности гидронимов выявлен С. И. Вайнштейном²⁶. Значительный круг самодийских гидронимов устанавливается также в Прибайкалье, на территории современной Бурятии²⁷.

В значительно меньшей степени разработана этнотопонимика Европейского Севера и Северной Сибири. Особенно это касается ее субстратного досамодийского пласта, который практически еще не выявлен на уровне установления этнической природы формантов. Однако известные шаги сделаны и в этой области, правда, главным образом на европеиско-северорусском материале²⁸.

В литературе уже отмечалось, что для установления территорий и границ расселения этнических групп Сибири в древности, комплекса их хозяйственных занятий, специфических черт материальной культуры и быта и, в конечном итоге, решения проблем этногенеза важное значение имеют материалы археологии²⁹.

Значительный объем археологических работ, осуществленных на территории Западной Сибири, в особенности в последние десятилетия, открытие новых культурных памятников существенно обогатили разработку ранних этапов этногенеза самодийцев.

В 1963 г. В. Н. Чернецовым была высказана мысль о том, что при первоначальном расселении с юга (из района Приаралья. — В. В.) «самодийская ветвь... занимает территорию, лежащую несколько восточнее зауральской культуры финно-угров, т. е. приречные долины по Ишиму и Иртышу»³⁰. Эта точка зрения получила дальнейшее развитие и в более поздних работах В. Н. Чернецова. Он, в частности, писал, что в средней фазе неолита (т. е. около IV тысячелетия до н. э.) пространство от Иртыша до среднего и верхнего Енисея «следует рассматривать как территорию формирования древнесамодийских групп»³¹.

Наиболее существенные достижения западносибирской археологии в области этногенетики в последнее время связаны с именем М. Ф. Косарева. В ряде работ он нарисовал стройную картину ранних этапов самодийского этногенеза. Согласно мнению М. Ф. Косарева, в позднем неолите Западной Сибири достаточно отчетливо выделяются два боль-

²⁴ А. П. Дульзон. Этнический состав населения Западной Сибири по данным топонимии. — «Доклад на XXV Международном конгрессе востоковедов». М., 1960, см. карту между с. 2 и 3.

²⁵ Л. Р. Кызласов. К вопросу об этногенезе хакасов. — В сб.: «Ученые записки Хакасского НИИ языка, литературы, истории», вып. VII. Абакан, 1959, с. 73.

²⁶ С. И. Вайнштейн. Тувишцы-тоджинцы. М., 1961, с. 21.

²⁷ М. Н. Мельхеев. Топонимика Бурятии. Улан-Удэ, 1969, с. 35.

²⁸ А. К. Матвеев. О древнем расселении самодийцев по данным топонимии. — В сб.: «Топонимика Востока». М., 1964; его же. Субстратная топонимика Русского Севера. — «Вопросы языкознания», 1964, № 2.

²⁹ Л. Р. Кызласов. Роль археологических источников для изучения истории малых народов Сибири. — «История СССР», 1975, № 6.

³⁰ В. Н. Чернецов. К вопросу о месте и времени формирования уральской (финно-угро-самодийской) общности. — В сб.: «Congressus internationalis Fenno-Ugristarum», Budapestini Habitus, 20—24.IX. Budapest, 1960, p. 410, 411.

³¹ В. Н. Чернецов. Опыт выделения этнокультурных ареалов в Северо-Восточной Европе и Северной Азии. — В сб.: «Происхождение аборигенов Сибири» (далее — ПАС). Томск, 1969, с. 116—118.

ших этнокультурных массива: западный (зауральский) и восточный (самусьско-нарымский)³², первый из которых по этнической принадлежности был самодийским³³.

В то же время сходство поздненеолитической гребенчатой керамики Зауралья с ямочно-гребенчатой керамикой Волго-Камского ареала Восточно-Европейской равнины позволяет, с точки зрения М. Ф. Косарева, считать именно Волго-Камье той исходной территорией, где в эпоху развитого неолита происходило формирование самодийской языковой семьи. Отсюда, как он полагает, «самоеды» в позднем неолите переместились за Урал и постепенно распространились далее на восток на все пространство Обь-Енисейского лесостепного междуречья вплоть до района современного Красноярска³⁴, в окрестностях которого обнаружены комплексы неолитических памятников с гребенчатой керамикой, генетически связываемые А. П. Окладниковым с самодийским этносом³⁵.

Эпоха бронзы и раннего железа (II—середина I тысячелетия до н. э.—I тысячелетие н. э.) на юге Западной и Средней Сибири знаменуется целым рядом чрезвычайно разветвленных по своим географическим параметрам археологических культур, этническая принадлежность носителей которых устанавливается, однако, далеко не бесспорно. К их числу, например, принадлежит еловская, которая выделилась еще в позднем неолите. Создателями этой культуры, дислоцировавшейся первоначально на территории Среднего Прииртышья, а позднее утвердившейся и в Томско-Нарымском Приобье, было охотничье-рыболовецкое население, которое М. Ф. Косарев по этнической принадлежности склонен считать самодийцами³⁶.

В VII—V вв. до н. э. севернее Томска (в нижнем и среднем течении Чулыма и верховьях Кети) существовала молчановская археологическая культура, послужившая затем основой для возникновения кулайской археологической культуры Нарымского Приобья и родственных культур раннего железного века Притомья. Хотя в настоящее время большинство археологов разделяют мнение об этнической многокомпонентности кулайской культуры, положение В. А. Могильникова о том, что основное ядро ее составляли самодийские племена³⁷, находит подтверждение и в работах Л. А. Чиндиной, исследовавшей памятники последующего релкинско-малгетского этапа (VI—VIII вв. н. э.), обнаруживающие определенную культурную преемственность с кулайскими комплексами³⁸.

С самодийским этническим элементом связывается в настоящее время большереченская культура Верхней Оби (VIII в. до н. э.—I в. н. э.)³⁹, влияние которой прослеживается и дальше на север в Новосибирское

³² М. Ф. Косарев. Этнокультурные ареалы Западной Сибири в бронзовом веке.— В сб.: «Из истории Сибири» (далее — ИИС), вып. 7. Томск, 1973, с. 65; *его же*. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. М., 1974, с. 148.

³³ М. Ф. Косарев. Некоторые проблемы древней истории Обь-Иртышья.— «Сов. археология» (далее — СА), 1966, № 2.

³⁴ М. Ф. Косарев. Этнокультурные ареалы Западной Сибири в бронзовом веке, с. 69, 70; *его же*. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья, с. 155.

³⁵ А. П. Окладников. Из истории этнических и культурных связей неолитических племен Среднего Енисея (к вопросу о происхождении самодийских племен).— СА, 1957, № 1.

³⁶ М. Ф. Косарев. Этнокультурные ареалы Западной Сибири в бронзовом веке, с. 17; *его же*. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья, с. 148, 154, 155.

³⁷ В. А. Могильников. К вопросу о самоедской принадлежности культур эпохи железа Среднего Приобья.— ПАС, Томск, 1969, с. 176.

³⁸ Л. А. Чиндина. Могильник «Релка».— В сб.: «Вопросы истории Сибири», вып. 8. Томск, 1974.

³⁹ В. А. Могильников. К вопросу об этнокультурных ареалах Среднего Прииртышья и Приобья эпохи раннего железа.— В сб.: «Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири». Томск, 1970, с. 190.

Приобье⁴⁰. В. А. Могильников считает самодийской также среднеиртышскую культуру, дислоцирующуюся на сравнительно компактном участке Прииртышья, примыкающем к низовьям р. Оми и по р. Таре. По предположению этого исследователя, носителями среднеиртышской культуры были лесные древнесамоедские племена, проникшие со Средней Оби на Иртыш в последней трети I тысячелетия до н. э.⁴¹ В одной из недавних работ В. А. Могильникова к самодийцам причислены и носители верхнеобской культуры, памятники которой располагались в лесных районах Приобья к югу от Новосибирска, главным образом по правобережью Оби. Как предполагает В. А. Могильников, генетически с населением верхнеобской культуры связаны маторы, койбалы и некоторые другие южносамодийские этнические группы⁴².

Сравнительно недавно была высказана точка зрения и о возможной принадлежности к самодийцам части населения таштыкской культуры⁴³. В последнее время археологи склонны считать самодийскими и знаменитые культуры Обь-Иртышского бассейна — усть-полуйскую (во всяком случае на ее заключительном этапе) и потчевашскую, а В. Ф. Генинг допускает даже, что в середине I тысячелетия н. э. самодийцы обитали к западу от Урала. «Коль скоро, — пишет он, — нам удалось установить родственность куштерьякского и каралкуловского типов (археологические комплексы на территории современной Башкирии, в бассейне р. Белая. — В. В.) с западносибирскими культурами середины I тысячелетия н. э., то мы и приуральское население можем считать самодийским по своему происхождению»⁴⁴.

С позиций гипотезы о двухкомпонентности самодийского этногенеза важное значение приобретают и археологические памятники, обнаруженные в Заполярье и Приполярье, на территории современного расселения ненцев и родственных им по языку народов.

Хотя число подобных памятников пока еще сравнительно невелико, можно наметить три группы археологических комплексов, видимо связанных генетически с досамодийским аборигенным населением тундровой зоны: большеземельский — в Большеземельской тундре, ямальский — на северной оконечности полуострова и, наконец, разветвленный ствол разных по происхождению и хронологии культур, выявленных и обследованных Л. П. Хлобыстиным на центральном Таймыре. Анализ материалов указанных археологических памятников и в первую очередь большое сходство, если не сказать тождество, керамики большеземельских стоянок с керамикой стоянок с территории Нижней Оби позволили Л. П. Лашуку выдвинуть гипотезу об этническом единстве создателей обеих культур. По его предположению, большеземельская культура возникла в результате того, что охотники на дикого оленя в своем движении вслед за стадами этих животных пересекли Уральский хребет и проникли в североевропейскую тундру⁴⁵.

Значение антропологических данных и методика их использования при исследовании проблем этногенеза обстоятельно освещены в совет-

⁴⁰ Т. Н. Троицкая. Северные связи племен Новосибирского Приобья в I тыс. до н. э. — ПАС, Томск, 1969, с. 175.

⁴¹ В. А. Могильников. К вопросу об этнокультурных ареалах Среднего Прииртышья и Приобья эпохи раннего железа, с. 183, 184.

⁴² В. А. Могильников. К проблеме тюркизации населения Притомья. — ПАС, Томск, 1976, с. 174—176.

⁴³ В. А. Могильников. К вопросу о самоедской принадлежности культур эпохи железа Среднего Приобья, с. 180; *его же*, К этнокультурной характеристике Западной Сибири в эпоху раннего железа. — ИИС, Томск, вып. 7, 1973; В. П. Алексеев. К происхождению таштыкского населения Южной Сибири. — В кн.: «Проблемы археологии Урала и Сибири», М., 1973.

⁴⁴ В. Ф. Генинг. Южное Приуралье в III—IV вв. н. э. — В кн.: «Проблемы археологии и древней истории угров». М., 1972, с. 214.

⁴⁵ Л. П. Лашук. Очерк этнической истории Печорского края. Сыктывкар, 1958, с. 27.

ской литературе⁴⁶. Первые шаги в антропологическом исследовании самодийского этногенеза были сделаны еще до революции⁴⁷. Из советских антропологов наиболее значительные работы в довоенные годы были выполнены С. А. Шлугером⁴⁸. Последние антропологические обследования различных ненецких групп, выполненные Г. А. Аксяновой, дали интересный материал относительно меньшей степени монголоидности европейских ненцев, но в то же время не подтвердили наличия лопарской примеси у западных групп (тиманской, малоземельской)⁴⁹.

И. М. Золотарева на основании серологических материалов отнесла ненцев, энцев и нганасан к арктическому типу населения Северной Сибири, для которого характерна высокая частота группы А, низкая частота группы В и высокая частота группы N (равная или превышающая частоту М)⁵⁰. В итоге она приходит к выводу, что по своему расовому типу современные нганасаны могут быть отнесены к древнейшему антропологическому пласту Северной Сибири, к которому из уральских народов принадлежат также юкагиры⁵¹. Соматологические наблюдения В. П. Алексеева над лесными ненцами позволили ему выдвинуть гипотезу, что последние обнаруживают определенные черты сходства с юкагирами⁵². Однако гипотезу об общности арктического субстрата на основании антропологических данных он ставит под сомнение⁵³.

Особенно важным в рамках темы самодийского этногенеза нам представляется вывод И. М. Золотаревой о том, что «антропологические материалы хорошо подтверждают концепцию отделения энецкого этногенеза от ненецкого». «Энцы,— пишет она далее,— вполне реально отличаются от енисейских ненцев по своему антропологическому типу в сторону усиления выраженности монголоидных особенностей»⁵⁴.

Важная роль этнографических данных и в первую очередь различных элементов, относящихся к сфере материальной культуры, для решения проблем этногенеза неоднократно отмечалась в литературе и особенно разобрана в уже упомянувшейся работе С. А. Токарева⁵⁵.

Анализ материальной и духовной культуры ненцев, энцев и нганасан убедительно свидетельствует о двухкомпонентном сложении самодийского этнического круга. В частности, можно считать доказанным, что глухая одежда типа парки (у нганасан и энцев), существование у них в прошлом своеобразной нарты-лодки, послужившей прототипом будущей оленьей нарты, лыжи, а также культ матерей природы, различные обряды и запреты, связанные с промыслом дикого оленя и нерпы, почитание священных камней и т. д. восходят своими корнями к так называемому циркумполярному комплексу, этническим носителем которого было аборигенное досамодийское население тундровой зоны Европей-

⁴⁶ Г. Ф. Дебец, М. Г. Левин, Т. А. Трофимова. Антропологический материал как источник изучения вопросов этногенеза.— СЭ, 1952, № 1; М. Г. Левин. Указ. раб.

⁴⁷ С. И. Руденко. Антропологическое исследование инородцев Северо-Западной Сибири.— В сб.: «Записки АН по физико-математическому отделению», СПб., 1914, т. XXXIII, № 3.

⁴⁸ С. А. Шлугер. Антропологическое исследование ненцев.— «Краткие сообщения о научных работах Института и Музея антропологии МГУ», М., 1941.

⁴⁹ Г. А. Аксянова. Проблема древнейшего населения Европейского Севера в свете данных одонтологии.— «Вопросы антропологии», вып. 47, 1974, с. 189; *ее же*. Антропологические исследования у зауральских ненцев.— В сб. «Полевые исследования ИЭ, 1974», М., 1975, с. 239.

⁵⁰ И. М. Золотарева. Распределение групп крови у народов Северной Сибири.— «Доклад на VII МКАЭН», М., 1964, с. 6, 7.

⁵¹ И. М. Золотарева. О некоторых проблемах этнической антропологии Северной Азии.— СЭ, 1971, № 1, с. 44.

⁵² В. П. Алексеев. Лесные ненцы.— «Вопросы антропологии», вып. 39, 1971, с. 73.

⁵³ В. П. Алексеев. Антропологический комментарий к гипотезе циркумполярной культуры.— В сб.: «Этногенез и этническая история народов Севера», М., 1975, с. 73.

⁵⁴ И. М. Золотарева. Антропологическая дифференциация восточных самодийцев.— В сб.: «Антропология и геногеография», М., 1974, с. 228.

⁵⁵ С. А. Токарев. Указ. раб., с. 30—35.

ского Севера и Западной Сибири⁵⁶. С югом Сибири, со своей стороны, связано большинство элементов самодийского оленеводческого комплекса⁵⁷, распахная одежда⁵⁸ и некоторые другие элементы материальной культуры⁵⁹.

Фольклор также может быть использован при решении проблем этногенеза конкретных народов. Это прежде всего этногенетические предания, в которых повествуется о происхождении или родственной взаимосвязи отдельных родов. Таковы, в частности, энецкие предания о происхождении рода Лодоседа; в них отмечается, что члены этого рода совершают дикие, несовместимые с нормальным поведением людей поступки. Как справедливо писал Б. О. Долгих: «Может быть, такими странными людьми казались пришедшим с юга предкам оленеводов-самодийцев аборигены Севера»⁶⁰.

Еще одна категория источников, которые могут быть привлечены для решения вопросов этногенеза,— исторические. Для бесписьменных народов, таких как ненцы, энцы и другие самодийцы, на первый план выступают русские источники, в частности архивные материалы XVII в. по югу Сибири. Родовые, ватажные, волостные и иные наименования, зафиксированные в этих документах, ныне уже почти исчезнувшие с историко-географической карты, имеют большое значение для этнонимических сопоставлений, позволяющих в свою очередь очертить границы былого расселения самодийских родо-племенных групп в Южной Сибири. С этой целью могут быть привлечены и древнетюркские надписи, а также материалы, содержащиеся в древнекитайских хрониках.

Совокупность перечисленных источников дает возможность говорить о том, что перемещение самодийцев в тундровые и таежные районы Заполярья и Приполярья происходило не одновременно, а несколькими волнами, каждая из которых продвинулась на Север, очевидно, независимо от остальных, под влиянием самостоятельных факторов, обусловивших этот процесс⁶¹. В результате синтеза самодийскоязычных пришельцев и автохтонов Заполярья и сформировалось этническое ядро современных северосамодийских народностей, основные элементы комплекса их материальной и духовной культуры.

Что же касается существующих языковых, антропологических, лингвистических и этнографических различий между отдельными самодийскими народами, то они в значительной степени объясняются, по-видимому, тем, что в каждом конкретном случае соотношение южносибирских и субстратных компонентных частей было различным. Кроме того, в состав тех или иных народов или даже этнографических групп бесспорно вошли различные по своей этнической природе южносибирские и субстратные подразделения. В отдельных случаях, как это имело место с нганасанами, наряду с самодийскими и субстратными этническими группами в этногенезе на его позднейших этапах активное участие принимали иноязычные (в данном случае тунгусоязычные) компоненты.

Конечно, необходимо учитывать, что когда мы имеем дело с конкретными северными этносами, завершающий этап их формирования с точки зрения абсолютной хронологии устанавливается в достаточной степени

⁵⁶ В. Н. Чернецов. К вопросу об этническом субстрате в циркумполярной культуре.— «Доклад на VII МКАЭН», М., 1964; Ю. Б. Симченко. Культура охотников на оленей Северной Евразии.

⁵⁷ С. И. Вайнштейн. Проблема происхождения оленеводства в Евразии (I. Саянский очаг одомашнивания оленя).— СЭ, 1970, № 6.

⁵⁸ Н. Ф. Прыткова. Одежда народов самодийской группы как исторический источник.— В кн.: «Одежда народов Сибири», Л., 1970.

⁵⁹ Л. В. Хомич. Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев.

⁶⁰ «Мифологические сказки и исторические предания энецов». (Записи, введение и комментарии Б. О. Долгих).— ТИЭ, т. LXVI, М., 1961, с. 225.

⁶¹ В. И. Васильев. К проблеме этногенеза северосамодийских народов.

условно. В частности, для большинства малых народов Севера такой хронологической вехой принято считать конец XVI—начало XVII в., когда сибирские земли включаются в систему административного управления Российского государства и появляются первые исторические документы, позволяющие судить о численности, общественном устройстве и родовом составе коренных жителей.

* *

*

При оценке значимости источников, привлекаемых для освещения периода этнической истории определенных народов, выявляются существенные расхождения с теми критериями, по которым оценивались те же источники применительно к исследованию проблемы этногенеза.

Если обратиться к примеру северных самодийцев, то окажется, что использование материалов таких дисциплин, как археология, лингвистика и антропология при изучении вопросов, относящихся к области этнической истории, сравнительно ограничено. Поздние археологические памятники Европейского Севера и Западной Сибири почти не исследованы. Курганный комплекс в окрестностях Томска, верхняя граница которого датируется XV—XVI вв., принадлежит к числу немногочисленных исключений. Материалы, извлеченные из томских курганов, позволяют уяснить конкретное развитие и установить датировку процесса этнической смены населения на этой территории, в итоге которой местные самодийцы подверглись этническому и культурному воздействию тюрок и сложилась этнографическая группа еуштинцев в составе томских татар, которая даже этнонимически явственно выявляет свое генетическое родство с самодийским этносом.

Лингвистические материалы периода этнической истории — особенно важный вспомогательный источник при изучении этнических процессов, протекающих в контактных зонах с другими народностями, явлений билингвизма и многоязычия, а также исторических путей сложения определенных диалектов.

Применительно к самодийским народам данные лингвистики могут иметь большое значение при исследовании следующих вопросов: формирование лесных ненцев, обладающих специфическим диалектом; возникновение этнографической группы колвинцев в составе европейских ненцев, ныне почти полностью утративших родной язык и воспринявших ижемский диалект языка коми; распространение двуязычия среди энцев низовьев Енисея, которые наряду с родным языком широко употребляют в быту разговорный ненецкий язык, и др.

Сравнительно скромную роль играют при исследовании этнической истории материалы топонимики. Это объясняется в первую очередь спецификой данного источника, в основе своей сформировавшегося в весьма отдаленную историческую эпоху. Тем не менее вспомогательная роль топонимики сохраняется и при изучении этнической истории. В частности, наличие некоторых энецких топонимов на левобережье Енисейской губы подтверждает сведения, известные из исторических документов, о том, что еще три столетия назад эта территория была зоной энецкого освоения, откуда их затем оттеснили ненцы на противоположный берег реки.

Сохраняют свое значение при исследовании этнической истории и данные этнонимического анализа, хотя и в этом случае их роль далеко не так весома, как при работе над проблемами этногенеза.

Особенно велико значение этнонимических сопоставлений при выявлении иноэтнических вкраплений, вошедших в состав тех или иных самодийских групп уже на историческом этапе. Например, Б. О. Долгих на основании архивных материалов о расселении членов рода Вангутин в составе лесных энцев XVII в., а также его названия, которое он воз-

водит к ненецкому слову «ванг» (яма), высказал мнение о селькупском происхождении этого рода⁶². Свое предположение он, в частности, основывал на том, что этим словом ненцы именуют селькупов и кетов. Добавим к сказанному, что у тундровых энцев и поныне имеется родовое подразделение Багго (Ванг), которое ведет свое начало от некоего селькуп-а, поселившегося среди энцев.

Степень приложения антропологических данных к исследованиям в области этнической истории также довольно ограничена. Как справедливо отмечали в своей совместной статье Г. Ф. Дебед, М. Г. Левин, Т. А. Трофимова, «значение антропологических источников в общем возрастает по мере увеличения древности рассматриваемых этногенетических процессов»⁶³.

Применительно к этнической истории самодийских народов роль антропологических материалов наиболее существенна при изучении процессов формирования отдельных этнографических групп особенно в пограничных и контактных с другими народностями районах их расселения. Это касается в первую очередь Европейского Севера, где самодийское население уже в течение длительного времени испытывает культурное и языковое влияние коми и благодаря бракам с коми по антропологическому облику заметно отличается от основной массы ненцев.

При исследовании проблем этнического развития малых народов Севера одно из главных мест должно быть отведено историческим источникам, которые в свою очередь можно подразделить на три категории: 1) статистические материалы о численном и родовом составе (опубликованные или хранящиеся в архивах); 2) другие архивные документы или их публикации; 3) различные сведения, содержащиеся в литературе.

Статистические материалы, характеризующие численность и родовой состав самодийских народов в XVII—XIX вв., в большинстве своем не опубликованы. Ясачные книги XVII в., содержащие списки плательщиков из числа ненцев, энцев и нганасан, хранятся в Центральном государственном архиве древних актов (ф. «Сибирский приказ», «Приказные дела новой разборки» и др.), а также в виде копий за первую половину XVII в. по Мангазейскому уезду в Ленинградском отделении Архива АН СССР (ф. 21). Ревизские переписи («сказки») второй половины XVIII — первой половины XIX в. по Европейскому Северу, к сожалению, сохранились только за отдельные годы — в Государственном архиве Архангельской области (ф. 51). По Сибирскому Северу они представлены более полно — в тобольском филиале Государственного архива Тюменской области (ф. 154). Сводные таблицы отдельных переписей XIX в., нередко снабженные квалифицированными комментариями, хранятся в Архиве Географического общества в Ленинграде (раз. 55, 64 и др.). Статистические данные переписи 1897 г. по Тобольской и Енисейской губерниям опубликованы С. К. Паткановым, а по Архангельской — Губернским статистическим комитетом⁶⁴. Первая Всесоюзная перепись населения 1926 г. представлена в различных публикациях, из которых, с этнографической точки зрения, наиболее ценным следует признать сборник, изданный в 1928 г. в Свердловске⁶⁵. Первичные материалы этой переписи по Туруханскому Северу хранятся в Государственном архиве Красноярского края — ГАКК (ф. Р-769).

⁶² Б. О. Долгих. Очерки по этнической истории ненцев и энцев, с. 194.

⁶³ Г. Ф. Дебед, М. Г. Левин, Т. А. Трофимова. Указ. раб., с. 25.

⁶⁴ С. К. Патканов. Статистические данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев, т. I—II. СПб., 1911; «Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года», т. I, СПб., тетр. 1—2, 1899; тетр. 3, 1903.

⁶⁵ «Населенные пункты Уральской области», т. XII. — «Тобольский округ». Свердловск, 1928.

Если обратиться ко второй категории исторических источников, то в первую очередь следует назвать документы, вошедшие в тома *Актов исторических*, *Дополнений к Актам историческим* и в качестве приложений в первый и второй тома *«Истории Сибири»* Г. Ф. Миллера, публикацию наказа европейских ненцев в Екатерининскую комиссию, датированного 1767 г.⁶⁶, и др.

Из неопубликованных архивных документов большое значение имеют сведения церковных метрических книг о крещении, рождении, браках и смертях самодийского населения, а также отчеты о деятельности духовных миссий, которые хранятся в перечисленных областных и краевых архивах и в окружных, районных и городских загсах ряда северных городов и поселков: Нарьян-Мара, Печоры, Инты, Сургута. Ханты-Мансийска, Дудинки, Мужей и др. Из других архивных документов особую ценность (например, для Туруханского Севера) представляют сведения о получателях муки из хлебозапасных магазинов, относящиеся к середине XIX в. (ГАКК, ф. 466, 471).

Для более позднего периода немаловажное значение имеют посемейные списки коренного населения различных родовых советов, составленные в конце 1920-х — начале 1930-х годов, а также материалы проводившихся в то же время землеустроительных экспедиций. Большая часть подобных материалов хранится в архивах названных окружных центров, а иногда и в действующих советских учреждениях (райисполкомах).

Наконец, отдельные сведения по этнической истории самодийских народов содержатся в произведениях историков, этнографов, географов прошлого и нынешнего столетий, описаниях путешествий по Западной Сибири и Европейской тундре, книгах и статьях, написанных чиновниками местного административного аппарата, церковнослужителями и т. д.

Сохраняют свое значение при работе над проблемами этнической истории и записи фольклора. Особенную весомость фольклорные материалы приобретают в тех случаях, когда письменные документы о каком-либо историческом событии по тем или иным причинам отсутствуют.

Среди произведений ненецкого и энецкого фольклора, например, выявляется несколько однотипных по своему сюжету преданий о «войнах», некогда происходивших между обоими народами. Согласно этим рассказам, решающее сражение разворачивалось на льду оз. Туручедо, расположенного в лесотундре примерно в 80 км от современного пгс. Потапово (Дудинский район Таймырского национального округа). В один из полевых сезонов автору довелось побывать на берегах этого озера. Находившиеся со мной энцы и ненцы не только в деталях сумели восстановить на местности план сражения, но и утверждали, что до сих пор находят на берегах озера наконечники стрел и обломки копий. Это сражение, видимо, относится к середине XIX в.⁶⁷

Между тем никаких прямых доказательств документального характера, подтверждающих это событие, еще не обнаружено, и, следовательно, фольклорные рассказы — пока единственный источник, позволяющий воссоздать хотя бы приближенную к исторической действительности картину этого значительного события этнической истории самодийских народов Енисейского Севера.

К числу источников, которые необходимо привлекать для исследования этнической истории народов Севера, следует отнести и работы в области географии и биологии тундровых животных. Используя данные этих наук, И. И. Крупник, например, приходит к выводу, что крупней-

⁶⁶ См. «Сборник Русского Исторического общества». М., 1907, т. 123.

⁶⁷ Подробнее см.: В. И. Васильев. Проблемы формирования енисейских ненцев. — В сб.: «Этногенез и этническая история народов Севера», М., 1975.

ший скачок в развитии производительных сил коренного населения тундровой зоны, связанный со становлением крупнотабунного оленеводства как преобладающего направления традиционной экономики, был во многом обусловлен сокращением численности диких северных оленей из-за неблагоприятных климатических условий⁶⁸. Значительный рост поголовья домашних оленей, датируемый для Европейского Севера и Чукотки началом, а для Севера Западной Сибири — второй половиной XIX в., по существу означал переход коренного населения от присваивающей экономики к производящей. Это в свою очередь обусловило существенный демографический рост численности населения⁶⁹, необходимость освоения новых пастбищных территорий. Результатом явились военные столкновения ненцев с соседними народами, в частности получившие отражение в фольклоре события ненецкой «войны» середины XIX в.

К важнейшим источникам изучения этнической истории следует отнести сведения, полученные путем непосредственного этнографического опроса изучаемого народа. В районах, контактных с другими народами, немаловажное значение может иметь фиксация изменений, выявляемых в процессе изучения эволюции тех или иных элементов материальной культуры. При этом, однако, следует очень четко различать, на какой основе произошли или происходят эти изменения, имеется ли в данном случае этническое или же культурное влияние другого этноса (этносов) или оба эти фактора действуют одновременно.

Методика сбора полевых материалов по этнической истории включает составление первичных семейно-кустовых генеалогических схем, которые в ходе работы с информаторами затем дополняются и уточняются. Эта методика была разработана и апробирована автором на протяжении ряда экспедиций в районы расселения ненцев и энцев. Ниже даем ее сжатое изложение.

На первом этапе, еще до выезда в поле, по данным архивных документов, литературе, полевым материалам прошлых лет устанавливаются этнографические или административно-территориальные группы народностей, которые должны стать объектом изучения будущего экспедиционного года. Полевую работу исследователь начинает с выборки сведений о браках, рождениях, смертях представителей изучаемой этнографической группы за период с начала 1920-х годов до наших дней (при отсутствии метрических материалов дореволюционного времени). Сведения, полученные в районных, окружных и городских загсах, систематизируются по отдельным фамилиям и отчествам в виде семейно-кустовых схем, которые затем дополняются материалами похозяйственных книг сельских Советов.

На следующем этапе первичные семейно-кустовые схемы проверяются, уточняются, дополняются путем непосредственного этнографического опроса представителей каждой из таких семейно-родственных единиц, начиная со старшего из ныне живущих людей. По каждой из выделенных семейно-родственных единиц необходимо опросить не менее двух-трех человек как по мужской, так и по женской линии.

Обычная схема опроса в поле следующая.

1. Сведения об отце и матери Эго (место рождения, время приезда в данный район или поселок), знание родного языка и языка представителей других этнических групп, родовая принадлежность, девичья фамилия матери.
2. Братья и сестры Эго (в порядке старшинства как ныне живущие, так и умершие), их жены (родовая и фамильная принадлежность) и дети, место рождения и

⁶⁸ И. И. Крупник. Становление крупнотабунного оленеводства у тундровых ненцев. — СЭ, 1976, № 2.

⁶⁹ Там же, с. 67.

современное местожительство, знание родного языка и языков представителей других этнических групп.

3. Братья и сестры отца Эго (характер опроса тот же, что и по пункту 1).
4. Братья и сестры матери Эго (характер опроса тот же, что и по пунктам 1, 2).
5. Дед, бабка, прадед, пробабка Эго по обеим линиям (характер опроса тот же, что и по пункту 1).
6. Жена Эго (девичья фамилия, родовая принадлежность, далее характер опроса тот же, что и по пункту 1).
7. Дети и внуки Эго (характер опроса тот же, что по пункту 2).

Применение предварительных рабочих схем семейно-родственных коллективов по каждой фамилии позволяет сравнительно просто входить в контакт с информаторами, быстро пробуждать у них интерес к проводимой работе. В течение 5—6 дней можно охватить обследованной группой, включающей 600—800 чел.

Существенным методическим приемом при работе с информаторами по генеалогическим схемам является использование терминологии родства и свойства. Кроме того, что при этом фиксируется и уточняется сама терминология, ее введение в опрос позволяет в ряде случаев выявить максимально возможный круг родственников и свойственников Эго.

Материалы генеалогического опроса в целом дают полную картину, характеризующую этническую и семейно-родовую структуру населения определенного сельсовета или территориальной группы, которую составляют обычно жители нескольких сельсоветов. Семейный состав коренного населения по этим материалам может быть реконструирован на глубину трех-четырех поколений, что в свою очередь позволяет проследить этническое развитие той или иной территориальной группы на протяжении 75—100 лет.

Кроме чисто демографических сведений, генеалогический опрос дает следующие результаты:

1. Устанавливается реальная картина расселения отдельных семей или их представителей на протяжении очерченного отрезка времени.

2. Выявляются характер и направленность семейно-родовых и внешнетерриториальных контактов, наличие или отсутствие экзогамно-фратриальных или экзогамно-родовых запретов.

3. Устанавливается степень этнического размежевания представителей различных народностей, живущих в пределах определенного поселка, сельсовета или территориальной группы, процент смешанных браков, разговорный язык в смешанных семьях, характер и направленность языкового смешения.

4. Выявляются уровень урбанизации коренного населения, преимущественная ее направленность, а также причины переселения в города конкретных представителей коренных народностей, их поло-возрастной состав и профессионально-образовательный уровень.

Данные, полученные путем генеалогического опроса на верхнем пределе (отец — дед — прадед Эго), могут быть существенно пополнены и углублены за счет архивных и статистических материалов. В результате картина генеалогического развития отдельных семей в перспективе может быть прослежена на порядок восьми-десяти поколений, т. е. на протяжении двух-трех столетий.

* *

*

Как нам кажется, изложенные выше материалы достаточно убедительно свидетельствуют о том, что, хотя при работе над проблемами формирования и этнического развития одного и того же народа в целом

привлекаются сходные категории источников, их значимость при решении вопросов этногенеза, с одной стороны, и этнической истории — с другой, существенно различается. Как было показано в нашей статье, при исследовании второй из перечисленных проблем основными становятся исторические письменные источники и этнографические, в особенности полевые, материалы, получаемые непосредственно в районах расселения изучаемых народностей.

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что, с нашей точки зрения, для Заполярной и Приполярной ойкумены Северо-Европейского и Сибирского регионов объем накопленных материалов по этногенетической и этноисторической тематике следует признать вполне достаточным для решения вопросов формирования не только отдельных этносов, но и всех народов данной географической области, поскольку, как справедливо отмечал Ю. В. Бромлей, «их происхождение в подобных регионах обычно переплетается теснейшим образом»⁷⁰.

PROBLEMS IN THE ETHNOGENESIS AND ETHNIC HISTORY OF THE PEOPLES OF THE NORTH (BASED UPON SAMODIYAN DATA)

The author stresses the distinction between the terms «ethnogenesis» and «ethnic history», ethnogenesis being the process by which an ethnos first comes into being, becomes formed from heterogeneous (linguistically, racially) ethnic components, while the term ethnic history applies to the process of historical development of an already existing ethnos.

In common with the overwhelming majority of Soviet scholars the author shares the view that these problems should be studied in the course of over-all interdisciplinary research; at the same time he points out the different role played by the various disciplines (archaeology, physical anthropology, linguistics, ethnography etc.) in studying the ethnogenetic processes and ethnic history of different peoples or ethnic (ethno-linguistic) groups. He adduces materials on peoples belonging to the North Samodiyian group (Nenets, Enets, Nganasans) which show that in studying the problems of their ethnogenesis the foremost place is taken by linguistics, archaeology and anthropology, while in dealing with events in their ethnic history greater importance is attached to written sources (primarily archive documents) and ethnographical field data.

⁷⁰ Ю. В. Бромлей. Этнография на современном этапе, с. 67.

Е. И. Царенко

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КЕЧУА

Кечуа — крупнейшая индейская народность Америки, в 1975 г. численность ее достигала 13 млн. чел.¹ Индейцы кечуа проживают главным образом в Перу, Боливии и Эквадоре, где они составляют от трети до половины населения. Небольшие группы кечуа встречаются также в Аргентине, Колумбии и Чили.

Основная область обитания кечуа — Андское нагорье («сьерра»). Высокогорная область вокруг озера Титикака занята другим крупным индейским народом — аймара (около 2 млн.). В зоне тропических лесов к востоку от Анд («орьенте» или «монтанья») живут племена так называемых «лесных» индейцев, относящихся к языковым группам хиваро, сапаро, пано, тукано, аравакской, тупи-гуарани и др.² Испаноязычные перуанцы (6,8 млн.), эквадорцы (3,4 млн.) и боливийцы (2,1 млн.) сосредоточены преимущественно на побережье Тихого океана («коста»), а также в крупных городах нагорья.

Как известно, в андских странах понятия «индеец», «метис», «креол» и т. п. довольно условны, так как они имеют не только расово-этнический, но и культурно-социальный смысл³. Здесь широко распространены двуязычие и многоязычие в различных сочетаниях (кечуа-испанское, аймара-испанское, кечуа-аймаранское и т. д.). При этом язык кечуа является родным не только для индейцев, но и для многих метисов (в особенности низшей в социальном отношении метисной группы — «чоло»). Весьма далеко зашли также расовое смешение и взаимовлияние культур. Отсюда трудности при разграничении этнических групп и определении числа говорящих на том или ином языке. Поэтому приведенные выше цифры следует считать весьма приближенными.

Перед испанским завоеванием этноним «кечуа» (исп. *quechua*, *quichua*) относился лишь к одному из сравнительно небольших племен, проживавших в долине Куско. Словом *quichwa* (диалектные варианты — *qhiswa*, *kichwa*) у аборигенов Анд обозначался определенный тип ландшафта — горные долины с умеренным климатом⁴. Себя же обита-

¹ С. И. Брук. Этнодемографическая ситуация в послевоенном мире. — «Сов. этнография», 1976, № 3. Другие данные о численности этнических групп заимствованы из этого же источника.

² См.: O. A. Shell, M. R. Wise. *Grupos idiomáticos del Perú*. Lima, 1971; H. Key. *Bolivian Indian tribes*. Norman, 1967; «Studies in Ecuadorian Indian Languages». Norman, 1962.

³ «Народы Америки», ч. II (серия «Народы мира. Этнографические очерки»). М., 1959, с. 413.

⁴ E. M. Middendorf. *Wörterbuch des Runa-simi oder der Kechua-Sprache*. Leipzig, 1890. Примеры из языков кечуа и аймара здесь и дальше приводятся в фонологической транскрипции на основе нормализованного алфавита для этих языков. Фонетическое

тели этих мест называли обычно гупа (мн. число — гупакина — «человек, люди», а свой язык — гупа simi, т. е. «человеческая речь») ⁵. И сейчас еще гупа употребляется главным образом в применении к «индейцам», т. е. социально-этнической группе, противостоящей креолам, метисам, чоло и др. Но в последнее время слово qhichwa/kichwa постепенно становится и самоназванием народа, соответственно и язык часто называют qhichwa simi.

Внешние связи языка кечуа

История народа и история языка тесно взаимосвязаны. Изучая пути развития любого языка, можно получить ценные сведения и об исторических судьбах его носителей. Если, например, обнаруживаются связи между теми или иными языками, то возникает вопрос и о соответствующих этнических связях, а также о возможных направлениях миграций этнических групп.

Уже давно предков кечуа пытались искать за пределами Американского континента. Так, в одной из своих проповедей, составленных на языке кечуа, испанский священник Фернандо де Авенданья излагает популярную в то время (XVII в.) точку зрения о происхождении индейцев от одного из «пропавших колен израилевых». Соответственно язык кечуа выводится из древнееврейского ⁶. В XIX и даже в XX в. некоторые авторы привлекали для сравнения различные языки великих древних цивилизаций — шумерский, египетский, семитские, санскрит и т. п. ⁷ Эти попытки носили дилетантский характер и не отвечают требованиям современной науки.

Сейчас, как известно, общепризнанной является теория азиатского происхождения аборигенов Америки. Отсюда интерес ученых к поразительному структурно-типологическому сходству языка кечуа с некоторыми языками Центральной Азии и Сибири. Кечуа относится к тому же агглютинативно-суффиксальному типу, что и так называемые «алтайские» языки — тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские. В этой связи был поставлен вопрос о соответствующих этногенетических связях ⁸. Приводились и конкретные доказательства. Так, известный лингвист К. Боуда обнаружил некоторое количество корней, похожих на кечуанские, в тунгусо-маньчжурских языках ⁹. Широкую известность получили исследования Ж. Дюмезиля, который выдвинул гипотезу об отдаленном генетическом родстве языков кечуа и тюркских ¹⁰.

значение некоторых символов: ch, ll, ñ, y — как в испанском; w — как в английском; q — глубокозаднеязычный (увулярный) смычный звук, встречающийся, например, в тюркских языках; x, x' (только в языке аймара) — заднеязычные фрикативные звуки; h' после согласных обозначают соответственно придыхательный и смычно-гортанный характер звуков (как в кавказских языках).

⁵ Ср. образованные по аналогичной модели названия языков аймара (haqi aru) и гуарани (avá pe' é).

⁶ Текст проповеди содержится в кн.: J. J. von Tschudi. Die Kechua- Sprache. 2-te Abt. Sprachproben, Wien, 1853, S. 35—52.

⁷ См., например: V. F. López. Les races aryennes du Pérou. Paris, 1871; R. Falb. Die Sprache der Inka in seiner Beziehung zu dem semitischen Sprachstamm. Leipzig, 1883; M. Desselty. Le kichoua (langue des inkas) face à l'égyptien et le magyar. — XXVI congreso internacional de americanistas, v. 2. Sevilla, 1966.

⁸ Л. И. Жирков. Всегда ли случайно типологическое сходство языков? — «Вопросы языкознания», 1959, № 1; B. Ferrario. La investigación lingüística y el parentesco extracontinental de la lengua «Qhexwa». Montevideo, 1934.

⁹ К. Боуда. Tungusisch und Ketschua. — «Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft», Bd 110, H. 1, 1960. Этот же автор связывает язык аймара с кавказскими через посредство языковой группы соке-михе в Центральной Америке. См.: К. Боуда. Aimara und Tschimu. — «Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft», Bd 110, H. 2, 1960.

¹⁰ G. Dumézil. Remarques sur les six premiers noms de nombre du turc et du quechua. — «Studia linguistica», année VIII, № 1, Paris, 1954.

Из других языковых семей Старого Света внимание исследователей привлекала малайско-полинезийская¹¹. Интерес к кечуа-полинезийским связям оживился после путешествий Т. Хейердала¹².

Интересна этноисторическая классификация индейских языков, предложенная польским ученым Т. Милевским¹³. По особенностям звуковых систем в Америке выделяются два языковых типа, которые с учетом географического распределения языков названы «атлантическим» и «тихоокеанским». Для атлантических языков характерно разнообразие гласных и сравнительно малое количество согласных, для тихоокеанских — наоборот, простота системы гласных и обилие согласных, в частности — наличие звуков сложной артикуляции — придыхательных, смычно-гортанных, лабиализованных и др. К первым относится большинство языков народностей, обитающих в Южной и Центральной Америке, а также некоторые языки народностей Восточной части Северной Америки — алгонкинские, ирокезские, сиу, натчез-мускогские и др., ко вторым — в первую очередь языки народностей, живущих в областях, прилегающих к тихоокеанскому побережью Северной Америки, и некоторые языки народностей Центральной Америки (в том числе майя и юто-ацтекские). В Южной Америке этот тип представлен небольшим числом языков, в частности кечуа и аймара.

По мнению автора этой классификации, географическое распределение языковых типов отражает ранние этапы этнической истории Америки. Носители атлантических языков составили первую волну миграций из Азии. Тихоокеанский же языковой тип присущ второй волне переселенцев, которые появились в Америке относительно недавно, частично оттеснив «палеоамериканцев» к востоку. Т. Милевский обращает также внимание на типологическое сходство тихоокеанских индейских языков Америки с автохтонными языками Кавказа и Сибири. Как те, так и другие можно считать остатками языкового союза, сложившегося в глубокой древности где-то в Центральной Азии¹⁴.

Т. Милевский специально не касается носителей языков кечуа и аймара, но из его гипотезы вытекает, что их предки некогда образовывали авангард второй миграционной волны, тогда как племена надене — наиболее поздние пришельцы¹⁵. Следовательно, переселение племен протокечуа и протоаймара в Америку следует отнести к довольно раннему периоду, но в Южной Америке они должны были появиться сравнительно недавно.

Другие ученые ограничивали свои поиски пределами Нового Света. Так, Дж. Хэррингтон указывал на сходство между кечуа и калифорнийскими языками группы хока¹⁶. Своего рода «лингвистический мост» между Калифорнией и Андами образуют анклавные языки «хокоидного» типа — чонталь в Мексике, субтиаба в Никарагуа и юрумунги на тихоокеанском побережье Колумбии¹⁷.

¹¹ См. об этом: D. E. Ibarra Grasso. *Lenguas indígenas americanas*. Buenos Aires, 1958; R. Dangel. *Quechua und Maori*. — «Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien», 1930, B. LX, H. 4/5.

¹² И. К. Федорова. К вопросу о сходстве между языками кечуа, аймара и полинезийскими. — В сб. «От Аляски до Огненной Земли». М., 1967.

¹³ T. Milewski. *Phonological typology of American Indian languages*. — В кн.: «Etudes typologiques sur les langues indigènes de l'Amérique». Kraków, 1967.

¹⁴ T. Milewski. *Językoznawstwo*. Warszawa, 1972, s. 154—157; *его же*. Similarities between the Asiatic and American Indian languages. — «International journal of American linguistics», v. 26, № 4, 1960. См. также: Н. Ф. Яковлев. Древние связи языков Кавказа, Азии и Америки. — «Тр. Ин-та этнографии АН СССР», т. II, М., 1941, с. 196—204.

¹⁵ В этой связи характерна гипотеза о родстве языков надене и сино-тибетских, выдвинутая еще Э. Сэпиром. См. также: R. Shafer. *Athapaskan and Sino-Tibetan*. — «International journal of American linguistics», v. 18, № 1, 1952.

¹⁶ J. P. Harrington. *Hokan discovered in South America*. — «Journal of the Washington Academy of Sciences», v. 33, № 1, Menasha, 1943.

¹⁷ J. A. Mason. *The languages of South American Indians*. — В кн.: «Handbook of South American Indians», v. VI. Washington, 1950.

Известный языковед, создатель метода глоттохронологии М. Свадеш объединил в большую семью кечуа-чон такие языковые группы Южной Америки, как кечуа, аймара, пукина-уру, пано, такана и чон¹⁸. Им же постулировалось родство кечуа с тараскским — одним из языков Мексики, который обычно считается изолированным¹⁹.

В последнее время известную популярность приобрела классификация языков Южной и Центральной Америки, предложенная Дж. Гринбергом²⁰. Большинство языковых групп и изолированных языков распределяются им между несколькими весьма крупными группировками — филами, внутри которых выделяется ряд более мелких генеалогических подразделений. Место языка кечуа в этой схеме определяется так: андо-экваториальная фила, андская ветвь, семья кечуа-аймара, подсемья кечуа. Другие члены андо-экваториальной филы — традиционно считавшиеся независимыми семьи тупи-гуарани, аравакская, арауканская, чон, тукано, сапаро, хиваро, чапакура и самуко.

Наконец, авторы коллективной монографии «Сравнительные исследования по американско-индейским языкам»²¹ в своих обобщениях идут еще дальше. Они приводят доказательства в пользу изначального родства почти всех языков Северной и Южной Америки и даже реконструируют некоторые характеристики гипотетического «протоамериканоиндейского» языка.

В большинстве перечисленных работ содержатся интересные наблюдения, которые могут послужить стимулом к дальнейшим поискам. Но в то же время им свойственны и недостатки, характерные для некоторых исследований по малоизученным «экзотическим» языкам.

1. Нечетко разграничиваются типологические и генеалогические критерии. Сходство в общей структурной организации языков еще ничего не говорит об их генетическом родстве, если оно не подкрепляется созвучием основных корней и грамматических показателей. Можно привести массу примеров, когда даже близкородственные языки весьма далеки друг от друга по типу, а языки, совершенно разные по происхождению, входят в один и тот же типологический класс. В случае же с полинезийскими языками нет и типологического сходства²².

2. Там, где за основу берется критерий материального сходства, требования сравнительно-исторического метода все же соблюдаются не до конца. Как правило, игнорируется принцип регулярности звуковых соответствий; не всегда учитываются данные по истории отдельных языков. Это увеличивает вероятность случайных совпадений, особенно когда сравнивается большое количество языков.

Понятно стремление найти какую-то систему в «вавилонском столпотворении», столь характерном для языковой ситуации в Южной Америке. Но это не должно идти в ущерб строгости научных методов. Индейские, папуасские, африканские и т. п. языки функционируют и развиваются по тем же законам, что и индоевропейские или любые другие. Поэтому и принципы исследований для всех языков должны быть еди-

¹⁸ M. Swadesh. Mapas de clasificación lingüística de México y las Americas. México, 1959.

¹⁹ M. Swadesh. Un nexo prehistórico entre quechua y tarasco.—«Anales del Instituto nacional de antropología e historia», № 49 (1967—68), México, 1969.

²⁰ J. Greenberg. The general classification of Central and South American languages.—«Men and cultures. Selected papers of the 5-th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences». Philadelphia, 1960.

²¹ E. Matteson (ed.). Comparative studies in Amerindian languages. The Hague — Paris, 1972.

²² Впрочем, соответствия типа кечуа — khumar и полинезийское — kumara «батат» весьма любопытны и свидетельствуют в пользу каких-то случайных контактов между Полинезией и Южной Америкой.

ными. Выводы генеалогического порядка, получаемые при поверхностном массовом сравнении языков, могут послужить хорошим ориентиром для дальнейших исследований, которые уже должны вестись на прочной филологической основе, с соблюдением всех требований сравнительно-исторического метода. Это относится, в частности, к языку кечуа, который к тому же не является ни «экзотическим», ни малоизученным. Пока же следует иметь в виду сугубо предварительный и условный характер всех «широких» классификаций индейских языков, а также различных гипотез об их внешних связях.

Кечуа-аймаранская проблема

Гораздо более реальны связи языка кечуа с другим автохтонным языком Андского нагорья — аймара. Близость грамматических и фонологических систем и общность значительной части словарного состава обоих языков очевидны. На этом основании некоторые авторы оперируют понятием «кечуа-аймаранской», или «кечумарской», языковой семьи как чем-то само собой разумеющимся. Это характерно, в частности, для большинства «широких» классификаций. Аргентинский ученый Х. М. Фарфан при помощи метода глоттохронологии подсчитал, что распад кечуа-аймаранского языкового единства должен был произойти около 3500 лет назад²³. К. Опп и Р. Лонгакр даже произвели реконструкцию «протокечумарского» языка-основы и вывели закономерные фонетические соответствия²⁴.

Однако есть и противоположная точка зрения. В качестве самостоятельных языковых семей кечуа и аймара выступают в классификации Ч. Лоукотки, которая вообще носит «консервативный» характер по сравнению с широкими классификациями²⁵. Осторожно высказывается о возможном родстве кечуа и аймара также Дж. Мэйсон²⁶. Остановимся подробнее на некоторых лингвистических фактах, относящихся к данной проблеме.

1. Словарные соответствия. Сходных или одинаковых корней в языках кечуа и аймара действительно много — до 1/4. Более того, часть их может быть отнесена к основному словарному фонду, как, например: «огонь» — и в том и в другом языках *nina*; «солнце» — *inti*; «воздух» — *wayga*; «озеро» — кеч. *qucha*, айм. *quta*; «рыба» — *challwa*; «имя» — *suti*; «палец» — кеч. *ruk'ana*, айм. *luk'ana* и другие существительные, а также некоторые прилагательные и глаголы. Еще больше когнатов — это обозначения различных понятий материальной и духовной культуры, а также названия животных и растений: «родовая община» — *ayllu*; «господин» — *apu*; «рынок» — *qhatu*; «деньги» — *qullqi*; «хлеб» — кеч. *t'anta*, айм. *t'ant'a*; «тип рубашки» — *unku*; «кондор» — кеч. *kuntur*, айм. *kunturi*; «растение и цветок» — кеч. *hamañq'au*, айм. *amañq'aua* и т. п. Впрочем, такого рода слова, как известно, легко переходят из одного языка в другой вместе с заимствованием соответствующих понятий.

Однако в целом основной словарный фонд кечуа и аймара представляется совершенно различным. Возьмем обозначения простейших, жизненно важных понятий:

²³ J. M. B. Farfán, *Cronología quechua-aymara según el cálculo léxico-estadístico*. — «Revista del Museo Nacional», t. 23, Lima, 1954.

²⁴ C. Orr, R. E. Longacre, *Proto-Kechumaran*. — «Language», v. 44, № 3, 1968.

²⁵ C. Loukotka, *Classification of South American Indian languages*. Los Angeles, 1968, s. 263—270.

²⁶ J. A. Mason. Указ. раб., с. 196—199.

	кечуа	аймара
человек	runa	haqi
рука	maki	ampara
голова	uma	p'iqlna
мать	mama	tayka
земля	allpa	laq'a
вода	yaku	uma
гора	urqu	qullu
камень	rumi	qala
дерево	sach'a	quqa
луна	killa	phax'si
звезда	quyllur	wara-wara
день	p'unchaw	uru
птица	p'isqu	hamach'i
яйцо	runtu	q'awna
дом	wasi	uta

Такая же картина получается и при сравнении других существительных, а также прилагательных и глаголов.

Одной из существенных черт, указывающих на родство языков, должна быть общность таких разрядов лексики, как местоимения, числительные и служебные слова. Но как раз с этой стороны у кечуа и аймара меньше всего схождений:

	кечуа	аймара
я	ñiqa	paуa
ты	qam	huma
то	chay	uka
что	ima	kuna
кто	pi	khiti

Особо следует остановиться на числительных. Простые числительные выглядят так:

	кечуа	аймара
один	huk	maya/maa
два	iskay	paya/paa
три	kimsa	kimsa
четыре	tawa	pisi
пять	phichqa	phisqa
шесть	suqta	sux'ta
семь	qanchis	paqallqu
восемь	pusaq	kimsaqallqu
девять	isqun	llallatunka
десять	chunka	tunka
сто	pachak	pachaka
тысяча	waranqa	hachu

Сразу же бросается в глаза совпадение многих обозначений чисел. Однако это первое впечатление не подтверждается при более тщательном анализе. В языке кечуа система счисления чисто десятичная, так как все числительные первого десятка здесь простые по структуре. В аймаранских же словах со значением «семь» и «восемь» выделяется общая часть — -qallqu и начальные элементы, которые легко отождествляются с paуa «два» и kimsa «три». Это наводит на мысль о том, что qallqu — исконное аймаранское обозначение пятерки, так что paqallqu «семь» и kimsaqallqu «восемь» расшифровываются соответственно как 2+5 и 3+5. Числительное llallatunka — также сложное слово со значе-

нием «почти десять». Таким образом, в языке аймара явственно прослеживаются следы пятеричного счета, который впоследствии, очевидно, был заменен десятеричным. А это значит, что системы числительных в языках кечуа и аймара, несмотря на совпадение многих элементов, имеют различное происхождение.

2. Грамматика и фонетика. Как уже указывалось, грамматические системы кечуа и аймара весьма близки, иногда вплоть до мелочей. Однако близость эта носит в основном структурный характер, как и в случае с тюркскими языками.

Важнейшие грамматические показатели двух языков — падежные и притяжательные окончания имен, лично-временные окончания глаголов, подавляющее большинство словообразовательных аффиксов — в материальном отношении не имеют между собой ничего общего. Ср., например, притяжательные формы имени:

	кечуа	аймара
мой дом	wasi-y	uta-x'a
твой дом	wasi-yki	uta-ma
его дом	wasi-n	uta-pa

Несколько общих аффиксов (например, кеч.-гауки, айм.-лауки со значением «ради, для») лежат на периферии грамматической системы. Еще раз следует подчеркнуть, что структурно-типологический критерий не является решающим при установлении генетического родства языков²⁷.

Одним из главных аргументов в пользу кечумарской гипотезы считается почти полная идентичность звуковых систем кечуа и аймара. В частности, на фоне большинства языков Южной Америки, относящихся, как уже говорилось, к атлантическому типу, эти языки выделяются наличием в них ларингализованных (т. е. придыхательных и смычно-гортанных) звуков, как, например, кеч. tanta «совокупность, вместе» — thanta «ветхий» — t'anta «хлеб».

Однако при этом упускается из виду, что звуки этого типа встречаются далеко не во всех кечуанских диалектах, а лишь в тех, которые соприкасались или соприкасаются с языком аймара — кусканском и боливийском. И если исконность ларингализованных фонем в языке аймара не вызывает сомнений, то для кечуа есть основания считать их вторичными²⁸.

Надо отметить еще одну особенность кечуа-аймаранских звуковых соответствий. Как правило, общие для кечуа и аймара лексические и грамматические элементы не просто более или менее похожи, но полностью идентичны как по значению, так и по звучанию (см. приведенные выше примеры). Но именно этот факт свидетельствует не в пользу происхождения их из одного источника. Как бы мы ни относились к гипотезе кечуа-аймаранского родства, совершенно очевидно, что это родство может быть только отдаленным. Если вслед за Фарфаном отнести начало распада «кечумарского» единства на 3500 лет назад, то естественно ожидать, что за столь длительный срок общие по происхождению формы обоих языков должны были бы существенно разойтись (ср. хотя бы такие близкородственные языки, как славянские). Полное же совпадение части корней при полном различии основной их части всегда является результатом заимствования. Таковы, например, отношения между персидским и арабским, японским и китайским и другими неродственными, но интенсивно контактировавшими языками.

²⁷ Поэтому неубедительны и выводы генеалогического порядка, полученные на такой основе, как это имеет место в работе: Y. Lastra. Categorías posicionales en quechua y aymara. — «Anales de antropología», t. 8, México, 1970.

²⁸ Е. И. Царенко. К вопросу о фонологической системе протокечуа. — «Вопросы языкознания», 1974, № 4.

Таким образом, пока у нас нет достаточных оснований говорить об истонном генетическом родстве между языками кечуа и аймара. Возможно, какое-то очень отдаленное родство и существует, но доказать его строгими научными методами при существующем уровне наших знаний не представляется возможным. Поверхностное же сходство языковых семей кечуа и аймара скорее всего объясняется их длительным взаимодействием, в процессе которого образовался значительный слой общей лексики, сформировалась единая грамматическая модель и произошло выравнивание фонологических систем. Перед нами типичный случай языкового союза, т. е. языковой общности, возникшей в результате скрещивания и схождения изначально неродственных языков. Этот языковой союз можно назвать андским. Сближение языков кечуа и аймара зашло настолько далеко, что при благоприятных условиях можно было бы ожидать трансформации андского союза в некое подобие генетической общности²⁹.

Все это свидетельствует о длительности кечуа-аймаранских этнических контактов, что в свою очередь можно считать дополнительным аргументом в пользу андской автохтонности кечуа в обозримый исторический период.

Этапы языкового и этнического развития

Поскольку внешние связи языка кечуа мало что дают в этногенетическом плане, особую важность приобретает внутренняя реконструкция на основе сравнения его диалектов, изучения их развития и исторических связей. По основным особенностям лексики, звукового строя и грамматики обычно выделяют три диалектные группы³⁰.

1. Южная группа — диалекты Южного Перу и Боливии, а также прилегающих районов Аргентины. Это прежде всего диалект Куско, или куасанский, распространенный в перуанских департаментах Куско, Пуно и отчасти Апуримак. Говор г. Куско — древней столицы государства инков — считается наиболее чистым и образцовым. Другие члены южной группы — диалекты Аякучо (департаменты Аякучо, Уанкавелика и Апуримак), боливийский и Сантьяго-дель-Эстеро (одноименная провинция в Аргентине). К южной группе относится также «общий язык» (*lengua general*) Перу конца инкского и начала колониального периода (XVI—XVII вв.), в основу которого лег тогдашний говор Куско. Этот диалект называют еще «классическим инкским» или «имперским инкским».

2. Центральная группа — диалекты, распространенные в центральных департаментах Перу (Хуни, Анкаш, Лима, Уануко). Эту группу диалектов часто называют наречием Чинчайсуйу — по названию провинции в государстве инков.

3. Северная группа — диалекты Эквадора и северных перуанских департаментов Кахамарка, Сан-Мартин, Амасонас и Лорето, а также диалект инга (<inka, т. е. «инкский») на крайнем юге Колумбии.

По традиционной точке зрения, вначале кечуазычные племена были сосредоточены в долине Куско³¹. Затем в ходе инкской экспансии язык

²⁹ По мнению некоторых специалистов, языковые семьи могут образовываться не только в результате дивергенции единого «праязыка», но и путем конвергенции изначально неродственных языков. См., например: *Н. С. Трубецкой. Мысли об индоевропейской проблеме.* — «Вопросы языкознания», 1958, № 1; *М. С. Андронов. О типологическом сходстве новоиндийских и дравидийских языков.* — В сб.: «Лингвистическая типология и восточные языки». М., 1965.

³⁰ *B. Ferrario. La dialettologia ed i problemi interni della runa-simi (vulgo quechua).* — «Orbis», t. 3, № 5, Louvain, 1956; *G. J. Parker. La clasificación genética de las dialectos quechuas.* — «Revista del Museo Nacional», t. 32, Lima, 1963.

³¹ См., например, карту языков доколумбовой Америки в кн.: «Handbook of South American Indians», v. 6. Washington, 1950.

кечуа стал распространяться по всему Андскому нагорью, вытесняя и поглощая другие индейские языки. Эти местные языки послужили субстратом, на котором сформировались различные кечуанские диалекты.

Однако в последнее время успехи диалектологии (в частности, более углубленное знакомство с северными и особенно центральными диалектами) заставили усомниться в правильности теории, по которой все без исключения диалекты кечуа развились из одного источника, отождествляемого, по сути дела, с классическим инкским. С одной стороны, все северные и некоторые южные диалекты (Боливии и Сантьяго-дель-Эстеро) действительно можно представить как упрощенные варианты инкского. Но, с другой стороны, группа диалектов Чинчайсуу отличается значительным своеобразием по сравнению со стандартным кусканским кечуа. Свообразны лексика и звуковой строй этих диалектов, а система склонения имен и особенно личные окончания глаголов не сводимы к соответствующим кусканским формам. Все это делает невозможным взаимопонимание между жителями Куско и, например, долины Кальехон-де-Уайлас в Центральном Перу. Поэтому есть все основания говорить не о едином языке кечуа, а о двух разных, хотя и близкородственных, языках. Г. Паркер предложил для них условные названия «кечуа А» (южные и северные диалекты) и «кечуа Б» (центральные диалекты)³². Что касается диалекта Аякучо, входящего в южную группу, то по ряду признаков он представляется более архаичным, чем соседний диалект Куско. В частности, исконной, а не вторичной чертой, по-видимому, является отсутствие в этом диалекте (как и в диалектах Чинчайсуу) ларингализованных согласных. Все это свидетельствует о том, что процесс формирования кечуанских диалектов протекал не так просто, как это представлялось раньше.

Таковы основные итоги сравнительно-исторического и сравнительно-сопоставительного изучения языка кечуа и его диалектов. Теперь можно сделать и некоторые выводы этногенетического порядка. Поскольку эти выводы основываются преимущественно на лингвистических данных, они, естественно, нуждаются в проверке и подтверждении данными исторических наук.

Итак, предположительно выделяются следующие этапы в историческом развитии языка кечуа, которые соответствуют определенным этапам в этнической истории Андского нагорья.

1. Задолго до инкской эпохи диалекты языка кечуа занимали обширные пространства, охватывавшие горную область Южного и Центрального Перу. Уже в то время выделяются два основных наречия — юго-восточное, локализуемое в районе Куско — Аякучо, и северо-западное в области Чинчайсуу. На юго-востоке племена кечуа соприкасались с носителями языка аймара. Тихоокеанское побережье к северу от Лимы было занято языком мочика, или юнка, на котором говорило население «царства Чиму»³³. О языках Северного Перу и Эквадора нам известно немного; во всяком случае, лингвистическая карта этих мест, равно как и зоны тропических лесов к востоку от Анд, была довольно пестрой³⁴.

2. Затем некоторые юго-восточные говоры кечуа должны были испытать воздействие со стороны языка аймара. Возможно, это было связано с распространением культуры Тиауанаку. Следы аймаранской топонимики обнаруживаются по всей юго-восточной зоне, а к востоку от

³² G. J. Parker. Ayacucho Quechua grammar and dictionary. The Hague — Paris, 1969, p. 7.

³³ Недавно обнаружены любопытные параллели между языками майя, мочика и чипайя (боливийское нагорье). См.: L. R. Stark. Maya-Yunga-Chipayan: a new linguistic alignment. — «International journal of American linguistics», v. 38, № 2, 1972. Если гипотеза о связях этих языков подтвердится, то можно будет поставить вопрос и об этнических связях между создателями древних культур Мезоамерики и Перу.

³⁴ См., например: P. Rivet. Les langues de l'ancien diocèse de Trujillo. — «Journal de la Société des américanistes de Paris», t. 38, Paris, 1949.

Лимы до сих пор сохранился небольшой анклав языка аймара — весьма своеобразный диалект *кауки*, или *хакару*³⁵. Неоднократно высказывалось и предположение о том, что инки по происхождению — одно из племен аймара, а таинственный язык инков, непонятный их кечуазычным подданным, был одним из аймаранских диалектов³⁶. В эту эпоху в составе юго-восточного наречия выделяются две его разновидности — аймаризованный диалект Куско и диалект Аякучо, в меньшей степени испытавший влияние аймаранского суперстрата.

3. Следующий этап связан с экспансией государства инков в XV—XVI вв. На всех завоеванных территориях инки вводили в качестве обязательного государственного языка говор столицы своей «империи Тауантинсуйу» — г. Куско. Процесс кечуанизации различных индейских племен и народностей продолжался и после установления испанского колониального господства. Этому способствовала, с одной стороны, социально-экономическая политика колониальной администрации, а с другой — деятельность католических миссионеров, которые в качестве орудия религиозной пропаганды среди всех индейцев Тауантинсуйу избрали язык кечуа³⁷.

Вытесняя и поглощая другие языки и диалекты, язык кечуа не мог не испытать интенсивных субстратных воздействий. Отсюда упрощенный, «пиджинизированный» характер северных диалектов. Значительная часть жителей провинции Кольясуйу, говоривших на языке аймара, также перешла на язык кечуа. Однако благодаря структурной близости между аймара и аймаризованным диалектом Куско последний на территории Боливии изменился не так сильно, как на севере. В качестве суперстрата, а затем адстрата диалект Куско должен был повлиять на автохтонные кечуанские говоры Аякучо и Чинчайсуйу. В дальнейшем кечуанизация некоторых индейских племен могла происходить уже на базе вновь сформировавшихся диалектов. Так, в настоящее время северные говоры кечуа интенсивно проникают в район эквадорского Орьенте.

4. Наконец, современный этап в развитии языка кечуа характеризуется интенсивным взаимодействием с испанским языком. В связи с массовым двуязычием в кечуа проникает огромное количество испанизмов как лексических, так и фонетических и даже грамматических. Наиболее сильной испанизации подвергся боливийский диалект, особенно городские говоры Кочабамбы, Оруро, Потоси и др.³⁸ В свою очередь язык кечуа оказывает определенное влияние на разновидности испанского языка, распространенные в Андских странах³⁹.

В заключение следует остановиться на перспективах дальнейшего развития языка кечуа. В связи с крайне неблагоприятными условиями, в которых этот язык находился на протяжении последних четырех столетий, неоднократно высказывалось мнение о неминуемом и скором его отмирании. Сейчас уже можно сказать, что пессимизм авторов подобных высказываний был сильно преувеличен. С одной стороны, кечуа продолжает оставаться языком низших в культурно-социальном отно-

³⁵ M. J. Hardman. Jaqaru: outline of phonological and Morphological structure. The Hague — Paris, 1966.

³⁶ Боливийский ученый Э. Облитас Поблете видит остатки «тайного языка инков» в специфической форме речи, употребляемой членами корпорации бродячих знахарей, принадлежащих к этнической группе *кальявайя* (E. Oblitas Poblete. El idioma secreto de los incas. La Paz, 1968). Грамматика «языка кальявайя» кечуанская, однако почти все слова — неизвестного происхождения. Впрочем, это может быть и просто искусственный тайный аргот, характерный для таких специфических социальных групп.

³⁷ Ю. А. Зубрицкий. Проблемы национальной консолидации кечуа. — В сб.: «Нации Латинской Америки». М., 1964.

³⁸ См., например: Y. Lastra. Cochabamba Quechua syntax. The Hague — Paris, 1968.

³⁹ Ю. А. Зубрицкий. Влияние языка кечуа на лексику испанского языка стран Андского нагорья. — В сб.: «Культура индейцев». М., 1963.

шении слоев населения, что, конечно, не способствует укреплению его престижа. Естественно, что в связи с включением индейцев в социально-экономическую и политическую структуру Андских стран, распространением грамотности и т. д. кое-где через стадию кечуа-испанского двуязычия постепенно происходит смена языка⁴⁰. Но в последнее время все больше дают о себе знать и противоположные тенденции, направленные к расширению сферы применения языка кечуа, который проникает в школу, прессу, радиовещание и даже в политику. Особенно знаменательно провозглашение кечуа вторым государственным языком Перу в июне 1975 г. Есть все основания думать, что еще долгое время этот язык будет служить основным средством общения для многомиллионных масс населения в странах Андского нагорья.

QUECHUA ETHNIC HISTORY: LINGUISTIC DATA

A brief introduction is followed by a survey of the principal viewpoints concerning links between Quechua and other languages. In the absence of reliable correspondences between Quechua and the various linguistic families in the Old and the New World hypotheses according to which the Quechua had their origin outside the Andean highlands cannot be sufficiently substantiated. The typological similarity in the structure of the Quechua and Aymara languages, as well as the considerable stock of common lexical elements, is due to continual contact rather than to their original relationship. The links between the different Quechua dialects reflect in their character the main stages in the ethnic history of the Andean zone. The dispersal of Quechua-speaking ethnic groups over a wide area must have been taking place long before the Inca period. In conclusion the author examines the contemporary linguistic situation in the Andean countries and the prospects of the further evolution of Quechua.

⁴⁰ Легче всего испанский язык утверждается в крупных городах, а также в небольших общинах, изолированных от основного массива говорящих на кечуа. См. об этом: X. Albó. *Los mil rostros del quechua*. Sociolingüística de Cochabamba. Lima, 1974; G. Taylor. *Le parler quechua d'Olto, Amazonas (Pérou)*. Paris, 1975.

Р. Дж. Уорд, Дж. У. Уэбб, М. Левисон

ЗАСЕЛЕНИЕ ПОЛИНЕЗИИ: ДРЕЙФ ИЛИ НАВИГАЦИЯ? ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА

Европейские мореплаватели, попав впервые в Тихий океан в XVI в., за последующие три столетия открыли его бесчисленные острова и обнаружили, что в пределах весьма обширного «полинезийского треугольника» практически все пригодные для обитания острова уже заселены. Довольно рано начались догадки о том, когда и при каких обстоятельствах предки полинезийцев достигли этих отдаленных островных групп. Капитан Джеймс Кук, чьи путешествия более, чем любые другие, обогатили наши представления о размещении островов Полинезии, пришел к выводу, что «обитаемые острова этого Моря были впервые заселены людьми, потерпевшими кораблекрушение»¹.

На протяжении XIX в. у островитян было записано множество легенд об их происхождении; среди них были и предания о целенаправленных путешествиях предков-героев. Некоторые из этих рассказов содержат и новые познания, приобретенные полинезийскими матросами при службе на европейских китобойных и торговых судах в начале века. Устные предания в сочетании с постепенно накапливавшимися этнографическими данными об общих для полинезийцев чертах культуры привели к всеобщему убеждению, что предки полинезийцев искали и находили новые земли, возвращались на свои родные острова и заселяли вновь открытые острова, организуя колонизационные экспедиции переселенцев. Это убеждение было подытожено в работах Те Ранги Хироа².

Ученые, занимавшиеся этой проблемой, считали полинезийцев искусными мореплавателями, которые для определения направления в дальних плаваниях использовали звезды, солнце, небосвод, волны, ветры и птиц. Наличие в Полинезии американского батата (*Ipomoea batatas*) рассматривали как подтверждение способности полинезийцев совершать дальние морские путешествия, поскольку считалось, что американские плоты из бальзового дерева не смогли бы достаточно долго держаться на воде, чтобы достичь Полинезии³: раз индейцы не могли привезти сладкий картофель в Полинезию, значит, его должны были привезти полинезийцы, совершив путешествие в Южную Америку и обратно. Это казалось убедительным подтверждением навигационного искусства полинезийцев и мореходных достоинств их лодок. Данные культуры и язы-

¹ J. C. Beaglehole (ed.). The journals of Captain James Cook on his voyages of discovery, v. 3, pt. 1. Cambridge, 1967, p. 87.

² P. H. Buck. Vikings of the sunrise. Philadelphia — New York, 1938.

³ S. K. Lothrop. Aboriginal navigation off the West Coast of South America.— «Journal of the Royal Anthropological Institute», v. 62, 1932, p. 229—256.

ка свидетельствовали в пользу азиатского происхождения полинезийцев. Однако уже в пределах «полинезийского треугольника» (в районе Фиджи — Тонга — Самоа) только высокое развитие навигационного искусства и мореходных навыков могло привести к дальним путешествиям, к открытию и заселению сперва центральной Полинезии, а затем и отдаленных частей Тихого океана — островов Пасхи, Гавайских и Новой Зеландии:

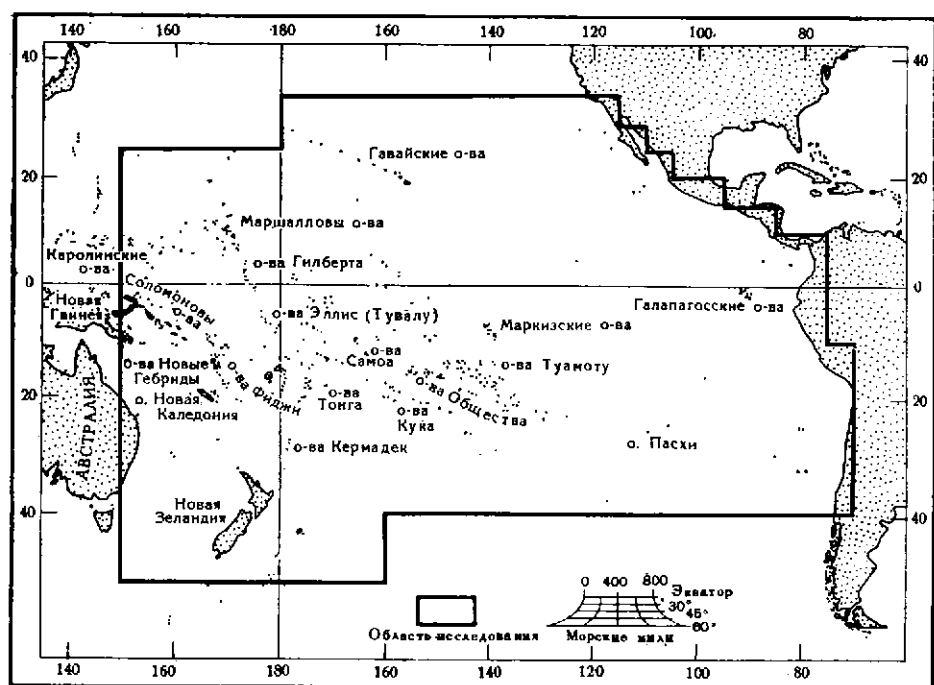


Рис. 1. Область исследования: схема расположения островных групп

В 1947 г. экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики» показала (совершенно независимо от получивших широкую огласку доводов об американском происхождении некоторых или всех полинезийцев), что на бальзовых плотках можно проплыть от Перу до Полинезии. Это устранило одно из важных косвенных свидетельств в пользу «традиционного» взгляда на пути заселения Полинезии⁴. В 1956 г. А. Шарп опубликовал свой труд «Древние мореплаватели на Тихом океане»⁵. Шарп отмечает, что не существует заслуживающих доверия данных об успешно завершённых целенаправленных плаваниях с возвращением на расстояния свыше 300—350 миль; что, не обладая навигационными инструментами, полинезийцы не в состоянии были с достаточной точностью попадать в место назначения после дальних морских путешествий; что, с другой стороны, имеется достаточно исторических свидетельств, подтверждающих возможность постепенного расселения полинезийцев в результате односторонних и в значительной мере случайных плаваний. Шарп и другие ученые утверждали также, что передававшиеся на протяжении тысячелетий устные предания нельзя рассматривать как непосредственные свидетельства об условиях существования в эпоху заселения Полинезии.

⁴ T. Heyerdahl. The Kon-Tiki expedition. London, 1950.

⁵ A. Sharp. Ancient voyagers in the Pacific.— «Polynesian Society memoir», 32. Wellington, 1956.

Эти нападки на общепринятые взгляды послужили стимулом к публикации ряда обзорных работ, суммирующих имеющиеся данные; были предприняты и новые исследования по целому ряду важнейших сторон этой проблемы. В то же время результаты работ ряда новых археологических экспедиций на тропических островах Полинезии обеспечили более солидную основу для датировки их заселения, для установления последовательности культур и для разработки концепций о доисторических миграциях. Более десятилетия множество ученых занималось пересмотром «полинезийской проблемы». В публикации материалов одного симпозиума, вышедшей в 1963 г.⁶, различные авторы рассмотрели данные о случайных плаваниях, о познаниях полинезийцев в области навигации, о мореходных качествах их судов. Вскоре после этого А. Хоуард⁷ и Г. Р. Льютвейт⁸ резюмировали позиции, занятые в то время разными учеными. По наибольшую роль сыграли подробные исследования, проводившиеся по отдельным аспектам проблемы. Одно из существенных требований было выполнено К. Окерблумом, который подверг критическому рассмотрению имеющиеся данные о навигационных методах полинезийцев и микронезийцев; он пришел к выводу, что те методы навигации, о которых имеются конкретные сведения, «безусловно недостаточно надежны, чтобы поддерживать регулярные сношения на расстояниях, требующих длительного нахождения в открытом море»⁹. Все же Д. Льюис взялся за проверку приписываемых полинезийцам методов, совершая плавания без современных навигационных приборов; его опыты показали, что точность при нахождении нужного берега не имеет существенного значения, так как большие островные группы обычно обеспечивали для прибывающих издалека путешественников достаточно крупную цель. Раз достигнув островной группы, мореплаватели могли затем находить нужное им место с помощью прибрежных или недалеких межостровных переходов¹⁰. К тому же Д. Льюису, как и Т. Гледвину¹¹, удалось непосредственно ознакомиться с традиционными методами навигации без приборов. Эти методы и ныне применяются мореходами-микронезийцами в плаваниях на расстоянии до 400 миль и более. Льюис плавал как с микронезийскими, так и с полинезийскими моряками; те и другие показали на практике способность находить нужный берег после плавания без навигационных приборов на расстояния в сотни миль¹².

Вопросы, касающиеся мореходных качеств полинезийских каноэ и их пригодности для дальних плаваний, изучались экспериментально на моделях¹³ и на лодках натуральных размеров¹⁴. Эти эксперименты, а

⁶ J. Golson (ed.). Polynesian navigation.—«Polynesian Society memoir», 34. Wellington, 1963.

⁷ A. Howard. Polynesian origins and migrations: a review of two centuries of speculation and theory.—In: G. A. Highland, R. W. Force, A. Howard, M. Kelly, Y. H. Sinoto (eds.). Polynesian culture history. Honolulu, 1967 («B. P. Bishop Museum special publication», 56).

⁸ G. R. Lewthwaite. Geographical knowledge of the Pacific peoples.—In: H. R. Friis (ed.). The Pacific basin. A history of its geographical exploration. N. Y., 1967.

⁹ K. Akerblom. Astronomy and navigation in Polynesia and Micronesia. Stockholm, 1968 (Ethnographical Museum, Monograph № 14).

¹⁰ См., например: D. Lewis. Stars of the sea road.—«Journal of the Polynesian Society», v. 75, 1966, p. 84—94; *его же*. Expanding the target in indigenous navigation.—«Journal of Pacific history», v. 6, 1971, p. 83—95. В том же журнале (1972, т. 7, с. 222—225) содержатся замечания А. Шарпа и ответ Д. Льюиса.

¹¹ T. Gladwin. East is a big bird: navigation and logic on Puluwat Atoll. Cambridge, Mass., 1970.

¹² D. Lewis. We the navigators. Canberra, 1972.

¹³ См., например: C. O. Bechtol. Sailing characteristics of Oceanic canoes.—In: J. Golson (ed.). Polynesian navigation, p. 98—101.

¹⁴ B. R. Finney. New perspectives on Polynesian voyaging.—In: G. A. Highland, R. W. Force, A. Howard, M. Kelly, Y. H. Sinoto (eds.). Указ. паб., с. 141—166.

также изучение судов американских аборигенов К. Р. Эдвардсом¹⁵ и путешествия Т. Хейердала¹⁶, В. Уиллиса¹⁷ и позднейших путешественников, пересекавших океан на плотах от Южной Америки до Полинезии (а в двух случаях и дальше — до Австралии), показали достаточно высокие мореходные качества и пригодность для дальних морских путешествий судов, использовавшихся на Тихом океане до прихода европейцев. Другие ученые изучили ветры и течения, с которыми могли столкнуться старинные путешественники; их работы показывают, что количественные характеристики этих явлений значительно более изменчивы, чем полагало большинство авторов¹⁸.

Параллельно с экспериментальными исследованиями и изучением исторической документации лингвисты и археологи разработали более достоверную хронологию заселения островов и смены археологических культур¹⁹. Полученные результаты в общем подтверждают обобщающие положения, высказанные К. П. Эмори в 1959 г.: «В настоящее время представляется наиболее вероятным, что люди довольно различного происхождения очутились в одно и то же время на одном из западных архипелагов Полинезии около 1500 г. до н. э.; здесь, в сравнительной изоляции, их потомки обрели отличительные характерные черты этнического облика, языка и культуры, которые ныне являются общими для всех полинезийцев. Эти первые полинезийцы затем переселились в восточном направлении на архипелаг Таити. Здесь, снова в условиях изоляции (за исключением разве случайно заплывшего мореходного каноэ с запада или дрейфующего плота из Перу), сложились те формы языка и культуры полинезийцев, которые в дальнейшем распространились отсюда с группами переселенцев на восток до острова Пасхи, на юг — до Новой Зеландии и на север — до Гавайев; этих крайних точек своего распространения они достигли уже в начале новой эры»²⁰.

Таким образом, современные исследования привели к новому единству взглядов, в котором представление о первоначальном заселении Полинезии с запада допускает вместе с тем возможные связи с Южной Америкой; предполагается сочетание целенаправленных, осуществляемых с помощью навигации плаваний и случайных, дрейфовых. Тем не менее ряд вопросов остался нерешенным. На некоторые из них, быть может, никогда не будет получено достоверного ответа. Таков, например, вопрос о первичных мотивах, побудивших предков полинезийцев пуститься в океан. Никогда мы не узнаем также, какая часть доисторических плаваний завершалась успехом, какая терпела неудачу, какая оканчивалась возвращением; не узнаем и того, как оценивали сами островитяне результаты своих путешествий. Некоторые же ключевые вопросы, по-видимому, оказалось возможно решить методом имитационного моделирования. Например, оставался открытым вопрос о том, могла ли вся Полинезия либо часть ее быть заселенной в результате заноса судов дрейфом. Если нет, то какой минимальный уровень навигационного мастерства требовался для того, чтобы древние мореплаватели могли достичь край-

¹⁵ C. R. Edwards. Sailing rafts of Sechura: history and problems of origin.— «Southwestern Journal of Anthropology», 1960, № 16, p. 368—391; его же. Aboriginal watercraft on the Pacific coast of South America. Berkeley, California, 1965.

¹⁶ T. Heyerdahl. Указ. паб.

¹⁷ W. Willis. The epic voyage of the «Seven Little Sisters». London, 1957.

¹⁸ См., например: D. D. Tumarkin and V. I. Voitov. Navigational conditions of sea routes to Polynesia. Paper presented to the 11th Pacific Science Congress, Tokyo. Moscow, 1966.

¹⁹ См.: J. Golson. The Pacific islands and their prehistoric inhabitants.— In: R. G. Ward (ed.), Man in the Pacific islands. Oxford, 1972, p. 5—33; R. C. Green and M. Kelly (eds.), Studies in Oceanic culture history, 2 vols.—«Pacific Anthropological Records», 11—12, Honolulu, 1970—1971; R. and M. E. Shutler. Oceanic prehistory. Menlo Park, California, 1975.

²⁰ K. P. Emory. Origin of the Hawaiians.— «Journal of the Polynesian Society», 1959, v. 68, p. 34.

них пределов полинезийского треугольника? Как должна была влиять изменчивость ветров и течений на шансы на успех или неудачу в условиях дрейфа и как — при целенаправленном мореплавании? Наше исследование и должно было дать ответ на подобные вопросы.

Одна из трудностей, во многом затемнявших дискуссии между сторонниками концепции случайных плаваний в одном направлении и защитниками целенаправленного мореходства с применением навигации, обеспечивающего возвращение, заключалась в необходимости полагаться на усредненные (месячные, квартальные или годовые) данные о ветрах и течениях, содержащиеся в разного рода метеорологических и навигационных схемах и картах. Хейердал, например, отмечая неизменную регулярность ветров и течений на обычных схемах, считает, что необычные условия встречаются не настолько часто, чтобы эти схемы потеряли ценность²¹. Авторы, придерживающиеся иных взглядов (например, Фердон²²), отмечали, что бури могут налетать с разных направлений. Мы в своем исследовании учли эту проблему, охватив своей моделью все имеющиеся наблюдения над направлением и силой ветров и поверхностных течений. Работа велась на большом компьютере. Использование этих наблюдений в качестве вероятностных характеристик позволяет реалистически оценить влияние ветров и поверхностных течений на управляемые или дрейфующие суда.

Детализованная имитационная модель ветров и течений позволила нам проверить, существовала ли возможность того, чтобы один только пассивный дрейф привел к заселению всего полинезийского треугольника. Она позволила также рассмотреть некоторые частные проблемы, например ответить на вопрос, можно ли процессами дрейфа с разных островов удовлетворительно объяснить языковые различия между полинезийскими группами, ныне живущими в меланезийском окружении²³.

Методика и модель

Не имея непосредственных свидетельств о том, как совершались путешествия, приводившие к заселению островов, невозможно ни доказать, ни опровергнуть гипотезы о целенаправленных или случайных плаваниях. Однако, разработав программу, моделирующую систему ветров и течений Тихого океана, расположение островов, методы навигации, судоходные возможности лодок и выживаемость мореплавателей, мы можем имитировать путешествия на ЭВМ и затем исчислить вероятности контактов между разными островными группами при той или иной навигационной «стратегии». Исходя из этих вероятностей, мы можем далее оценить (с разной степенью надежности) сравнительное правдоподобие альтернативных вариантов процесса расселения. Чем выше вероятность, тем больше оснований считать реалистическими параметры, принятые для системы моделирования.

Полное описание имитационной модели содержится в нашей монографии²⁴. Основными элементами системы моделирования, включенными в программу, были: географические координаты островов и побережий; расстояния, на которых возможно обнаружить сушу и предпринять попытку высадки; вероятности появления ветров и течений определенного направления и силы для каждой пятиградусной трапеции широты и дол-

²¹ T. Heyerdahl. The voyage of the raft Kon-Tiki.— «Geographical Journal», 1950, v. 115, p. 20, 21; *его же*. Voyaging distance and voyaging time in Pacific migration.— «Geographical Journal», 1951, v. 117, p. 69—77.

²² E. N. Ferdon. Polynesian origins.— «Science», 1963, v. 141, p. 499—505.

²³ R. G. Ward, J. W. Webb, M. Levison. The settlement of the Polynesian outliers: a computer simulation.— «Journal of the Polynesian Society», 1974, v. 83, p. 330—342.

²⁴ M. Levison, R. G. Ward, J. W. Webb. The settlement of Polynesia. Minneapolis, 1973.

готы в каждый месяц года; скорости, возможные для судов при той или иной силе ветра и течения; шансы на выживание экипажей судов в море; добавочный риск, вносимый внезапными штормами; и, наконец, желательный курс судов. Каждый из этих элементов представлен своей особой моделью, построенной в соответствии с имеющимися данными, с учетом граничных допущений, принятых по теоретическим или расчетным соображениям. Исследование не охватывает весь Тихий океан, а ограничено площадью, лежащей между 150° в. д. и восточными берегами Тихого океана и между 25—35° с. ш. и 40—50° ю. ш.; это вызвано трудностью хранения данных в памяти компьютера (рис. 1).

Острова и побережья определены географическими координатами. Каждому из них придан определенный условный радиус непосредствен-

Таблица 1

Примеры последовательных смен ветров, полученных методом случайной выборки

Эксперимент 1, плавание 52*

Эксперимент 6, плавание 56**

Сутки плавания	Направление ветра	Сила ветра	Сутки плавания	Направление ветра	Сила ветра
1	ЗЮЗ	3	54	ЮВ	2
2	ВЮВ	4	55	ВЮВ	3
3	ЮЗ	4	56	В	3
4	ВСВ	4	57	В	3
5	ЮЮВ	4	58	ВЮВ	3
6	ССВ	1	59	Штиль	
7	ЗСЗ	3	60	ВЮВ	3
8	ЗСЗ	3	61	В	3
9	ВЮВ	2	62	В	1
10	ВЮВ	5	63	В	3
11	ЮЮВ	6	64	ВЮВ	2
12	ЮВ	5	65	ВСВ	4
13	ЮЮВ	7	66	СВ	4
14	ЮВ	5	67	Штиль	
15	В	2	68	ССВ	4

* Пункт отправления: 21°14' ю. ш., 159°45' з. д.

** Пункт отправления: 8°42' ю. ш., 140°36' з. д.

ной видимости в зависимости от высоты и массы суши: судно, попавшее в пределы такой окружности, считается осуществившим высадку на сушу. Для низменных островов радиус «зоны высадки» принимается в 10 морских миль, для более возвышенных — 20 миль, для материковых побережий — 30 миль. Это, разумеется, усредненные расстояния, поскольку видимость и ряд других признаков близости суши различны в разное время суток и при разном состоянии атмосферы и водной поверхности.

Из британских источников были получены помесечные данные о частоте ветров разной силы (по шкале Бофора) за 1855—1938 гг. для каждой пятиградусной трапеции, по 16 направлениям по компасу. Почти миллион битов информации о ветрах заполнили 4704 помесечных матриц вероятности ветров. Характер имеющихся данных и необходимость применять в наших экспериментах единообразные единицы времени не позволили делать поправку на автокорреляцию временных рядов показателей по ветрам и течениям за пределами суток. Тем не менее в результате случайных выборок из вероятностных матриц были получены ряды значений показателей ветров (и течений), которые в достаточно удовлетворительной степени могли имитировать наиболее вероятную последовательность ветров (см., например, табл. 1). Данные о ветрах и поверхностном дрейфе для каждой пятиградусной трапеции были распределены

по 7 категориям скорости и по 16 направлениям для каждого имитированного плавания. Последовательности ветров и течений выбирались из вероятностных матриц соответствующего месяца и соответствующей части океана посредством стохастического процесса.

Приписывая судам ту или иную скорость движения в зависимости от силы ветра, мы приняли консервативное соотношение, при котором скорость движения судна повышалась от половины узла при ветре первой категории (от одного до трех узлов) до семи узлов при ветрах седьмой категории (28—33 узла), а затем уменьшалась при еще более суровых ветрах. Мы приняли, что скорость судна относится к скорости поверхностного течения как 1 : 1.

В одной из моделей вероятности выживания моряков шансы на сохранение жизни до пятой недели медленно убывают; в этот момент еще живы 88% экипажа. Затем риск начинает быстро возрастать; к 15-й неделе в живых остается всего лишь около 12%. Максимальный срок жизни экипажа — 26 недель. Полинезийские лодки очень хорошо приспособлены к морским плаваниям, но при сильном ветре и волнении они становятся опасными. Для дней, на которые выборка давала очень сильные ветры (от 9 по шкале Бофора), мы принимали вероятность гибели судна равной 50%.

Эксперименты

Описанная выше система моделирования была положена в основу сложной компьютерной программы, позволявшей имитировать 732 плавания (по два на каждый день года) из одного начального пункта (рис. 2). Мы намеревались найти для судов, выходящих из многих разных пунктов, вероятность попасть на возможные острова и побережья. Эти вероятности определяются имеющимися данными и принятыми ограничениями элементов модели и процессами случайной выборки.

Мы провели более 100 тысяч имитационных плаваний по Тихому океану в ходе 149 экспериментов с разными пунктами отправления. Многие из этих экспериментов предусматривали пассивный дрейф, при котором судно непосредственно следовало за ветрами и течениями. В других суда держались избранного курса, насколько позволяли ветер и течение. Климатические изменения имитировались путем передвижения данных о ветрах и течениях на 5° к северу или к югу. Ставились также эксперименты, в которых плавания совершались в обратном направлении — от мест назначения, таких, как о. Пасхи или Гавайские острова; это делалось в тех случаях, когда мы придавали особую важность выяснению вероятности взаимных связей между островами и побережьями.

Система моделирования, показанная на рис. 2, включает следующие этапы:

1-й этап. Выбираются остров отправления, дата отплытия и максимальная дальность плавания.

2-й этап. Методом случайной выборки из соответствующих вероятностных таблиц определяются ветер и течение на первые сутки.

3-й этап. На основании соответствующих скоростей и направлений исчисляется положение судна в итоге суточного плавания.

4-й этап. Устанавливается, попадало ли судно в течение этих суток в зону высадки какого-либо острова. В этом случае плавание считается законченным; в противоположном случае осуществляется переход к следующему этапу.

5-й этап. Если превышена максимальная дальность плавания, путешествие считается законченным. В противном случае возвращаемся ко второму этапу, приняв в качестве начальной даты следующие сутки.

В табл. 2 приведена последовательность ветров и течений для одного имитационного плавания — от о. Риматара (в группе Тубуаи) до о. Фа-

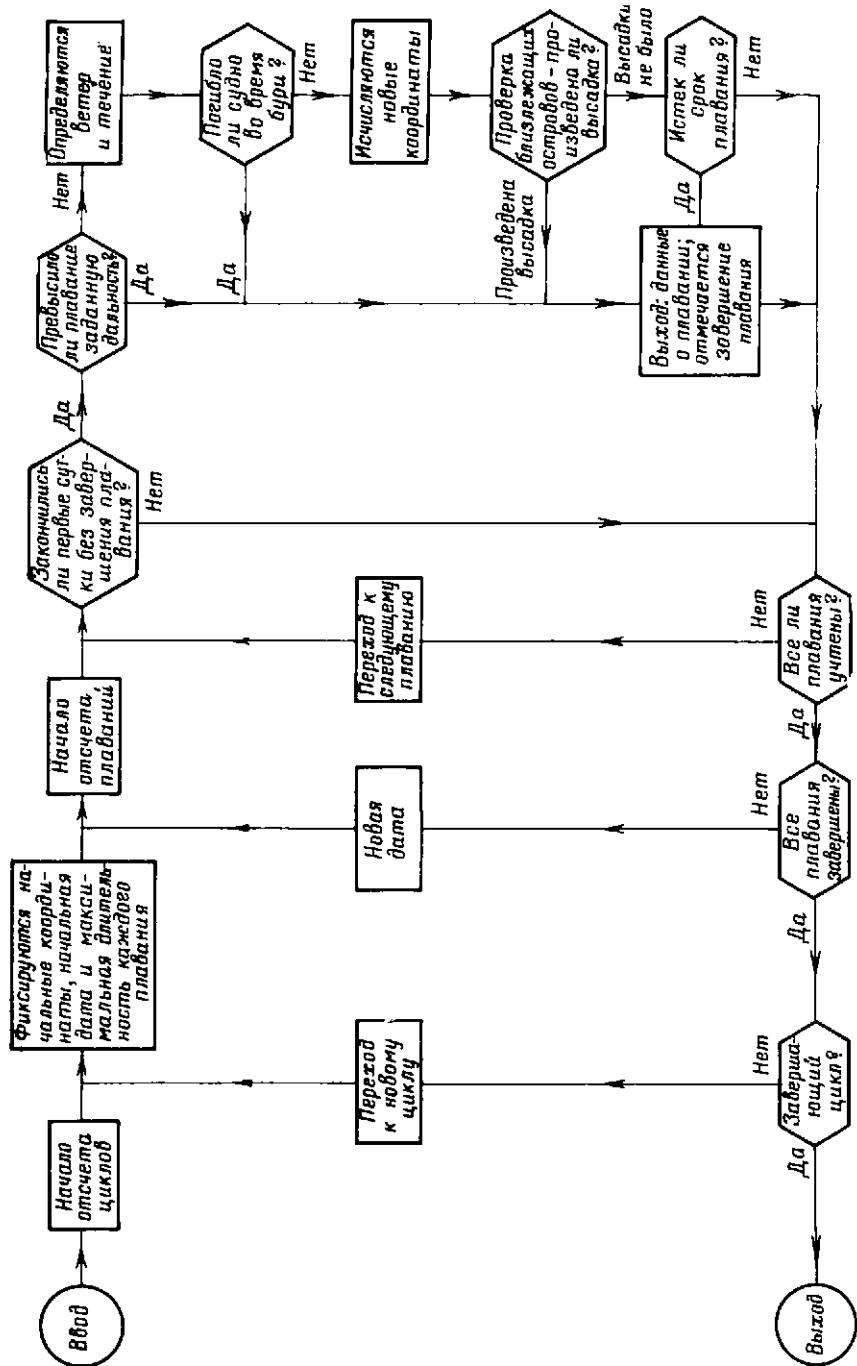


Рис. 2. Схема программирования модели

каофо (в группе Токелау), длившегося 23 суток. Компьютер выдал сводку мест высадки для каждого из 732 экспериментальных плаваний. По магнитной ленте бортового журнала можно в случае надобности воспроизвести отдельные плавания (см., например, табл. 2). Автоматически печатаются картосхемы, показывающие число высадок, число дней, проведенных подопытным кораблем в каждой пятиградусной трапедии, и местоположение любого судна в конце каждого суток его плавания. По этим картам можно проследить за судами во всем ареале, охваченном плаваниями из каждого начального пункта. По данным о числе высадок можно для плаваний в дрейфе от любого из 64 пунктов отправления исчислить вероятность попадания в другую островную группу (или к побережью) в пределах изучаемой акватории; в экспериментах с применением навигации эту вероятность можно исчислить для плавания из девяти начальных пунктов.

Результаты экспериментов

Пользуясь результатами наших экспериментов, каждый может дать им свое истолкование и считать тот или иной уровень вероятности контакта «значительным» или указывающим на контакты в результате дрейфов в доисторические времена. Что до нас, то, подытоживая результаты, мы делаем особый упор на проблемах дальних сообщений между Центральной Полинезией и Гавайями, Новой Зеландией и о. Пасхи. Рисунки 3—5 представляют собой картосхемы, на которых островные группы ради ясности изображения сведены к точечному знаку. Сплошные стрелки на рис. 4 изображают связи, возникновения которых при дрейфовых плаваниях можно, согласно нашим экспериментам, ожидать с вероятностью 10% и выше. Например, более 10% экспериментальных «плаваний» от Маркизских островов достигло северных островов Кука,

Таблица 2

Подробный ход 28-го плавания (3-й цикл, 9-й эксперимент) от о. Риматара группы Тубуан

Сутки	Ветер		Течение		Положение (координаты в градусах)	
	направление	сила	направление	сила	южная широта	западная долгота
1	Ю	6	ЮЮЗ	1	20,204	152,789
2	ЮЮВ	5	ВЮВ	3	18,426	153,819
3	ВСВ	3	ЮЮЗ	2	18,594	154,537
4	ЮВ	4	ВЮВ	2	17,688	155,579
5	В	3	Штиль	Штиль	17,688	156,418
6	ЮЮЗ	5	ЮЗ	1	15,989	155,658
7	ВЮВ	2	ЗЮЗ	2	15,779	155,898
8	ЮВ	6	ССЗ	2	14,220	157,602
9	ВЮВ	3	ССЗ	3	14,191	158,246
10	В	5	ЮЮВ	2	14,053	160,162
11	ВЮВ	2	ЗЮЗ	2	13,842	160,400
12	ЮВ	4	СЗ	1	13,029	161,238
13	В	1	Штиль	Штиль	13,029	161,443
14	ВЮВ	3	ССВ	3	13,000	162,320
15	ЮВ	4	ЮЮЗ	1	12,105	163,171
16	ВЮВ	3	З	3	11,799	163,620
17	ЮВ	5	СЗ	2	10,633	164,812
18	ВЮВ	4	ЗЮЗ	2	10,116	165,799
19	ЮВ	5	ССВ	3	9,120	167,208
20	В	5	С	2	9,270	169,031
21	ВСВ	4	ЗЮЗ	4	9,500	169,593
22	В	4	ЮЗ	1	9,465	170,774
23	ВСВ	4	ЮВ	3	9,712	172,413

Высадка на остров № 603 (о. Факаофо в группе Токелау).

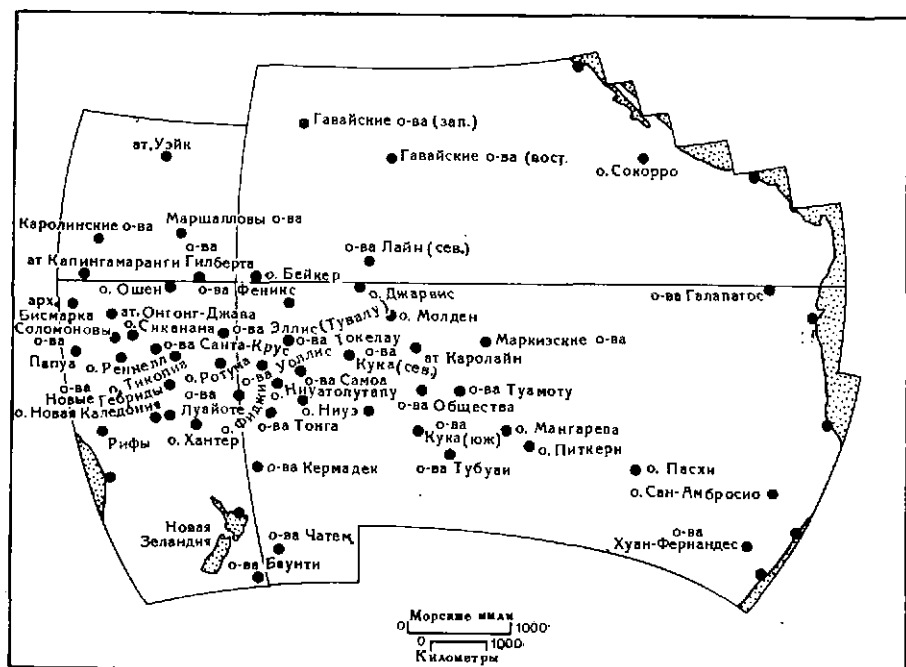


Рис. 3. Область исследования: островные группы и побережья

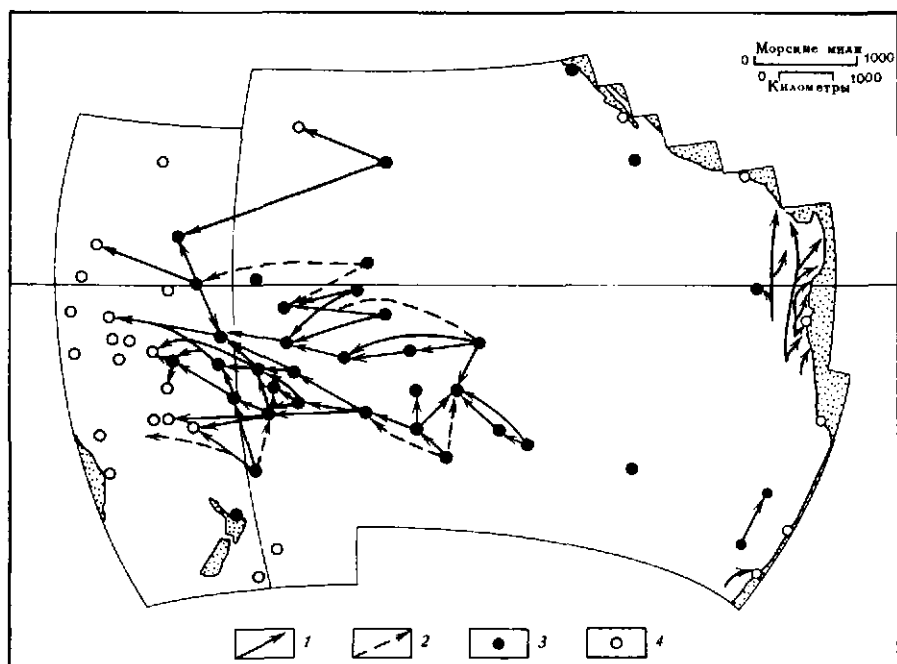


Рис. 4. Дрейфовые контакты высокой вероятности: 1—вероятность контакта 10% и выше по данным основных экспериментов, 2—по данным экспериментов с передвижением данных о ветрах, 3—островные группы отправления, 4—прочие островные группы и побережья

и по меньшей мере 10% их достигло необитаемой группы Каролайн — Восток — Флинт. Штриховые линии изображают результаты экспериментов со смещением ветров: в них путем сдвига систем ветров и течений на 5° имитируются крупные климатические изменения. На рис. 5 изображены дополнительно связи, имеющие вероятность менее 10%, но не менее 5%.

Обзор обобщенных результатов в целом (рис. 6) и более подробное рассмотрение результатов экспериментов показывают сильное преобладание дрейфов с востока на запад; это хорошо согласуется с имеющимися сведениями о фактических плаваниях в дрейфе²⁵. Тем не менее небольшое число дрейфовых плаваний направляется на восток. В последующих комментариях они также приняты во внимание.

Постулировались различные точки проникновения судов в полинезийский треугольник. Чтобы проверить шансы на попадание из западно-меланезийского района в западную Полинезию или Фиджи в дрейфовом плавании, мы провели эксперимент с отправлением от о. Тикопиа, благоприятно расположенного в отношении частоты северо-западных ветров. Результаты показывают чрезвычайно низкую вероятность (0,3%) дрейфовых попаданий на Фиджи или в Полинезию. Четырехсотмильное пространство океана восточнее островной цепи, образованной Соломоновыми островами и Новыми Гебридами, представляет труднопреодолимое препятствие для дрейфов в восточном направлении. Гипотеза дрейфа более приемлема для пути из Микронезии через острова Эллис (Туvalu), Ротума, Уоллис и Футуна на Фиджи. Кстати, существуют исторические свидетельства о дрейфе 20 человек — мужчин, женщин и детей — от островов Гилберта до о. Ротума в 1845 г.²⁶ Учитывая демографическую потребность в том, чтобы по этому пути прошло значительное число людей в пределах ограниченного периода времени, представляется маловероятным заселение Фиджи путем случайных дрейфов в одном направлении.

Случайное проникновение в Полинезию дрейфующих судов, отправившихся от какой-либо части американского побережья в пределах исследуемого нами района (т. е. от Лос-Анджелеса до мыса Горн), маловероятно: один из полинезийских островов был достигнут лишь в одном экспериментальном плавании из общего числа примерно 5856 (путешествие из пункта Сан Мигель близ Лос-Анджелеса до Гавайев). Это не исключает возможности более легко осуществимых плаваний к Гавайским островам от побережья Британской Колумбии, но вероятность дальнейшего дрейфа от Гавайев в остальную Полинезию равна нулю.

Поскольку вопросу о южноамериканском происхождении полинезийцев уделялось много внимания, нам, пожалуй, следует несколько полнее изложить свои выводы о связях путем дрейфа между Южной Америкой и Полинезией. Дрейф до Полинезии от американского побережья между 11 и 15° ю. ш. (т. е. из того района, где в доколумбовы времена применялись парусные плоты²⁷) имеет нулевую вероятность. Кроме того, мы хотели бы отметить, что предположение о случайном отправлении судов с экипажами в направлении Полинезии с этого участка побережья неправдоподобно: ведь моряки не могли не знать о меридиональном направлении береговой линии, простирающейся, как им казалось, бесконечно. Любой курс в более или менее восточном направлении должен был, казалось, неизбежно привести к суше, и трудно представить себе ситуацию, в которой экипаж стал бы править к западу, по направлению

²⁵ G. M. Dening. The geographical knowledge of the Polynesians and the nature of inter-island contact.— In: J. Golson (ed.). Polynesian navigation, p. 140.

²⁶ Там же.

²⁷ C. R. Edwards. Aboriginal watercraft on the Pacific coast of South America, p. 107, 110—112.

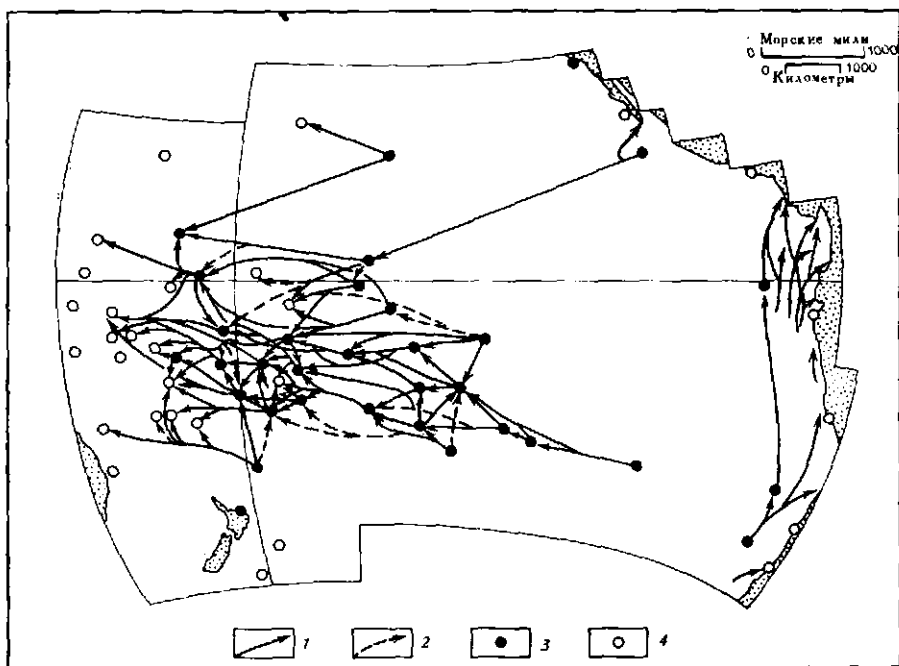


Рис. 5. Дрейфовые контакты менее высокой вероятности: 1 — вероятность дрейфового контакта 5% и выше по данным основных экспериментов, 2 — по данным экспериментов с передвижением данных о ветрах, 3 — островные группы отправления, 4 — прочие островные группы и побережья

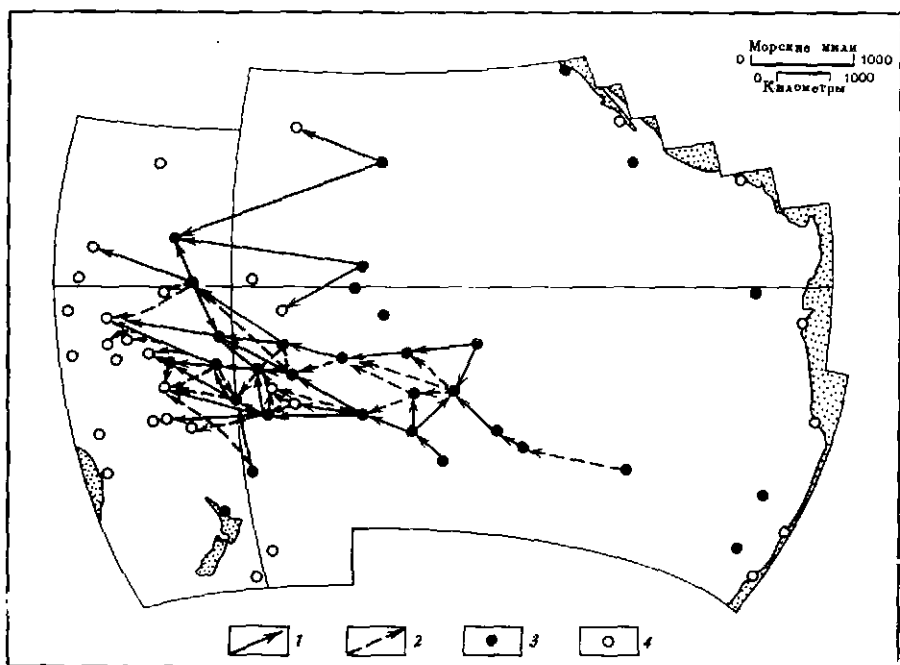


Рис. 6. Пути дрейфовых плаваний с контактами: 1 — дрейфовые контакты высокой вероятности (от 10%), 2 — дрейфовые контакты менее высокой вероятности по данным только основных экспериментов, 3 — островные группы отправления, 4 — прочие островные группы и побережья

к заходящему солнцу и звездам, воображая при этом, что они движутся на восток, в сторону восхода. Мы заключаем, что путем дрейфовых плаваний (в том значении термина, как он определен в нашей модели) нельзя было добраться от южноамериканского побережья до Полинезии, если только они не начинались на расстоянии 300—400 миль от берега. Мы считаем, что если от эквадорско-перуанского побережья совершались прямые плавания в Полинезию, то это были не дрейфы или случайные плавания, а, скорее всего, намеренные плавания, имеющие целью исследования и открытия. Другими словами, это должны были быть такие путешествия, как плавание Кон-Тики и его последователей, экипажи которых сознательно плыли на запад.

В дальнейшем, после проникновения в фиджийско-западнополинезийскую область, постепенное расселение по ее главным островным группам — Фиджи, Тонга и Самоа могло происходить путем дрейфа. Но ключевым событием (или рядом событий) стало продвижение дальше к востоку от этих западных окраин. Наши эксперименты не подтверждают возможности дрейфовых плаваний от Самоа к Маркизским островам; вероятность любой другой трассы дрейфа в восточную Полинезию также очень низка. Но, начиная от Маркизских островов, мы можем принять в качестве возможного процесс дрейфа, приведший к заселению островов Туамоту, Общества, Кука и, быть может, Тубуаи и Рапа. Непрямо и при очень низкой вероятности могли быть достигнуты даже острова Мангарева и Питкери. Остров Пасхи лежит далеко за пределами площади, охватываемой плаваниями от любого начального пункта, за исключением Оэно, да и от него успешно закончилось только одно плавание из 732.

Дрейфовые плавания к Гавайским островам из любых других частей Полинезии (в том числе от островов Лайн) имеют нулевую вероятность. Единственный район, из которого дрейфующие суда попадают в Новую Зеландию, это группа Кермадек, да и то с вероятностью ниже 1%. Поскольку связь с Новой Зеландией через острова Кермадек потребовала бы дрейфа в два этапа, оба с очень низкой вероятностью, нам представляется, что этот слабый шанс (а также еще более отдаленная возможность прямого дрейфа в Новую Зеландию, выявленная в одном из экспериментов, предусматривающем плавание в обратную сторону) не дает достаточного подтверждения гипотезы о заселении Новой Зеландии путем дрейфовых плаваний.

На основании результатов наших исследований мы пришли к выводу, что дрейфовая гипотеза в ее чистой форме неудовлетворительна в силу крайне малой вероятности заселения окраинных частей полинезийского треугольника путем дрейфовых процессов, а также проникновения в него таким путем групп поселенцев с запада или востока. Однако ясно, что дрейфы из Центральной Полинезии могут служить объяснением наличия людей с полинезийскими признаками на некоторых островах в пределах Меланезии. Районы отправления имитационных дрейфовых плаваний, закончившихся у различных «внешних» полинезийских территорий (*outliers*), хорошо сходятся с лингвистическими данными об удельном весе разных исходных языковых групп. Более подробный анализ этих данных опубликован в другом месте²⁸; однако вывод о том, что заселение именно этих островов полинезийцами может быть объяснен дрейфами, достаточно очевиден.

После того как наши эксперименты убедительно показали недостаточность дрейфовой гипотезы для объяснения таких плаваний, без которых не могли бы быть заселены многие части Полинезии, мы расширили свое исследование и провели 11 экспериментов, основанных на предпо-

²⁸ R. G. Ward, J. W. Webb, M. Levison. The settlement of the Polynesian outliers: a computer simulation.

ложении, что экипажи судов пытались продвигаться по избранному ими курсу. Согласно заданным нами условиям, суда могли плыть лишь в пределах 90° по отношению к направлению ветра — это достаточно консервативное предположение. Такие эксперименты были проведены с целью проверить возможность преодоления широких океанических просторов (которые не удавалось пересечь в наших экспериментах с дрейфом) при помощи ограниченных и сравнительно несложных навигационных приемов. Из 732 судов, отплывших от о. Раротонга с избранным курсом на юго-запад, 62% достигли Новой Зеландии. Все другие дальние плавания, без которых не могло бы состояться расселение полинезийцев по окраинным островам, также получили достаточно высокий шанс на успех при ограниченных навигационных приемах, предусмотренных в модели. Если результаты наших экспериментов показали недостаточность дрейфовой гипотезы, они в то же время продемонстрировали, что для процесса расселения достаточно было сравнительно простых навигационных навыков. Работа Льюиса²⁹ показывает, что в недавнем прошлом островные мореходы обладали во всяком случае гораздо более высоким уровнем навигационных познаний, нежели этот необходимый минимум. Как продемонстрировали недавние плавания Хейердала на плоту через Атлантический океан и множество других дальних морских путешествий в маленьких суденышках, «сухопутные» ученые склонны забывать, что море не только барьер, но и дорога. Как писал Джошуа Слокум, первым совершивший один, без спутников, кругосветное путешествие, «стоять лицом к лицу со стихией и вправду нелегко, когда море в грозном настроении. Тут надо знать море, помнить, что его знаешь, и не забывать, что оно для того и создано, чтобы по нему плыть»³⁰.

В дискуссиях о «полинезийской проблеме» часто упускается из виду один жизненно важный момент. Это — разница в подходе к морю, к мореплаванию и к сохранению жизни на море между тихоокеанским островитянином и жителем материка. Древние островитяне, может быть, воспринимали океан как море островов. Житель материка часто представляет его себе как пустое водное пространство. Возможно, что эти противоположные представления выросли из разницы в опыте отношений с океаном. Люди, вступавшие в него с его западных окраин, естественно, могли рассчитывать и далее к востоку увидеть моря, столь же испещренные островами, как и известные им районы. Представления же об океане «западного человека» формировались под впечатлением пустынных просторов Атлантического и восточной части Тихого океанов. Можно предполагать, что островитянин из западной части Тихого океана, отправляясь в плавание на восток в поисках новых земель, находился в полной уверенности, что на горизонте навстречу ему, как и прежде, поднимутся острова.

Перевод М. Я. Берзиной

THE SETTLEMENT OF POLYNESIA: DRIFT OR NAVIGATION? A COMPUTER SIMULATION

A brief summary is given of the controversy around the «Polynesian problem», the problem of drift versus navigation in the original settlement of the Pacific islands.

A series of computer-simulated experiments were conducted by the authors for the purpose of ascertaining whether a purely drift process could have resulted in the settlement of the whole area of the «Polynesian Triangle». A model system has been constructed whose basic elements are: the locational coordinates of islands and coasts; the distance from which a landing might be attempted; the probabilities of the occurrence of winds and cur-

²⁹ D. Lewis. We the navigators.

³⁰ J. Slocum. Sailing around the world. New Brunswick, N. S., 1958, p. 381.

rents of specific direction and force for each 5° «square» of latitude/longitude for each month of the year; the speeds vessels might maintain with different winds and currents; the chances of crew survival at sea; the special risks brought about by gales; the desired course. The model system operates through the following steps: 1) select the starting island, the starting date and the voyage's maximum length; 2) select at random the wind and current for the day from the relevant probability tables; 3) compute the resulting position of the craft at the end of that day's journey by applying the relevant speeds and directions; 4) if the craft has entered the landing zone of any island during the day, end the voyage; otherwise (5) advance the date and continue from step 2 (unless the length of voyage has been exceeded, in which case the voyage must be terminated).

Over 100.000 Pacific voyages in 149 experiments were thus simulated. The landing frequency data has enabled the experimentators to calculate the probabilities of a voyage resulting in settlement: for drifting vessels from any of 64 starting points and for navigated vessels from each of 9 starting points.

Examination of the results shows the probability of the settlement of all of Polynesia as a result of drift voyages to be negligible: however drift voyages from central Polynesia could account for the settlement of the Polynesian «outliers» in the Melanesian area. At the same time the results of the experiments show that the navigational skills necessary for the settlement process need only have been relatively simple.

О РОЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИВЕРГЕНЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ*

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Представление о том, что общественная среда играет очень значительную роль в формировании биологических особенностей человеческих групп, давно и прочно утвердилось в советской антропологии. И тем не менее при анализе отдельных конкретных ситуаций это положение использовалось реже, чем оно того заслуживает; в большинстве случаев исследователи концентрировали внимание на природных условиях расовой дифференциации. Заслуга В. П. Алексеева заключается в том, что он еще раз поднял вопрос о взаимоотношении социальных и биологических процессов и, главное, попытался не ограничиваться общими словами, а наполнить этот вопрос реальным содержанием.

Рассмотрев многочисленные примеры, автор заключает, что у человека процессы расообразования протекают интенсивнее, чем у животных. Однако В. П. Алексеев, как мне кажется, ослабляет этот вывод, утверждая, что роль естественного отбора и генного дрейфа уменьшается в процессе развития человеческого общества.

По мнению многих современных биологов, в том числе и советских, случайный дрейф генов не играет существенной роли в биологической эволюции. Гипотеза о том, что человеческие расы возникли благодаря случайным процессам¹, имеет очень мало сторонников. Но можно ли думать, что в человеческих коллективах эти случайные процессы имеют меньшее значение, чем в сообществах животных? Ведь у животных действуют только природные факторы внутривидовой изоляции, а у человека — и природные, и социальные. Кроме того, при прочих равных условиях ослабление роли отбора ведет к усилению роли генного дрейфа. Есть ли, однако, основания считать, что отбор ослабевает в процессе человеческой эволюции? Да, есть, если речь идет о селективной роли смертности. В коллективах, достигших высоких ступеней общественного развития, этот фактор действительно утратил решающее значение. Улучшение жизненных условий снижает требования к физическому типу человека. Неодинаковая интенсивность отбора посредством смертности — одна из причин биологической дифференциации как в пределах всего человечества, так и внутри этносов. У охотников и собирателей частота наследственно обусловленных дефектов зрения ниже, чем в группах с

* Начало дискуссии см.: «Сов. этнография», 1976, № 4, 5.

¹ А. А. Малиновский. Биологические и социальные факторы в происхождении расовых различий у человека. — «Природа», 1947, вып. 7.

развитым производящим хозяйством²; представители низших сословий общества иногда превосходят представителей высших сословий по своему физическому развитию³.

Основным же селективным фактором у человека является дифференциальная рождаемость. Колебания плодovitости в человеческом обществе намного сильнее, чем в пределах зоологических видов, и могут служить причиной существенных эволюционных изменений⁴. Вопреки мнению В. П. Алексеева, вполне возможно, что межгрупповые различия в рождаемости в какой-то мере генетически обусловлены. Несомненно, в конечном счете все демографические показатели регулируются социально-экономическими факторами. Другой вопрос — как осуществляется это регулирование. Вполне вероятно, что чем больше была роль естественных (наследственных) механизмов в поддержании оптимальной численности популяции, тем реже приходилось прибегать к искусственным мерам ограничения прироста населения и, следовательно, в тем более выгодном положении оказывалась группа⁵. Но не только по своему происхождению, а и по своим следствиям групповые различия в демографических показателях могут иметь отношение к биологии. Неодинаковые темпы естественного прироста населения иногда приводят к сдвигу в распределении антропологических типов⁶.

Вместе с тем в некоторых обществах рождаемость все еще играет меньшую эволюционную роль, чем смертность⁷. Успехи медицины огромны, но все-таки до сих пор многие люди умирают до окончания репродуктивного периода, и, главное, как показывают многочисленные исследования, люди с разными физическими особенностями неодинаково восприимчивы к различным заболеваниям, а также и к патогенным факторам искусственного происхождения.

Меняющаяся социальная среда постоянно создает новые возможности для биологических изменений, отсутствующие в животном мире. Наиболее существенно здесь то, что человек сам более или менее активно способствует таким изменениям. Любой геноцид целиком и полностью обусловлен социально-экономическими причинами, но его последствия часто затрагивают уже не только социально-экономическую, но и антропологическую сферу. Людей истребляли обычно за их социальную, политическую или этническую принадлежность, но иногда только за какие-то особенности их внешнего облика. В IV в. н. э. китайский император Ши Минь приказал уничтожить всех до единого хуннов в государстве; в результате резни погибло и множество китайцев с сильно выступающими носами⁸, т. е. с признаком, напоминающим антропологический облик хуннов. Пример этот, конечно, уникален, но разве убийства людей только на том основании, что у них темная кожа, не относятся к той же категории? Такие явления, по-видимому, совершенно не имеют зоологических параллелей.

Человек создал также новые предпосылки для действия обычных селективных факторов, определяющих ход эволюции в животном мире. Биологические закономерности остаются теми же, но у человека они проявляются в совершенно особых условиях. Рабочие, много лет пропра-

² R. H. Post. Notes on relaxed selection in man.— «Anthropologischer Anzeiger», Jg. 29, 1965.

³ Н. Н. Чебоксаров. Физический тип китайцев различных социальных групп.— «Антропологический журнал», 1935, вып. I.

⁴ R. A. Fisher. The genetical theory of natural selection. Oxford, 1930, p. 188—199.

⁵ C. B. Goodhart. World population growth and its regulation by natural means.— «Nature», v. 178, № 4533, 1956.

⁶ F. S. Hulse. Some factors influencing the relative proportions of human racial stocks.— «Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology», v. 22, 1958.

⁷ «Genetic selection in man». Ann Arbor, 1963, p. 16, 17, tabl. 3, 4.

⁸ Н. Я. Бичурин (Иакинф). Статистическое описание Китайской империи, ч. II. СПб., 1842, с. 74, 75.

ботавшие в горячих цехах, отличаются от контрольной группы меньшим весом, более удлиненными пропорциями тела, более вытянутыми конечностями. При обследовании рабочих, сравнительно недавно поступивших на металлургический завод, выяснилось, что индивидуумы, отличающиеся значительным весом и относительно малой поверхностью тела, часто обнаруживают симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и вообще мало приспособлены для работы при высокой температуре окружающего воздуха⁹. Отбор, следовательно, идет в полном соответствии с известными экологическими правилами Бергмана и Аллена, но в условиях искусственной, созданной человеком среды.

Роль профессионального подбора совершенно различна на разных уровнях общественного развития. В ранние эпохи, когда производственная специализация была мало развита, этот подбор мог приводить в некоторых случаях к закреплению в пределах группы одного определенного комплекса биологических признаков, благоприятствующих тому или иному виду хозяйственной деятельности в данных природных условиях. Об этом же писал еще Л. Крживицкий в своей не очень удачно названной книге¹⁰. С усилением общественной дифференциации роль подбора изменилась. Если вначале он способствовал возникновению географически локализованных комплексов признаков, то впоследствии создавал в основном комплексы, имеющие социальную и профессиональную приуроченность. Такие комплексы В. Пфитцнер назвал «стратиграфическими расами». В масштабах всего человечества «стратиграфические» расы различаются слабее, чем «географические», поскольку последние возникли гораздо раньше — в этом В. П. Алексеев прав. Но он неправ, утверждая, будто у человека, симпатрическое расообразование, т. е. такая форма расообразования, при которой различные расовые комплексы возникают в пределах одной и той же территории, вообще не может играть существенной роли. Антропологические различия между социальными группировками достаточно отчетливы, и наследственная обусловленность этих различий, на мой взгляд, не вызывает никаких сомнений¹¹. Вопрос лишь в том, каким образом они возникли за такой сравнительно короткий срок. Нужно прежде всего учесть, что «стратиграфические» расы в отличие от «географических» создаются и сохраняются в значительной мере в результате сознательных действий людей. Конечно, и здесь играет какую-то роль «естественный» отсев (вспомним пример с металлургами), но несравненно большее значение имеет социальная мобильность. Исследования в разных странах показали, что люди, переходящие из одной социальной группы в другую, сближаются по своим физическим признакам не с той группой, которую они покидают, а с той, к которой они присоединяются, причем это можно обнаружить еще до того, как осуществляется переход¹². Нетрудно понять, почему астенично сложенный и физически слабый сын кузнеца предпочтет нарушить семейную традицию и стать, например, портным. Но почему в отдельных случаях люди, уезжающие из деревни в город, отличаются от своих односельчан в среднем более темным цветом глаз (как это установлено, например, исследованиями в Силезии)¹³? Понять такого рода явления становится легче,

⁹ D. Zannini, S. Colli, L. Fontana. Constitution individuelle et adaptation au travail dans les conditions de surcharge thermique.— «Biotypologies», t. 25, № 2, 1964.

¹⁰ Л. Крживицкий. Психические расы. СПб., 1902; A. Brues. The spearman and the archer.— «American Anthropologist», v. 61, № 3, 1959.

¹¹ Н. Н. Чебоксаров. Указ. паб.; E. Schreider. Un mécanisme selectif possible de la différenciation sociale des caractères biologiques.— «Revue de la Société de Biometrie Humaine», t. 2, № 1—2, 1967.

¹² Л. П. Николаев. Национальные и социальные различия в размерах головы и в некоторых соматоскопических признаках у населения Харьковского округа.— «Материалы по антропологии Украины», сб. 2. Харьков, 1926; R. L. Cliquet. Social mobility and the anthropological structure of populations.— «Human Biology», v. 40, № 1, 1968.

¹³ I. Schwidetzky. Bauern als Siebungsgruppe.— «Homo», B. 11, H. 1—2, 1960.

если учесть, что черты физического типа связаны с особенностями психики и темперамента, по-видимому, посредством каких-то биохимических процессов¹⁴.

Однако «стратиграфические расы» имели бы лишь ограниченное антропологическое значение, если бы они существовали только благодаря естественному отсеву и социальной мобильности. Главное состоит в том, что социальные и профессиональные группировки в значительной степени определяют брачную структуру населения. Например, в Индии межкастовые браки все еще составляют менее 1%, в результате чего сохранились возникшие в древности антропологические различия между кастами¹⁵. Лишь в редких случаях социальные прослойки характеризуются столь сильной эндогамностью, однако в любом обществе социальный фактор играет достаточно важную роль при заключении браков. Иногда этот фактор принимает форму регламентации, иногда же речь идет лишь о том, что контакты между людьми в пределах одной социальной группировки в среднем интенсивнее, чем контакты между представителями разных группировок.

Что касается физических особенностей людей, заключающих браки, то уже давно было замечено и статистически подтверждено, что супруги отличаются друг от друга в среднем несколько меньше, чем люди, случайно выбранные из той же генеральной совокупности. Это явление, получившее название гомогамии, зафиксировано во многих странах. Приводимый В. П. Алексеевым в качестве единственного проявления гомогамии пример с рыжеволосыми людьми неудачен, так как в этом случае, по-видимому, наблюдается как раз не предпочтение, а отталкивание (гетерогамия). В то же время достоверная положительная корреляция между супругами отмечена по многим признакам¹⁶. В большинстве случаев, правда, связь эта невелика (0,1—0,2); для роста она выше (0,3—0,4), а коэффициенты корреляции по психическим качествам достигают 0,6—0,8 (последнее, вероятно, в какой-то мере вызвано совместной жизнью супругов)¹⁷. Особый интерес представляет гомогамия по признакам, разграничивающим географические расы. В. П. Алексеев считает, что такая форма предпочтения не может создать расовых различий, так как она сама возникает вследствие осознания этих различий. Да, это так, если думать, что расы — это только наследие далекого прошлого, а к расовым признакам относить лишь те, которые возникли в глубокой древности. Но последовательно придерживаясь такого взгляда, мы столкнемся с некоторыми затруднениями. В некоторых странах Латинской Америки существует гомогамия по признакам, дифференцирующим европеоидов и негроидов¹⁸. «Европеоидный» комплекс признаков концентрируется в высших слоях общества, «негроидный» — в низших. Слова «европеоидный» и «негроидный» не случайно заключены здесь в кавычки. Конечно, сама гомогамия в латиноамериканских странах — наследие прошлого. Но ведь население там уже сильно перемешано, а эти расовые комплексы снова и снова как бы выкристаллизовываются из этой смеси в результате гомогамии. Чем дольше продолжается этот процесс, тем в меньшей степени внешние особенности людей могут служить свидетель-

¹⁴ W. Bernhard. Psychische Korrelate der Augen- und Haarfarbe und ihre Bedeutung für die Sozialanthropologie.—«Homo», B. 16, H. 1, 1965.

¹⁵ L. D. Sanghvi. Genetics of caste in India.—«Physical anthropology and its extending horizons». Calcutta, 1973.

¹⁶ R. Knussmann. Das Partnerleitbild des Menschen in vergleichend-biologischer Sicht.—«Studium Generale», Jg. 18, H. 1, 1965; J. N. Spuhler. Assortative mating with respect to physical characteristics.—«Eugenics Quarterly», v. 15, 1968.

¹⁷ J. N. Spuhler. Behavior and mating patterns in human populations.—«The structure of human populations». Oxford, 1972.

¹⁸ F. P. Thieme. The population as a unit of study.—«American Anthropologist», v. 54, № 4, 1952; J. Benoist. Du social au biologique: étude de quelques interactions.—«L'Homme», t. 6, № 1, 1966.

ством их происхождения, что легко проверить, используя признаки, не затрагиваемые гомогамией, например группы крови. По таким признакам все население может оказаться однородным. Что же касается черт внешнего облика, то, придерживаясь традиционного представления о расе, мы должны будем считать эти признаки уже не расовыми, а классовыми¹⁹. Впрочем, гомогамия по признакам, разграничивающим антропологические типы, отмечалась и внутри социально однородной группы²⁰.

Рассмотрим еще один пример. Как известно, в некоторых странах Европы в течение последних 100—150 лет, а возможно и раньше, население становилось в среднем более темнопигментированным, между тем как сколько-нибудь значительной метисации с представителями иных расовых типов не происходило. Одно из наиболее убедительных объяснений этому факту было предложено более 100 лет назад, когда Дж. Бэддо обнаружил, что английские женщины, имеющие темные волосы, значительно чаще выходят замуж, чем их соотечественницы блондинки. Автор справедливо заключил, что если такое положение сохраняется в течение нескольких поколений, то это может служить совершенно достаточной причиной эпохального сдвига интенсивности пигментации²¹. Такого рода половой отбор, так же как и гомогамия, происходит вследствие осознания уже существующих антропологических различий. Поэтому и здесь возникает сходная проблема: нужно ли считать, что изменение пигментации в эпоху палеолита в процессе адаптации к климату представляет собой явление расогенеза (образование северной ветви европеондной расы), а изменение пигментации за последние столетия в результате эстетических склонностей людей не имеет отношения к расогенезу? Мне представляется, что ни давность генетических изменений, ни их причины не должны входить в определение расы. С этой точки зрения, расой можно считать любую группу людей, характеризующуюся специфическим комплексом наследственно обусловленных биологических особенностей. Что же касается факторов, вызывающих генетические различия между этими группами, то все эти факторы в равной мере представляют интерес для антрополога. Все они пока еще очень слабо изучены, и нет оснований придавать чрезмерное значение одним факторам в ущерб другим.

Итак, многообразие причин, которые способствуют нарушению панмиксии, и, как следствие этого, высокая степень генетической структурированности составляют несомненную специфику человеческого вида по сравнению с видами животных. Вот почему В. П. Алексеев совершенно прав, указывая, что применение к человеческим коллективам термина «популяция» (панмиксическая группа) связано со значительными ограничениями. Так, в пределах городов, по-видимому, часто нарушается панмиксия: жители разных кварталов и представители разных социальных слоев обнаруживают существенные различия по соотношению генных частот²². Обитатели одной деревни также могут составлять в отдельных случаях не одну популяцию, а несколько²³. И даже маленькие островки, каждый из которых как бы естественно приспособлен служить местом обитания одной панмиксической группы, иногда вмещают по несколько человеческих популяций, различающихся по своим антропологическим

¹⁹ G. A. Harrison. Human variation and its social causes and consequences.—«Proceedings of the Royal Anthropological Institute for 1970». London, 1971.

²⁰ B. Rosinski. Anthropogenetische Auslese.—«Anthropologischer Anzeiger», Jg. 6, Hf. 1, 1929.

²¹ J. Beddoe. On the supposed increasing prevalence of dark hair in England.—«The Anthropological Review», v. 1, 1863.

²² R. M. Nicoli, A. Penaud, P. F. Battaglini. L'équilibre des populations humaines dans une grande ville moderne: Marseille.—«L'Anthropologie», t. 78, № 2, 1974.

²³ M. K. Szilágyi. Túrlicse népességének fontosabb antropometriai jellemzői (с английским резюме).—«Antropologiai Közlemények», v. 18, № 1—2, 1974.

ческим особенностям²⁴. Все это создает огромные затруднения для исследователей. Каждый антрополог знает, как сильно получаемые им результаты зависят от степени однородности исследуемых групп. Иногда кажется, что все правила комплектования выборки соблюдены — материал однороден и в этническом, и в территориальном, и в возрастном отношении. Между тем анализ фиксирует какие-то странные корреляции, не поддающиеся никакому разумному биологическому объяснению и явно отражающие лишь механическую смешанность группы. Именно такие корреляции, случайные, эфемерные, не имеющие ни малейшего отношения к фундаментальным особенностям человеческой биологии, вводили и, вероятно, продолжают вводить в заблуждение многих авторов, в частности приверженцев теории наследования расовых признаков единым комплексом.

В заключение повторим, что вопрос о социальных факторах биологической дифференциации человеческого вида, к сожалению, все еще не привлекает у нас того внимания, какого он заслуживает. Чем более широко этот вопрос будет дискутироваться в научной среде, тем более ясная картина создастся из отдельных наблюдений и тем меньше останется почвы для расистских предрассудков.

А. Г. Козинцев

²⁴ W. J. Schull, T. Yanase, H. Memoto, Kuroshima: the impact of religion on an island's genetic heritage.— «Human Biology», v. 34, № 4, 1962; J. Benoist. Указ. раб.

НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О СООТНОШЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Я не предполагал сначала выступать с заключительным словом в ходе дискуссии, полагая, что в статье, с которой она началась¹, точка зрения сформулирована достаточно отчетливо, дискутируемая группа вопросов сложна и ожидать по ним единства мнений в настоящее время невозможно. Однако подобная позиция, без всякого умысла с моей стороны, может быть воспринята как нежелание реагировать на критику или считаться с ней. Поэтому я попытаюсь разъяснить мое отношение к некоторым темам, затронутым в откликах на мою статью, и высказать отдельные соображения по общим проблемам, обсуждавшимся в ходе полемики.

Мое положение затрудняется тем, что в статьях моих оппонентов часто сформулированы в достаточно определенной форме взаимоисключающие точки зрения. Для В. И. Козлова причина обсуждения вопросов, поднятых в статье «О роли социальных факторов в биологической дивергенции человеческих популяций», неясна, так как они дискутировались в нашей литературе в 30-е годы. Г. Е. Марков, А. И. Першиц и А. Г. Козинцев отмечают своевременность появления этой статьи и ак-

¹ В. П. Алексеев. О роли социальных факторов в биологической дивергенции человеческих популяций.— «Сов. этнография», 1976, № 4. Отклики на статью В. П. Алексеева помещены в № 4 и 5 журнала «Сов. этнография» за 1976 г., а также в этом номере журнала. Далее ссылки на них будут даваться в тексте (с указанием номера и стр.).

туальность обсуждения проблемы социальных факторов расообразования и биологической дифференциации человечества. С. А. Арутюнов полагает, что эта дифференциация выражается в двуединстве дивергенции и гомогенизации. Очевидно, близкую позицию разделяет и А. И. Першиц. А. А. Зубов противопоставляет ей взгляд, согласно которому интеграция является единой тенденцией современного человечества. Н. Н. Чебоксаров и А. А. Воронов поддерживают точку зрения Ю. Г. Рычкова на человечество как на популяцию (эта точка зрения была высказана в печати задолго до дискуссии)². Склоняется к ней и А. И. Першиц. Но С. А. Арутюнов и Г. Е. Марков достаточно определенно формулируют противоположный взгляд. Г. Е. Марков пишет, что «...даже все человечество в целом нельзя рассматривать как популяцию, так как оно является в первую очередь комплексом социальных организмов, а не биологической совокупностью животных» (№ 4, стр. 138). Подразумевается при этом, что вся биологическая история человека падает на более ранние эпохи, а то, о чем говорится в моей и других статьях, называется «изменением в ходе истории некоторых антропологических признаков различных групп человечества» (№ 4, стр. 138). А. А. Воронов различия в концентрациях отдельных генов называет «...биологической в широком смысле этого термина, но отнюдь не расовой дивергенцией» (№ 5, стр. 71). А. А. Зубов полагает, что каждую расу можно считать популяцией (хотя добавляет, что не каждую популяцию можно назвать расой). Н. Н. Чебоксаров утверждает со ссылкой на В. В. Бунака, что раса и популяция — «...понятия, различные по содержанию и, конечно, не заменяющие одно другое» (№ 4, стр. 140). Все эти и подобные им противоположные формулировки свидетельствуют о сложности предмета дискуссии, наличии различных тенденций в подходе к нему, таком уровне исследования обсуждаемых проблем, при котором общие концепции исследователей предрешают то или иное мнение по частному вопросу, хотя в пользу именно такого мнения подчас трудно привести конкретные аргументы.

В этой ситуации я хотел бы обратить внимание на необходимость внимательного отношения к формулировкам друг друга. Категоричность и даже резкость, с которой изложена позиция некоторых из моих оппонентов, создает обманчивое впечатление, что речь идет об абсолютно ясных вопросах, которые я решил почему-то запутать изложением своих мыслей. Поэтому я постараюсь избегать в дальнейшем таких глаголов, как «путать» при рассмотрении последовательности мыслей своих оппонентов, таких существительных, как «ортогенез» для обозначения их взглядов, наконец, не буду писать о мнимых аналогиях в их взглядах с теми или иными устаревшими концепциями науки XIX и начала XX в.

В статье, начавшей дискуссию, была сделана попытка постановки вопроса о социальных факторах расообразования и биологической дифференциации человеческих популяций, а также формулировки некоторых подходов к его решению. Такая попытка, естественно, не претендует ни на исчерпание темы, ни на сколько-нибудь окончательные выводы. Поэтому прошедшая дискуссия, с моей точки зрения, была полезна; хотя она и не способствовала сближению взглядов, но она позволила ясно сформулировать разногласия, выявила количественно обозримое число подходов к теме, и, кроме того, в ходе дискуссии были высказаны плодотворные и заслуживающие дальнейшей теоретической и конкретной разработки суждения. Четыре темы из всех, затронутых в ходе полемики, имеют принципиальное значение: соотношение популяции и расы (важная характеристика структуры антропологического покрова), роль естественного отбора на разных этапах истории человечества, интегра-

² Ю. Г. Рычков. Антропологическое исследование процесса изоляции на Памире и Кавказе. — «Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук», т. I, М., 1968, с. 282.

рующее влияние социальной среды на биологическую структуру вида *Homo sapiens*, иерархия социальных и биологических факторов расообразования (три последних аспекта представляют собой частное выражение более общей проблемы факторов формообразования в пределах современного вида человека в целом). Должен отметить при этом, что сама полемика вышла далеко за рамки тех и только тех вопросов, которые рассматриваются в моей первой статье.

*
* *
*

Популяция — потенциальная раса, раса — сформировавшаяся популяция. Так, перефразируя известный афоризм Дарвина (разновидность — зачинающийся вид, вид — сформировавшаяся разновидность), ответил я на вопрос о соотношении расы и популяции, заданный А. А. Вороновым при обсуждении моей статьи на заседании Отдела общих проблем Института этнографии АН СССР еще до ее публикации. Сейчас, познакомившись со всеми материалами дискуссии и особенно прочитав текст реплики А. А. Воронова, я менее, чем когда бы то ни было, склонен отказываться от этой формулировки. Она отражает взгляд на популяцию как на определенный этап в динамике биологической дифференциации вида, и именно в этом смысле только и можно выделять эту элементарную ячейку эволюционного процесса. Кстати, в ходе дискуссии не раз фигурировали ссылки на работы И. И. Шмальгаузена, подводящие итог огромному числу исследований, глубоко анализирующие современный этап развития эволюционной теории и отражающие всю полноту наших знаний об эволюционном процессе с позиций дарвинизма. В последних своих фундаментальных монографиях, а также многочисленных статьях, посмертно собранных в сборник, И. И. Шмальгаузен изложил именно такое понимание популяции и ее места в эволюции вида³. На это можно было бы возразить (правда, такое возражение не было сформулировано в ходе дискуссии), что популяции человека — не то, что популяции животных, подобно тому как человеческие расы отличаются существенными признаками от рас животных. Возражение справедливо, и к нему предстоит вернуться; здесь же скажу только, что популяции, как и расы, — единицы биологической структуры человечества, и с известными ограничениями установленное в биологии их понимание может быть перенесено на человека, особенно когда мы имеем в виду выявление места популяций в биологической динамике человеческого вида. Совершенно недвусмысленно подобная трактовка проблемы популяции изложена и в авторитетных современных руководствах⁴.

Н. Н. Чебоксаров, имея в виду наличие разницы между популяцией и расой, пишет: «Непонятно, почему В. П. Алексеев игнорирует это элементарное положение антропологической науки» (№ 4, стр. 140). Если бы это положение было столь элементарно, его не составляло труда кратко, но достаточно выразительно разъяснить и аргументировать. Между тем единственный аргумент — ссылка на комментарии В. В. Бунака к русскому изданию известного учебника по биологии человека⁵. Однако хотя и краткие, но очень содержательные комментарии В. В. Бунака как раз мало могут нам помочь в данном конкретном случае. Н. Н. Чебоксаров дословно цитирует оба определения — расы и популя-

³ И. И. Шмальгаузен. Кибернетические вопросы биологии. Новосибирск, 1968; *его же*. Факторы эволюции. М., 1968; *его же*. Проблемы дарвинизма. Л., 1969.

⁴ Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. Н. Воронцов, А. В. Яблоков. Краткий очерк теории эволюции. М., 1969; Н. В. Тимофеев-Ресовский, А. В. Яблоков, Н. В. Глотов. Очерк учения о популяции. М., 1973; «Физиологическая генетика». Л., 1976.

⁵ Дж. Харрисон, Дж. Уайнер, Дж. Таннер, Н. Барникот. Биология человека. М., 1968.

ции, стремясь подчеркнуть разницу между этими двумя явлениями: «репродуктивное сообщество разнополых и перекрестно оплодотворяющихся особей, обладающих неким общим генетическим фондом» (популяция по Дж. Харрисону, повторяющему Т. Добжанского), «единица родства по происхождению» (раса по В. В. Бунаку). Но разве «обладание неким общим генетическим фондом» и «родство по происхождению» не две стороны, я бы даже сказал больше, не два словесных выражения для обозначения единства происхождения? В обоих случаях говорится о генеалогическом родстве, но разной степени интенсивности. Разная степень генеалогического родства, заложенная в расе и популяции, объясняет итоговую формулировку В. В. Бунака, которую также приводит Н. Н. Чебоксаров и с которой я вполне согласен: «Понятия, различные по содержанию и, конечно, не заменяющие одно другое»⁶. Но разное содержание этих понятий и невозможность их заменить не означают качественного различия между обозначаемыми этими понятиями явлениями, не выражают они и невозможности эволюционного перехода одного явления в другое.

А. А. Воронов разъясняет разницу между популяцией и расой, не ссылаясь на чужие мнения, а разбирая вопрос по существу. Прежде чем перейти к этим разъяснениям, я должен отклонить в принципе лестное для меня сравнение моей позиции с позицией такого замечательного исследователя, каким является А. А. Малиновский⁷: в отличие от него я приписываю, вопреки мнению А. А. Воронова, весьма скромную роль генетико-автоматическим процессам в расообразовании. В моей статье прямо сказано: «И. И. Шмальгаузен вполне справедливо придавал ограниченное значение этому явлению в эволюции... утверждение И. И. Шмальгаузена об ограниченном эффекте генетико-автоматических процессов, по-видимому, сохраняет свою силу и по отношению к человеческому обществу» (№ 4, стр. 128).

Граница между человеческой популяцией и расой проводится А. А. Вороновым в плоскости участия в их образовании естественного отбора: популяционная изменчивость как бы интегрируется естественным отбором, вызывающим какие-то адаптивные процессы в пределах более или менее ограниченной территории. Изоляция этой территории от окружающих, вызванная географическими барьерами или социальными причинами — все равно, создает предпосылку для действия естественного отбора, ограниченного именно данным местом. Длительность действия отбора во времени пропорционально усиливает адаптивные процессы, все более интегрирует популяционную изменчивость и приводит к образованию рас. После того как образовались расы (очевидно, большие расы и крупнейшие их подразделения), постоянно убыстряющееся социальное развитие человечества приводило к утере морфофизиологическими комплексами их адаптивного значения и образованию ненаправленной популяционной изменчивости. Однако поскольку механизм этой утери не рассмотрен, постольку не очень понятно, как же расы и популяции соотносятся эволюционно? Не так, как это постулируется эволюционной теорией, и в этом проявляется специфика человека? Популяции постоянно составляли человечество, а расы были лишь эпизодом в его истории? Такие вопросы остаются без ответа. Очень спорной мне кажется и прямолинейная формулировка А. А. Воронова о том, что «...морфофизиологическая дивергенция человеческих популяций, находящихся в разных экологических условиях, смогла достигнуть только расового уровня, не поднявшись до подвидовой дифференциации» (№ 5, стр. 71). О раз-

⁶ Там же, с. 419.

⁷ А. А. Малиновский. Биологические и социальные факторы в происхождении расовых различий у человека. — «Природа», 1947, № 10.

личиях между человеческими расами и подвидами животных, как уже упоминалось, много и содержательно писали: они проявляются и в структуре и характере ареалов, и в разной степени адаптивности расовых и подвидовых признаков, и в неограниченном смешении рас у человека, и во многом другом⁸. Но лишь в особо детальных и малораспространенных схемах внутривидовой структуры (если исключить жордановский подход, то наиболее известные из них принадлежат А. П. Семенову-Тянь-Шанскому⁹ и Л. С. Бергу¹⁰) раса и подвид противопоставляются друг другу как особые таксоны внутривидового уровня, различающиеся интенсивностью морфофизиологической специализации: если подвид действительно иногда (но не всегда) рассматривается как определенный таксон, как структурная единица биологической систематики, то расу чаще всего характеризуют описательно, не давая ей точной таксономической дефиниции. Биологи поступают так из-за слабой изученности внутривидовой изменчивости, и, мне кажется, у нас, антропологов, нет достаточно убедительных данных, нет поэтому и права опережать их в каких-то таксономических рекомендациях. И большинство антропологов, реально говоря, избегают в действительности давать расам слишком жесткие таксономические определения в конкретной работе. Поэтому-то, подчеркну еще раз, говоря о различиях между расами человека и подвидами животных, следует иметь в виду, что уровень морфофизиологической специализации здесь ни при чем: даже выведенные специально в условиях жесткого искусственного отбора породы домашних животных никто не называет подвидами, а морфологические различия между породами (особенно у голубей и собак), как давно признано, значительно больше подвидовых.

При рассмотрении в дальнейшем роли естественного отбора на разных этапах динамики вида *Homo sapiens* будет сделана попытка показать, что по существу отбор не есть только расообразующий фактор, он выступал и как фактор образования популяций, особенно, если они занимали отдельную и своеобразную экологическую нишу. Если это было в действительности так, то отбор как маркер расообразования теряет свое значение, играет очень многоликую роль в формообразовании и, следовательно, не годится в качестве критерия, участие которого позволило бы выделять нам популяции и расы. О практических трудностях такого выделения в этом случае нечего и говорить. В принципе близкий взгляд выразил А. Г. Козинцев. Но принять такой критерий затруднительно и с теоретической стороны. Популяция, повторяю, — структурная единица биологической характеристики человеческого вида, как и раса. Можно ли положить в основу понимания разницы между ними факторы, действующие на их формообразование? Естественнее, по-моему, видеть эту разницу в одном из компонентов самой структуры, каким является степень родства составляющих популяцию и расу индивидуумов. Для популяции такая количественная оценка степени родства, выражаемая с помощью коэффициента инбридинга (не очень, правда, совершенная), уже разработана¹¹. Для расовых общностей ее разработать, конечно, необычайно трудно, но само понятие родства по отношению к расовым

⁸ А. И. Ярхо. Против идеалистических течений в расоведении СССР. — «Антропологический журнал», 1932, № 1; В. В. Бунак, М. Ф. Нестух, Я. Я. Рогинский. Антропология. Краткий курс. М., 1941; Я. Я. Рогинский, М. Г. Левин. Основы антропологии. М., 1955; *и др.* же. Антропология. М., 1963.

⁹ А. П. Семенов-Тянь-Шанский. Таксономические единицы вида и его подразделений. — «Записки АН, серия 8, физ.-мат. отделение», т. XXV, № 1, 1910.

¹⁰ Л. С. Берг. О виде и его подразделениях. — «Биологический журнал», т. 1, кн. 3, 1910.

¹¹ S. Wright. Evolution in Mendelian populations. — «Genetics», v. XVI, 1931. Современное состояние теории коротко изложено в кн.: «Динамическая теория биологических популяций». М., 1974.

комплексам нами интуитивно уже давно осознается — говорим же мы и пишем о гомогенных или относительно гомогенных типах и комплексах, хотя оценка их гомогенности производится, разумеется, пока «на глазок». Именно исходя из такого подхода, я и позволил себе констатировать ряд переходов от популяционной изменчивости к расовому уровню изменчивости внутри вида *Homo sapiens*, проиллюстрировав эти переходы выборочными примерами. И даже если примеры оказались малоубедительными, а об этом свидетельствует непринятие их в качестве достаточных аргументов моими оппонентами, такой подход, как мне кажется, теоретически оправдан и сохраняет права гражданства по существу.

Именно из-за неощутимых в ряде случаев переходов между популяциями, группами популяций и расами я встаю, как это ни кажется парадоксальным на первый взгляд, против слишком расширительной трактовки понятия популяции и перенесения его на все человечество. Если трактовать популяцию только как «репродуктивное сообщество», то любой вид, разумеется, будет представлять тогда огромную популяцию, максимальную по величине среди других иерархически соподчиненных популяций. Но географические, а у человека еще и социальные границы и препятствия к свободному перекрестному скрещиванию остаются, и синхронно, на протяжении жизни одного поколения, возможность такого скрещивания практически не реализуется. Потенциальная возможность в этом случае более, чем в любом другом, далека от практической осуществимости, и, чтобы преодолеть этот разрыв, необходимо время. Никто, разумеется, не в состоянии пока определить необходимый для этого временной интервал, но популяционно-генетические расчеты показывают, что достижение даже не очень высокого уровня гомогенизации по ограниченному числу генов (а какой-то уровень гомогенизации есть свойство любой популяции) требует периодов времени несопоставимо больших, чем вся история человечества¹².

Указание Н. Н. Чебоксарова на то, что панмиксия осуществляется вопреки «изоляции расстоянием» наложением брачных кругов друг на друга и достигается постепенно, не меняет сути дела, так как такое утверждение, во-первых, скрыто вводит координату времени (о которой только что говорилось), и, во-вторых, постулирует брачную непрерывность как единственную форму заключения браков внутри человечества на протяжении всей его истории. От брачной непрерывности логичен переход к антропологической непрерывности, которую сам Н. Н. Чебоксаров защищал по отношению к Восточной и Юго-Восточной Азии¹³. Подобная гипотеза допустима и даже оправдана по отношению к определенным территориям, но экстраполяция ее на весь земной шар сталкивает нас с трудностями фактического порядка: ведь последовательное распространение такой гипотезы на всю эйкумену приводит к крайнему варианту популяционной концепции расы, согласно которому расы вообще не существуют и представляют собою научную фикцию, созданную изобретательными умами антропологов предшествующих поколений. Кстати говоря, может быть, уместно было бы в этой связи вспомнить гипотезу модусов расообразования¹⁴. Что касается того, что эти мои представления «...оказываются несоместимыми с концепциями вида и

¹² Основные работы, содержащие примеры расчетов, на которые я уже ссылался в первой статье: Дж. Холдэйн. Факторы эволюции. М.—Л., 1935; В. П. Эфроимсон. Введение в медицинскую генетику. М., 1968; L. Cavalli-Sforza, W. Bodmer. The genetics of human populations. San Francisco, 1971.

¹³ Н. Н. Чебоксаров. Основные этапы формирования антропологического состава населения Восточной Азии.— «Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук», т. 9. М., 1970; N. Cheboxarov. The ethnic anthropology of Eastern Asia.— «XI Pacific science congress». Moscow, 1966.

¹⁴ В. П. Алексеев. Модусы расообразования и географическое распространение генов расовых признаков.— «Сов. этнография», 1967, № 1.

популяции, общепринятыми в современной биологической науке» (№ 4, стр. 143), то приведенные Н. Н. Чебоксаровым в качестве доказательств три цитаты звучат не очень убедительно. О соотношении популяций и вида (постулируемом Дж. Харрисоном) только что уже говорилось. Когда В. Иоханнсен писал о пространственно-временных соотношениях в популяциях, он подразумевал, хотя и не мог сформулировать этого точно, именно разрывы внутри ареалов, вызванные нарушением свободного скрещивания. Не мог потому, что работы Дж. Холдэйна об «изоляции расстоянием» появились на 40 лет позже, в начале 40-х годов¹⁵. А работы самого В. Иоханнсена отстоят от современной биологической науки (хотя и вошли в ее золотой фонд) еще дальше — они опубликованы в начале века¹⁶. Что же касается формулировки С. С. Четверикова¹⁷, то она вводит в определение популяции фактор отбора, как инструмента образования популяции, тот самый фактор, который лишь с большими ограничениями принимается А. А. Вороновым.

Осталось сказать об отличиях популяций человека от популяций животных, обусловленных его социальностью. Вопрос этот требует специального исследования, но в первом приближении эти отличия рисуются следующим образом. Генетические барьеры, разделяющие человеческие популяции, часто образуются социальными факторами, которые перечислены в моей первой статье и которые в разных исторических условиях действовали с различной интенсивностью. Стабильное действие всех этих факторов в масштабе исторического времени относительно кратко-временно, поэтому человеческие популяции по сравнению с популяциями животных нестабильны, подвижны, границы их часто размываются, возникают и исчезают они с большой быстротой. Освоение новых экологических ниш, постоянно имевшее место в ходе человеческой истории и расширившее эйкумену, также не могло не усиливать зыбкость популяционной структуры человечества. Нестабильность человеческих популяций представляет собою их основное свойство, вытекающее из социальной природы человека. Кажется, с этим согласны и все остальные участники дискуссии. В качестве предположения можно высказать мысль, что при подвижности человеческих популяций их внутренняя структура отличается большой сложностью. Внутри популяции действует, наряду с социальными факторами, сложная система психологических предпочтений, как-то, пока неизвестным нам образом, направляющая систему заключения браков. Однако в чем конкретно выражаются эти психологические стереотипы, в какой мере они биологически обусловлены, а в какой определяются в каждой данной общественной группе системой господствующих социальных ценностей — пока остается только гадать.

*
* *

Все или почти все участники дискуссии выражали мысль, что действие отбора ослаблено или даже снято по отношению к современному человеку. К сожалению, в такой лапидарной формулировке мысль эта неточна. Она приобретает необходимую точность только после того, как будет сказано о действии отбора как видообразующего фактора. Иными

¹⁵ S. Wright. Isolation by distance.—«Genetics», v. XXVIII, 1943; *его же*. Isolation by distance under diverse systems of mating.—«Genetics», v. XXX, 1946. Результаты включены также в обобщающую работу: S. Wright. Evolution and the genetics of populations, v. 2. The theory of gene frequencies. Chicago—London, 1969.

¹⁶ W. Johannsen. Über Erbllichkeit in Populationen und reinen Linien. Jena, 1903.

¹⁷ С. С. Четвериков. О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики.—«Журнал экспериментальной биологии», сер. А, т. 2, 1926.

словами, действие отбора как видообразующего фактора действительно снято (я думаю, что именно снято, а не резко ослаблено) по отношению к человеку современного вида. Неоднократно указывалось на исключительно мощный прогресс техники, начиная с верхнего палеолита до современности, и падающую на это время стабильность морфологического типа *Homo sapiens*¹⁸. Эмпирическую основу для вывода о снятии действия отбора как видообразующего фактора после появления современного человека составляют расчеты скорости изменения основных крапниологических признаков, образующих отличительные особенности *Homo sapiens* на протяжении эволюции семейства гоминид¹⁹. Скорость эта оказывается затухающей. Но означает ли это, что отбор перестал действовать сам по себе, вызывая в ряде случаев ненаправленное определенным образом формообразование (под которым я подразумеваю и сдвиги в вариациях отдельных признаков, и их сочетания, и популяционные колебания в концентрации генов)? Выявление приспособительного значения фенотипов системы АВО, резус и гемоглобина S²⁰, географическое распределение отдельных морфологических признаков в соответствии с географическими правилами, установленными для животных (правила Аллена, Бергмана и Глогера, дополняющее их и установленное специально для человека правило Томсона — Бакстона²¹), красноречивые примеры профессионального отбора, которые привел А. Г. Козинцев и число которых может быть значительно увеличено, возникновение морфологических приспособительных комплексов в экстремальных экологических нишах (арктической, высокогорной, тропического леса)²² — все это заставляет ответить на поставленный вопрос отрицательно. Отбор, очевидно, продолжал действовать на протяжении истории общества, весьма вероятно, он действует и сейчас на биологические особенности популяций в экстремальных условиях.

Многие участники дискуссии (Г. Е. Марков, Н. И. Чебоксаров, А. А. Зубов, частично А. А. Воронов) видят принципиальную разницу между формированием больших рас и дальнейшей биологической дифференциацией человечества, сложением групп антропологических типов и узколокальных комплексов. Когда складывались большие расы, в эпохи верхнего палеолита и мезолита, якобы действовал отбор, и под его непосредственным воздействием сформировались основные расовые комплексы, позже его действие прекратилось и дальнейшая расовая дифференциация осуществлялась без его участия, за счет изоляции или каких-то других факторов (специально не уточненных). Такой взгляд высказывался неоднократно на страницах антропологической и философской

¹⁸ Я. Я. Рогинский. Некоторые проблемы позднейшего этапа эволюции человека в современной антропологии. — *Тр. Ин-та этнографии АН СССР*, т. I, М. — Л., 1947; *его же*. Выступление на совещании по проблеме происхождения *Homo sapiens*. — *Кр. сообщения Ин-та этнографии АН СССР*, вып. IX, 1950; *его же*. Методологические основы антропологии. — *«Биологические науки»*, 1966, № 3.

¹⁹ Я. Я. Рогинский. Об этапах и темпах эволюции гоминид. — *«Сов. этнография»*, 1957, № 6; В. П. Алексеев. О скорости эволюции в пределах семейства гоминид. — *«Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук»*, т. 3, М., 1968.

²⁰ Об этом см.: В. П. Эфроимсон. Иммуногенетика. М., 1971.

²¹ Сводка данных: *«Die neue Rassenkunde (herausgegeben von I. Schwidetzky)»*. Stuttgart, 1962.

²² Т. И. Алексеева. Биологические аспекты изучения адаптации у человека. — *«Антропология 70-х годов»*. М., 1972; *ее же*. Особенности адаптивных реакций в условиях высокогорья. — *«Вопросы антропологии»*, вып. 47, 1974; *ее же*. Биологическая адаптация населения Арктики к экстремальным условиям Крайнего Севера (антропологический аспект). — *«Географические аспекты экологии человека»*. М., 1975; *ее же*. Проблема биологической адаптации человека. — *«Природа»*, 1975, № 6; И. Н. Крупник. Антропологические признаки и особенности климатической адаптации (по материалам Высокой Африки). — *«Расы и народы»*, т. 3, М., 1973.

литературы и раньше²³, но не могу не отметить, несмотря на традиционность этого взгляда, его умозрительность. Неоднократно делавшиеся попытки истолковать различия между большими расами только в рамках адаптивной изменчивости, в рамках приспособления к географической среде, попытки, наиболее яркие из которых в последние десятилетия связаны с деятельностью К. Куна²⁴ и М. Валле²⁵, несмотря на отдельные частные результаты, окончились неудачей. Исследования последних лет, посвященные пигментообразующей функции у человека, показали высокую степень обусловленности пигментообразования активностью эндокринной системы и трудность увязки вариаций пигментации только с непосредственным приспособлением к световому режиму и к интенсивности ультрафиолетового облучения²⁶. Представления о развитии слизистой губ как одним из терморегуляторных механизмов и о воздухоносной прослойке вокруг головы, образуемой курчавыми волосами²⁷, остаются неподтвержденными экспериментально. Результаты превосходной экспериментальной работы В. П. Волкова-Дубровина и Я. Я. Рогинского о приспособительном значении гипсистоцефалии (высокой удлиненной и узкой головы) у негров в тропическом поясе обеспечены в интересующем нас аспекте наличием точно такой же формы головы у эскимосов, на что обратили внимание сами авторы²⁸. Указание на связь уплощенности лица и носа у монголоидов с приспособлением к континентальным условиям также носит пока умозрительный характер²⁹. Одним словом, трудно только адаптивный процесс считать ответственным за формирование больших рас. В чем же тогда конкретное доказательство большой роли отбора на ранних этапах первоначальной расовой дифференциации и значительного ослабления этой роли потом? Очевидно, речь должна идти об общих соображениях. Но за рамками этих общих соображений остаются те конкретные наблюдения над результатами действия отбора по отношению к человеку современного вида, о которых уже говорилось.

Г. Е. Марков в качестве одного из аргументов указывает на стабильность основных расовых комплексов в тех случаях, когда их носители отрываются от основного ареала и попадают в новые условия, по отношению к которым должна проявляться приспособительная изменчивость. После всего только что сказанного об ограниченном значении адаптивной изменчивости в сложении больших рас этот аргумент теряет свое значение. Но, мне кажется, дополнительно обращает на себя внимание и фактор времени. Пребывание в новой среде обычно исчисляется сотнями лет, но и в этих случаях проявляет себя локальная изменчивость, сдвиги в концентрациях отдельных генов, обнаруживаются какие-то микроотличия в сравнении с антропологическими особенностями исходного контингента. При отрыве от исходного ареала, исчисляемом тыся-

²³ См., например: М. Г. Левин. Проблема происхождения *Homo sapiens* в советской антропологии.— «Кр. сообщения Ин-та этнографии АН СССР», вып. IX, 1950; В. А. Алексеев. Некоторые проблемы теории антропогенеза.— «Вопросы философии», 1959, № 11.

²⁴ C. Coon. The origin of races. London, 1963.

²⁵ M. Valle. Biological basis of race, culture, and history. Human life zones. Lima, 1960; *его же*. Two concepts of race. Lima, 1964.

²⁶ W. Klaus, K. Klaus. Melanin pigmentation: an in vivo model for studies of melanosome kinetics within keratinocytes.— «Science», v. 174, 3 december, 1971.

²⁷ Н. Н. Чебоксаров. Основные принципы антропологических классификаций.— «Тр. Ин-та этнографии АН СССР», т. XVI, М., 1951.

²⁸ В. П. Волков-Дубровин, Я. Я. Рогинский. Гипсистоцефалия как приспособительный признак в тропической зоне.— «Вопросы антропологии», 1960, вып. 1.

²⁹ Сформулированное впервые еще И. Кантом, оно аргументировано на современном уровне знаний: С. А. Семенов. О сложении защитного аппарата глаз монгольского расового типа.— «Сов. этнография», 1951, № 4.

четлетиями (например, заселение Америки из Азии предками азиатских монголоидов и последующая изоляция на протяжении минимум 30 000 лет), в силу ли адаптивных процессов, идущих под влиянием селекции, в силу ли действия изоляции и других формообразующих факторов, а я думаю, вследствие и того и другого образуются локальные комбинации признаков, которые можно называть малыми расами, антропологическими типами, группами антропологических типов, все равно, но которые фигурируют (и это главное) всегда как самостоятельные единицы расовой систематики. В пределах тех же американоидов, составляющих, по мнению А. А. Зубова, единую расу, подавляющее число авторов детальных расовых классификаций (и среди них авторы, стоящие на таких во многом противоположных теоретических позициях, как Э. Айкштедт³⁰ и Г. Ф. Дебец³¹) выделяют около десятка морфологических и генетически специфических, имеющих самостоятельные ареалы комплексов.

Итак, отбор снят как видообразующий фактор по отношению к человеку современного вида, но сохранил свое значение как фактор направленного формообразования. Поэтому можно думать, что морфофизиологические комплексы — результаты более поздней, чем первичная, биологической дифференциации человечества — образовались, хотя бы частично (в той мере, в какой ответственна за их происхождение адаптивная изменчивость), при участии и под влиянием отбора. Поэтому же можно утверждать, что факторы внутривидового формообразования (в том числе и расообразования) были качественно теми же на ранних и на поздних этапах истории человечества, и разница в их действии носит количественный характер, выражаясь в разной интенсивности действия каждого из формообразующих факторов и их соотношении. Поэтому же и сам термин «раса» мне кажется одинаково пригодным и для обозначения, скажем, кавкасионского типа, образовавшегося в неолите, а то и в верхнем палеолите, и по отношению к морфологически и генетически своеобразным комплексам среди современного населения латиноамериканских стран, хотя и имеющим заведомо смешанное происхождение; дело не в древности образования комбинаций признаков, а в их морфологической специфичности и занимаемом ими ареале. Сказанное не отрицает, разумеется, иерархии рас и необходимости разработки отражающей эту иерархию терминологии (большие расы и малые расы в советской антропологической литературе, географические и локальные расы в американской — начальные и весьма несовершенные примеры такой терминологии), о чем мне уже пришлось писать в другом месте³².

Как взвесить, в каком случае роль отбора будет больше — при видообразовании, когда отбор по И. И. Шмальгаузену выступает в движущей (образование вида) и в стабилизирующей (поддержание уже образовавшегося вида в стабильном состоянии) формах, или при снятии отбора как видообразующего фактора у человека (впрочем, он сохраняет какое-то значение в стабилизирующей форме как инструмент поддержания относительной неизменности вида) и действии его только как фактора направленного формообразования? Я затрудняюсь это сделать при отсутствии каких-то количественных критериев. Такие количественные подходы разработаны в популяционной генетике при оценке действия отбора на один признак и на совокупность двух или трех признаков³³. Но интенсивность действия отбора на сложный морфофизиологический ком-

³⁰ E. Eickstedt. Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit. Stuttgart, 1934.

³¹ Г. Ф. Дебец. Опыт графического изображения генеалогической классификации человеческих рас. — «Сов. этнография», 1958, № 4.

³² В. П. Алексеев. О первичной дифференциации человечества на расы. Вторичные очаги расообразования. — «Сов. этнография», 1969, № 6.

³³ Сводка данных и теоретических разработок: L. Cook. Coefficients of natural selection. London, 1971.

плекс пока нельзя оценивать количественно (такую количественную оценку можно представить себе лишь на основе качественной оценки энтропии и информации в эволюции, что не разработано до сих пор и в теоретической кибернетике), и поэтому субъективными пока остаются рассуждения о том, когда отбор играл большую роль — тогда, когда формировался сам вид *Homo sapiens*, т. е. на сравнительно ранних этапах истории человечества, или тогда, когда формировалось внутривидовое разнообразие, т. е. на сравнительно поздних этапах его исторического развития.

Более принципиальное значение, чем спор на эту тему без количественных критериев подхода к ней, имеет осознание формы, в которой отбор выступает по отношению к человеку современного вида. Вид этот уже на ранних этапах своего бытия занял практически почти всю сушу и овладел огромным богатством экологических ниш. Постоянно усложнявшаяся социальная среда влияла на биологию человека в том же направлении, в каком влияло на нее приспособление ко всему многообразию географических условий, которое представлено на нашей планете, — в направлении усиления морфофизиологического разнообразия. На фоне стабильного видового комплекса виду *Homo sapiens* было выгодно располагать разнообразием фенотипов, так как это способствовало его расселению и в то же время в свою очередь закреплялось в процессе расселения. Отбор в этом случае выступает в форме, которую можно назвать рассеивающей, и мне кажется, что такая форма действия отбора является специфической в эволюции человека, отличая эту эволюцию от эволюции других таксонов и в то же время составляя преобладающий канал воздействия селективных процессов на биологию человека современного вида.

*
* *
*

После обсуждения роли отбора в формировании биологической структуры вида *Homo sapiens* уместен переход к оценке степени интегрирующего влияния социальной среды на эту структуру. В этом пункте моя точка зрения, аргументированная в первой статье, вызвала максимальное число возражений, наиболее четко сформулированных А. И. Першицем. Я благодарен А. И. Першицу за то, что он обратил внимание на те аспекты, которые мною не были учтены с достаточной полнотой: роль войн в метисационных и ассимиляционных процессах, переход к покоренной экзогамии в классовом обществе, роль внебрачных половых связей в обществах, относящихся к различным общественным формациям, значение складывания крупных и многочисленных народов современной эпохи в конвергенции популяций. Но в связи с его замечаниями возникают и некоторые дополнительные соображения, как мне кажется, необходимые для понимания диалектики соотношения социальных процессов и биологической дифференциации человечества.

А. И. Першиц совершенно справедливо акцентирует необходимость оценивать значение социальных факторов расообразования и, более широко, формообразования в пределах вида *Homo sapiens* во временной динамике. Это важнейшее соображение, и его всесторонний учет необходим для создания полной картины взаимодействия социальных процессов и расообразования. В моей первой статье этот момент не учтен или учтен очень слабо не потому, что я его недооценивал, а потому, что видел свою задачу в первоначальной инвентаризации социальных факторов, ответственных за биологическую дифференциацию. А. И. Першиц, в какой-то мере восполнив этот пробел, действительно показал, что отдельные перечисленные мною факторы в определенные эпохи исторического развития играли не центростремительную, а центробежную роль,

это ослабляет выводы моей статьи, но мне легко примириться с этим, так как я вижу в ней лишь первый контур всестороннего подхода к вопросу.

Теперь некоторые дополнительные соображения, о которых я только что упомянул. А. И. Першиц предполагает, что «изоляция расстоянием» постепенно теряла свое значение по мере роста плотности населения, а в последние 100—150 лет и в связи с ростом технической оснащенности человечества, колонизацией, урбанизацией и т. д. Но плотность населения связана с «изоляцией расстоянием» сложной зависимостью, выражаемой кривой непрямолинейной корреляции. Иными словами, роль «изоляции расстоянием» сначала действительно падает вслед за увеличением плотности населения, но затем, когда плотность достигает какой-то критической точки и переходит за нее, вновь начинает повышаться. Это и понятно — скученность населения предоставляет каждому индивидууму большой диапазон в выборе брачных партнеров и автоматически стягивает, а не расширяет круг брачных связей. Что касается урбанизации, развития транспортных средств и других технических атрибутов современного человечества, того, что достигло апогея в современной научно-технической революции, то она — качественно новое состояние цивилизации, возникшее буквально на наших глазах, и оценивать ее последствия в интересующей нас сфере затруднительно. Еще раз подчеркну только, что ничего похожего на средства связи в XIX и особенно в XX в. человечество не знало на протяжении всей своей истории.

Не могу не согласиться с А. И. Першицем в том, что в классовом обществе эндогамия имеет ограниченное распространение (хотя усматриваю некоторое преувеличение в утверждении о том, что лишь очень немногие народы эндогамны). Но замкнутые брачные круги образуются и при отсутствии эндогамии — напомним данные В. К. Жомовой, согласно которым в Европейской России в конце XIX — начале XX в. браки на 80% заключались в пределах своих и ближайших селений³⁴. Эти данные пока уникальны для территории СССР, но аналогичные данные получены для населения Центральной Европы. Пространственная приуроченность являлась, по-видимому, мощным фактором изоляции и без социального института эндогамии! При решении вопроса о социальной стратификации теперь, мне кажется, нельзя не принимать во внимание во многом оригинальные соображения, развитые А. Г. Козинцевым. Что касается падения сословных перегородок при капитализме, то это справедливо лишь по отношению ко времени, так сказать, буржуазного «романтизма», к эпохе буржуазных революций: с наступлением эры буржуазной реакции сословные барьеры вновь возродились с еще большей силой, что, кстати говоря, отражено во всей мировой литературе последних полутора столетий. При социализме эти барьеры полностью пали, но пока это лишь последние 60 лет человеческой истории! На протяжении этих 60 лет значительная часть человечества перешла в качественно новое социальное состояние, последствия которого во всей их полноте, в том числе и влияние его на биологическую структуру *Homo sapiens*, пока трудно учесть. Во всяком случае, они не обсуждались в моей первой статье. На это я хотел бы обратить внимание и В. И. Козлова, который, выступая против идеи ускорения биологической дифференциации и расообразования под влиянием социальных факторов, оперировал в основном данными по СССР и высокоразвитым капиталистическим странам. Перечисленные А. И. Першицем институты узаконенных половых связей вне «законных браков», на мой взгляд, существенны, но так ли уж велико было число детей, рожденных от таких связей? Не знаю соответствующ-

³⁴ В. К. Жомова. Материалы по изучению круга брачных связей в русском населении. — «Вопросы антропологии», вып. 21, 1965.

шей статистики, не уверен даже, что она есть, но думаю, число это было невелико. Относительно психологических стереотипов могу только в ответ отослать к соображениям о гомогамии, высказанным А. Г. Козинцевым.

А. А. Зубов справедливо пишет о том, что скорость социальных изменений — тоже социальный фактор, а его влияние на биологическую дифференциацию и расообразование нивелирующее, что и мною неоднократно отмечалось. Однако скорость социальных изменений не абсолютна — иначе мы не заставляли бы в любую из классовых формаций в истории человечества общества, стоявшие на стадии первобытнообщинного строя. Особенного масштаба неравномерность общественного развития достигла с образованием социалистической системы. Сам по себе факт сохранения до начала XX в. первобытнообщинных коллективов со следами имущественного расслоения свидетельствует о каких-то географических и исторических ситуациях, способствующих застойности социального развития. Далее А. А. Зубов противопоставляет всему сказанному мною фактор «динамики общественного развития». Должен признаться, что довольно смутно понимаю, что это такое. Динамика общественного развития, на мой взгляд, — очень широкое понятие, она включает в себя, скажем, расширение экономического рынка или изменение художественных и литературных стилей в какой-то стране или группе стран на протяжении определенного отрезка времени. Неужели и они имеют отношение к биологической дифференциации человека? Я не думаю так, по-видимому, и А. А. Зубов не думает подобным образом. Но тогда в чем смысл привлечения понятия, охватывающего столь широкий круг явлений, к предмету нашего спора? Относительно всего сказанного А. А. Зубовым о соотношении популяционной изменчивости и расовой, о соотношении расы и популяции, не вижу необходимости повторять то, что написано выше по поводу соображений А. А. Воронова, касающихся той же темы.

Здесь мне хочется напомнить, что при обсуждении интегративного или дифференцирующего влияния социальных факторов столь же большую роль должен был играть количественный подход, какую он играет в оценке интенсивности действия отбора. До тех пор, пока его нет, все попытки оценить, как влияет тот или иной фактор — вызывая гомогенизацию или, наоборот, приводя к гетерогенности, будут носить по необходимости субъективный характер.

*
* *
*

Проблема иерархии и социальных и биологических факторов биологической дифференциации и расообразования, затронутая в репликах В. И. Козлова и А. А. Воронова, представляется мне чрезвычайно важной. В статье «О роли социальных факторов...» автор потому не уделил ей должного внимания, что перед ним стояла гораздо более скромная задача — попытаться выявить эти факторы и наметить пути их действия, не претендуя на то, чтобы увидеть в их действии систему и проследить системный характер их взаимовлияний. Задача эта чрезвычайно благодарная, но и трудная, и автор не мог претендовать на ее постановку, ограничившись на первом этапе только выделением ее структурных элементов. Теперь, после проведенной дискуссии, рассмотрение этой проблемы кажется мне уместным, но оно выходит за рамки дискуссии, очерченные в моей первой статье, и поэтому я ограничусь лишь некоторыми критическими замечаниями по поводу соображений В. И. Козлова и А. А. Воронова.

В. И. Козлов пишет: «Выделение В. П. Алексеевым социальных факторов проведено, мягко говоря, несовершенно, так как при этом не были учтены связи между ними» (№ 4, стр. 135). По его мнению, ведущей является «социальная система заключения браков». Определение «социальная» здесь, строго говоря, тавтология: система заключения браков всегда социальна, сам брак — социальный институт, хотя в нем и присутствует биологическая сторона. Действительно ли система заключения браков является ведущей среди перечисленных мною социальных факторов по существу? Представим себе, что в пределах человечества не существует ни этнических, ни языковых, ни хозяйственных и социально-культурных различий, система заключения браков едина. Будет в этой гипотетической ситуации проявляться какая-то биологическая дифференциация? В принципе это элементарная математическая задача, которая и была разрешена Дж. Холдэйном: его «изоляция расстоянием» и есть тот случай, когда при равномерном расселении образуются густоты сходных генов только за счет размеров ареала, на порядок или несколько порядков больших, чем скорость размножения. Как показали совсем новые популяционно-генетические расчеты В. В. Бабкова³⁵, густоты образуются и при отходе от модели соседства брачующихся пар, и переходе к модели шахматного выбора брачных партнеров, через одного по вертикали и горизонтали. Дж. Холдэйн не рассматривал вопроса о том, формируется ли иерархия этих густот при очень длительном функционировании модели, поэтому вопрос этот в математическом смысле остается открытым. Но я склонен думать, что система расовой иерархии со всей ее сложностью не объясняется только случайными процессами пространственного перераспределения аллелей, следовательно, действовали иные силы, следовательно, и перечисленные мною социальные факторы вносили свой положительный вклад в формирование расовой структуры человечества. Кстати говоря, неравномерность общественного развития и сам В. И. Козлов не решился свести к системе заключения браков. Демографическому фактору, о котором он пишет как о самостоятельном, посвящая отдельный раздел моей первой статьи, и рассматривать его подробнее у меня не было возможности.

На упрек А. А. Воронова об отсутствии в моей гипотезе идеи иерархии биологических факторов расообразования скажу, что они вообще не рассматриваются и упоминаются лишь по ходу дела, когда это необходимо. Я должен отклонить приписываемое мне постулирование самостоятельной роли изоляции как фактора формообразования. И у самого Дарвина, и в современном дарвинизме, на который А. А. Воронов неоднократно ссылался, именно так она и оценивается — как мощный в определенных условиях формообразующий фактор. И Дарвин и его последователи проявляли исключительный интерес к изучению островных фаун, а дарвиновы выюрки, которым посвящена классическая книга Д. Лэка³⁶, являются великолепным примером достаточно глубокого расхождения форм в условиях изоляции без видимых доказательств значительного участия отбора на ранних этапах их эволюции. Что касается сравнения моей позиции со взглядами М. Вагнера³⁷ и Дж. Гулика³⁸, то позволю себе отметить, что автор сравнения знаком со взглядами того и другого не в оригинальном, а в хрестоматийном изложении: в концепции обоих

³⁵ В. В. Бабков. Модель генетической эволюции популяций с пространственной изоляцией (в машинном эксперименте). — «Проблемы кибернетики», вып. 25, М., 1972.

³⁶ Д. Лэк. Дарвиновы выюрки. М., 1949.

³⁷ М. Wagner. Die Entstehung der Arten durch räumliche Sonderung. Basel, 1889.

³⁸ J. Gulick. Evolution, racial, and habitudinal. — «Carnegie Institute Publications», № 25, Washington, 1905.

изоляции приписана решающая роль в формообразовании, а отбор вообще не занимает какого-либо места. Это обстоятельство подчеркнуто и в современной литературе по теории эволюции³⁹.

*
* *

Мне осталось ответить на отдельные частные замечания. Постараюсь это сделать по возможности кратко.

В. И. Козлов считает «частной погрешностью» мою «частную же» попытку видеть в образовании эндогамии в Дагестане экономическую заинтересованность. Его аргумент — мужчины при патрилокальном браке остаются в семье, а женщин можно обменивать на невест из других селений. Но такой обмен возможен лишь при мирных взаимоотношениях между селениями, тогда как в Дагестане между ними существовали часто напряженные взаимоотношения, и они довольно глубоко уходят в прошлое, что демонстрируется и историческими свидетельствами, и археологическими данными.

Г. Е. Марков не согласен с тем, что (цитата из моей статьи) «...этнос при определенных условиях представляет собою потенциальную популяцию». Он полагает, что «...такой взгляд приводит к биологизации природы человеческого общества и к неправомерному сопоставлению процессов расообразования в популяциях животных и человека» (№ 4, стр. 138). Взгляд этот не мой — это взгляд Ю. В. Бромлея, мною принятый и приведенный со ссылкой на его статью и его же книгу⁴⁰. Огромное число поколений, необходимое для гомогенизации сколько-нибудь многочисленной группы даже по нескольким генам, о чем выше упоминалось, не противоречит такой формулировке, так как в нее введена оговорка — речь идет о потенциальной популяции. Тому, что подобный подход не есть, по-моему, биологизация общества, посвящены практически все предшествующие страницы.

Н. Н. Чебоксаров совершенно справедливо пишет: «...каждая раса... по самому своему происхождению является ареальной биологической категорией» (№ 4, стр. 140). Дальше вскользь отмечено, что я не упоминаю об этом. Ограниченный рамками журнальной статьи, я не упомянул о многом, что имело непосредственное отношение к теме, тем более, что ареальность расовых категорий сравнительно недавно рассмотрена специально⁴¹. Н. Н. Чебоксаров называет «некорректным» мое использование его работ по антропологии Восточной Азии. Он полагает, что они продемонстрировали расовую гетерогенность китайцев, я же вижу в северных китайцах во всяком случае какое-то специфическое единство, отделяющее их от других народов, опираясь по большей части на его материалы, но привлекая данные и других исследователей. Возможно, мне стоило специально сказать, что это моя интерпретация данных Н. Н. Чебоксарова (когда я ссылался на его работы, я и имел в виду опубликованные в них данные), но по контексту статьи, мне кажется, достаточно ясно, что именно о ней идет речь.

А. А. Зубов утверждает, что за время, прошедшее после заселения Американского континента человеком (т. е., очевидно, за последние 30 000 лет) и даже за меньший хронологический интервал, отдельные американские млекопитающие образовали подвиды и даже самостоятельные виды. В качестве примера фигурирует канадский бобр со ссыл-

³⁹ См., например: Э. Майр. Зоологический вид и эволюция. М., 1968.

⁴⁰ Ю. В. Бромлей. Этнос и эндогамия. — «Сов. этнография», 1969, № 6; его же. Этнос и этнография. М., 1973.

⁴¹ В. П. Алексеев. География человеческих рас. М., 1974.

кой на книгу Э. Майра⁴². Мне неясно значение этого примера. Автор книги, на которую сделана ссылка,— орнитолог по своей профессиональной специализации, а сама книга посвящена общим вопросам теории биологической эволюции, а не истории четвертичной фауны в Северной Америке. Но дело даже не в этом. Канадский бобр (*Castor canadensis* Kuhe), действительно, признается подавляющим большинством исследователей за самостоятельный вид по сравнению с европейским речным (*Castor fiber* Linneus). Близкие к этим видам ископаемые формы найдены в плиоценовых и плейстоценовых слоях Европы и Северной Азии, в плейстоценовых слоях — в Северной Америке⁴³. С. И. Огнев отметил краниологическую примитивность канадского бобра, по сравнению с европейским, и на этом основании высказал предположение, что настоящие бобры возникли в Новом Свете или на северо-востоке Евразии⁴⁴. Но даже если не настаивать на этом предположении, все равно ясно, что отсутствие находок никак не может истолковываться в качестве доказательства одновременного с человеком появления бобра на Американском континенте — бобр появился там на несколько десятков тысяч, а то и сотен тысяч лет ранее, для чего были палеогеографические предпосылки.

А. А. Воронов высказал в конце своей реплики мысль, что употребление мною таких, с его точки зрения, «широких терминов», как «дифференциация», «биологическая дивергенция», «отбор», затрудняет понимание моей статьи и что в них отражаются «...логические и терминологические неточности автора, иногда доходящие до противоречащих друг другу положений и подмены конкретных биологических понятий...» (№ 5, стр. 74). Но такие используемые им термины, как «иммунная емкость и пластичность», «древний популяционный слой», «сбалансированный полиморфизм», «селективное преимущество гетерозиготного варианта», «старый проверенный в гомозиготных вариантах аллель» и т. д., такие выражения, как «межпопуляционная генетическая изменчивость, не интегрированная формообразующим действием движущей формы естественного отбора» вряд ли четче и не способствуют разъяснению смысла его выступления.

В. П. Алексеев

⁴² Э. Майр. Популяции, виды и эволюция. М., 1974.

⁴³ «L'origine des mammifères et les aspects fondamentaux de leur évolution», t. I—II.— «Traité de paléontologie», t. VI, Paris, 1953; А. В. Шер. Млекопитающие и стратиграфия плейстоцена крайнего северо-востока СССР и Северной Америки. М., 1971.

⁴⁴ С. И. Огнев. Звери СССР и прилегающих стран (звери Восточной Европы и Северной Азии), т. V. Грызуны. М.—Л., 1947.

К ИТОГАМ ДИСКУССИИ ПО СТАТЬЕ В. П. АЛЕКСЕЕВА «О РОЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИВЕРГЕНЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ»

Проблема соотношения социального и биологического в человеческой природе и роли социальных факторов в эволюции человека является важным моментом в развитии многих отраслей науки. Естественно поэтому, что дискуссия, прошедшая на страницах журнала «Советская этнография» (1976, № 4, 5; 1977, № 4) по вопросу о роли социальных факторов на поздних этапах формирования различий в физическом типе человека привлекла внимание многих специалистов разных профилей и была проанализирована в историческом, биологическом и философском аспектах.

Ведущая роль социальных факторов в эволюции человека не подлежит сомнению. Ясно, что на протяжении всей истории человечества они играли существенную роль в формировании физического типа человека. Однако направление действия этих факторов требует детального, углубленного исследования. В. П. Алексеев в своей статье, посвященной этому вопросу (1976, № 4), полагает, что «...фильтр социальных факторов, через которые пропускаются биологические процессы расообразования, всегда способствовал биологической дифференциации человечества, ускоряя, а не замедляя его» (стр. 119). Это положение, являющееся центральным моментом статьи В. П. Алексеева, вызвало критику со стороны практически всех участников дискуссии (см. 1976, № 4, 5). Почти все специалисты не нашли возможным согласиться с мнением В. П. Алексеева, что социальные факторы всегда являлись (и даже теперь иногда являются) «катализаторами» расообразования. Никто не сомневается при этом, что социальные факторы действительно в какие-то конкретные отрезки времени создавали «барьеры», способные повести к некоторому обособлению физического типа отдельных групп человечества. Однако большинство участников дискуссии указало на необходимость рассматривать влияние социальных факторов в динамике и учитывать быструю смену создаваемых «барьеров» вследствие действия опять-таки социальных факторов — смены общественных формаций в исторической перспективе. В критике подчеркивалась диалектика действия факторов, «двуединство» процессов дивергенции и гомогенизации, наличие отчетливо выраженной тенденции к интеграции человечества.

Однако не следует думать, что интеграция способствует появлению в будущем общества, в котором все люди будут «на одно лицо». Диалектика развития предполагает закономерное сочетание интеграции с богатством и многообразием форм. Главное здесь то, что в современном человечестве, особенно на поздних этапах его развития, практически исключается возникновение обособленных групп, по рангу соответствующих расе, причем именно благодаря социальным факторам, связанным с динамикой развития общества. Критики справедливо отметили, что эта сторона, связанная с интегрирующим действием главных социальных факторов, — направлением, характером и динамикой развития общества, исторической перспективой и конкретными историческими условиями, — не принята во внимание В. П. Алексеевым в его статье.

Примерно то же, кстати, можно сказать и о статье А. Г. Козинцева, помещенной в настоящем номере журнала. В ней единичные и не всегда проверенные факты заслоняют общую картину развития физического типа человека на больших отрезках времени. Акцентируя внимание на анализе дифференцирующих факторов, автор принимает кратковременные явления за устойчивые тенденции, ведущие якобы к образованию «стратиграфических рас»; при этом он забывает о ведущей роли интегрирующих социальных факторов.

Употребляя термин «расообразование», В. П. Алексеев имеет в виду образование биологических различий между какими-либо группами человечества. Это вызвало дискуссию и критику, особенно в связи с использованием им понятий «раса» и «популяция». Нужно сказать, что применительно к человеческому обществу эти понятия отражают различные, хотя и сопряженные тенденции развития человека современного вида.

В статье В. П. Алексеева за частными, ограниченными во времени процессами, проходящими на самом зачаточном уровне дифференциации и тут же снимающимися динамикой общества, не усматривается главная линия, обусловленная диалектикой развития — линия интеграции. Эта линия на высшем, социальном уровне развития материя проявляется чрезвычайно ярко. Естественно, что только многосторонний, диалектический подход к рассматриваемому явлению, как справедливо указали участники дискуссии, позволяет по-настоящему оценить основную, обусловленную едиными законами, роль социальных факторов в формировании физического типа современного человечества. В то же время участники дискуссии высказали много интересных, но противоречащих друг другу взглядов по частным вопросам, что свидетельствует о сложности проблемы.

В целом дискуссия была плодотворной и важной и, несомненно, оживила интерес специалистов к затронутой проблеме.

Редакция

SOCIAL ENVIRONMENT AND THE BIOLOGICAL DIFFERENTIATION OF MANKIND

Specific features of human race formation are discussed. Examples are adduced to show that social environment creates new conditions for the action of the main factors of biological evolution common to the whole animal kingdom. This environment also introduces new evolution factors absent in animal communities. As a result, a highly complex genetical structure is peculiar to the human species.

A. G. Kozintsev

CERTAIN ADDITIONAL CONSIDERATIONS AS TO THE RELATIONSHIP BETWEEN THE HISTORICAL PROCESS AND THE BIOLOGICAL DIFFERENTIATION OF MANKIND

The author discusses the remarks made by his opponents («Sovetskaya Etnografia» 1976, № 4, 5; 1977, № 4) and dwells particularly upon four problems which he regards as the most important in the recent discussion. These are: the role of natural selection in the early stages of race formation within the modern species; the evaluation of the degree of integration of racial units; the problem of differentiation population and race; the hierarchy of race formation factors. The author adduces some additional arguments in support of his viewpoint expressed in the paper that opened the discussion («Sovetskaya Etnografia», 1976, № 4).

V. P. Alexeyev

A CLOSING COMMENTARY TO THE DISCUSSION OVER V. P. ALEXEYEV'S PAPER «ON THE ROLE OF SOCIAL FACTORS IN THE BIOLOGICAL DIVERGENCE OF HUMAN POPULATIONS»

The problem of the interrelation between the social and the biological in human nature, of the role played by social factors in the evolution of man forms an important issue in many scientific fields. Hence, the discussion on the role of social factors in the later stages of the formation of differences in the human physical type («Sovetskaya Etnografia», 1976, № 4, 5; 1977, № 4) has naturally aroused the interest of many scholars working in different fields and has been examined in its historical, biological and philosophical aspects.

The leading role of social factors in human evolution admits of no doubt. It is clear that their influence over the formation of the human physical type has been of major importance throughout history. However, the way in which these factors act demands detailed profound investigation. In his paper dealing with this problem (1976, № 4) V. P. Alexeyev expresses the opinion that «...the filter of social factors through which biological race formation processes percolate has always furthered man's biological differentiation, not retarding but accelerating it» (p. 119). This proposition, which is central to V. P. Alexeyev's paper, has been criticized by practically every participant in the discussion. Nearly all specialists have found it impossible to agree with V. P. Alexeyev's opinion that social factors have always acted (and continue to act even at the present time) as «catalysts» of race formation. No one, it is true, questions the fact that social factors did indeed at certain concrete periods in history create «barriers» capable of causing a certain segregation of particular physical-type groups. However, most of those who took part in the discussion have pointed out that in examining the influence of social factors consideration should always be given to their dynamism, to the rapid change (itself due to social factors, to the sequence of social formations in a historical perspective) of such arising barriers. Criticisms stressed the dialectical way in which so-

cial factors acted upon type formation, the dual character of the processes of divergence and homogenization, the distinct tendency towards the integration of mankind. However, it should not be assumed that integration signifies the development in future of a society in which everybody would be «of the same». The dialectics of evolution presupposes a naturally arising synthesis of integration and multiplicity and diversity of types. Most important is the fact that in modern humanity, especially in its later stages of development, the rise of segregated groups at a race level is practically ruled out, and it is those very social factors arising in the course of social evolution that are responsible for this. Critics have justly pointed out that this aspect of the problem, i. e. the integrating influence of the principal social factors, the main direction, character and trends in the evolution of society, the historical perspective, and concrete historical conditions, has not been taken into account in V. P. Alexeyev's paper.

Something of the same kind may be said of the paper by A. G. Kosintsev published in this issue. Here, isolated facts (some of them insufficiently verified) push into the background the over-all long-term trend in the evolution of man's physical types. Emphasis on differentiating factors induces the author to take transitory phenomena for constantly acting tendencies and to overlook the leading role of integrating social factors.

By the term «race formation» V. P. Alexeyev understands the emergence of biological differences between certain human groups. This has provoked discussion and criticism, especially with regard to his use of the terms «race» and «population». It should be pointed out that when applied to human society these two concepts correspond to different (though interrelated) tendencies in the evolution of the modern human species. In V. P. Alexeyev's paper the main trend emerging from the dialectics of evolution, that of integration, remains imperceptible in the shade of individual short-term processes that take place at an embryonic level of differentiation and are at once eliminated in the course of social evolution. At the highest level of the evolution of matter, the social level, this trend is manifested in a very striking manner. Naturally, as has been justly pointed out by the participants in the discussion, only an all-round dialectical approach permits a just appreciation of the basic role of social factors in forming the physical types of modern mankind.

At the same time, the participants in the discussion have put forth many interesting views on individual problems; their mutual contradictions testify to the complexity of the problem.

On the whole, the discussion has been an important and fruitful one; it has certainly served to revive interest in the problems among specialists.

The Editorial Board

Г. Д. Джавадов

ОРУДИЯ БОРОНОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ (XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА)

В последнее время советские этнографы уделяют большое внимание изучению земледельческих орудий и вопросам народной агротехники вообще. И это не случайно. Интерес к исследованию орудий труда объясняется тем, что они являются одним из важнейших источников при изучении этногенеза того или иного народа.

Несмотря на то что орудия труда являются материальной основой производительных сил и одним из основных критериев для характеристики социально-экономических формаций, исследование земледельческой техники, в том числе пахотных орудий азербайджанского крестьянства, остается до сих пор одной из малоизученных проблем этнографии Азербайджана.

В связи с составлением «Историко-этнографического атласа Азербайджана» на протяжении ряда лет мы вели этнографическое изучение народной земледельческой техники азербайджанцев XIX — начала XX в.

Пахотные и другие народные земледельческие орудия в настоящее время используются редко, а многие из них и вообще исчезли. В музеях Азербайджана сельскохозяйственные орудия представлены неполно, особенно борона. Поэтому при изучении народных земледельческих орудий возникают большие трудности. Основным источником для данной работы послужили полевые материалы, которые собирались нами на протяжении десяти лет (1964—1974 гг.) в различных этнографических зонах Азербайджана.

Исследование земледельческой техники показало, что наибольшим разнообразием отличаются пахотные орудия и бороны.

Естественно-географические условия Азербайджана благоприятствовали развитию земледелия на его территории с древнейших времен. Здесь выращивали пшеницу, ячмень, просо, рис, кукурузу, табак, бобовые и бахчевые земледельческие культуры. Разнообразие естественно-географических условий и разведение различных сельскохозяйственных культур способствовали развитию различных типов земледельческих орудий.

В полеводческом хозяйстве пахота считалась основой земледельческих работ. Получение высокого урожая во многом зависело от хорошей вспашки, после которой для разбивки комьев земли и прикрытия семян, а также для лущения и выравнивания почвы применялась борона. Как показывают литературные и этнографические материалы, в земледельческом хозяйстве дореволюционного Азербайджана для этой цели использовалось несколько типов бороны, отличающихся по назначению и конструкции. Одни из них были распространены во многих этнографических зонах, другие встречались только в одной, что объясняется как локальной спецификой, так и хозяйственными традициями.

Полевые этнографические материалы дают возможность проследить эволюцию отдельных типов бороны и определить ареалы их распространения. Все типы и разновидности этих орудий в Азербайджане были известны под общим термином *мала*¹. Но в бывших Курдистанском и Нахичеванском уездах этот термин не употребляли. Здесь эти орудия называли *тапан* и *дырмых*. Термин *тапан* встречался также у азербайджанцев, проживавших в Грузии и Армении.

Следует отметить, что орудия боронования обозначались термином *мала* (*мола*) и у некоторых других народов Кавказа, а также у ряда народов Средней Азии, Ирана, Афганистана, Турции².

В дореволюционной литературе мы не встречаем описания многих видов бороны, а некоторые авторы даже отмечают, что в Азербайджане бороны *будто бы не применялись*, и вместо нее использовалась *хворостянка*³. Следует отметить, что *хворостянка* и бороны употреблялись для различных целей. *Хворостянка* не только разрыхляла комья земли и прикрывала семена, но и уплотняла поверхность почвы; последняя операция очень важна для обработки почв в большей части Закавказья — от нее в значительной степени зависело сохранение влаги в почве. Не случайно русские переселенцы и немецкие колонисты в Азербайджане, знакомые по своему прежнему месту жительства с бороной, предпочли ей *хворостянку*. Только в некоторых местах, где была возможность орошать пашню сразу после посева, *хворостянку* не применяли, так как здесь не ощущалось недостатка во влаге, а комья, отваливаемые пахотным орудием — *хышем*, были не так велики, чтобы появилась необходимость их разбивать.

Полевые этнографические материалы свидетельствуют о том, что в некоторых горных местностях и на песчаных почвах Апшерона бороны вообще не употребляли. Исследователь экономического быта государственных крестьян Бакинского уезда П. Н. Ягодный писал, что бороны здесь не применялись, так как песчаная почва не нуждалась в бороновании, а глинистая, будучи разрыхлена бороной, легко заплывала⁴.

В горных местностях в связи с неглубоким залеганием почвенного покрова не проводили глубокой вспашки. Здесь роль бороны выполнял *хыш*. Горные земледельцы считали, что если бороны и выровняет поле, то в зимнее время оно потрескается и обнаженные семена окажутся обмороженными⁵. В связи с этим в горных местностях Куба-Хачмасской зоны и Талыша засейное поле вообще не бороновалось, а вторично вспахивалось *хышем*. Такая практика известна в земледельческой культуре и других народов Кавказа. И. Герко, специально изучавший в

¹ Слово «мала» (азерб.) синоним русского «мастерок».

² С. Ш. Гаджиева. Кумыки. М., 1961, с. 67; «Народы Кавказа» (серия «Народы мира. Этнографические очерки») т. I, II. М., 1960, 1962; Л. А. Фишгейн. Земледельческие орудия таджиков и узбеков. — «Традиционная культура народов Передней и Средней Азии», Л., 1970, с. 164; Н. А. Кисляков. Некоторые материалы по сельскохозяйственной терминологии у таджиков. — «Сов. этнография», 1969, № 3, с. 120; А. Оразов. О земледельческих традициях в долинах Сумбара и Чендыра в конце XIX — начале XX в. — «Очерки по истории хозяйства и культуры туркмен». Ашхабад, 1973, с. 19; И. П. Петрушевский. Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII—XIV веков. М.—Л., 1960, с. 150, 151; Н. И. Вавилов, Д. Д. Букин. Земледельческий Афганистан. — «Избр. труды акад. Н. И. Вавилова», т. I. М.—Л., 1959, с. 179; П. М. Жуковский. Земледельческая Турция. М.—Л., 1933, с. 144; С. А. Семенов. Происхождение земледелия. Л., 1974, с. 242.

³ «Отчет о сельскохозяйственном путешествии по Закавказскому краю проф. А. Петцольда в 1863 году». — «Записки Кавказского общества сельского хозяйства» (КОСХ), год десятый, № 1, Тифлис, 1864, с. 5.

⁴ П. Н. Ягодный. Экономический быт государственных крестьян в Бакинском уезде. — «Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян Закавказского края» (далее «Материалы...»), т. I. Тифлис, 1893, с. 510.

⁵ Г. Д. Джавадов. Земледельческие орудия Азербайджана в XIX — начале XX в. (Этнографическое исследование по материалам северо-восточных районов). Автореф. канд. дис. Баку, 1967, с. 13.

60-х годах XIX в. состояние земледелия у черкесов и абадзехов, сообщает: «Горец не употреблял бороны не потому, что не имел ее, а потому, что не нуждался в ней»⁶.

В исследуемый период в Азербайджане были распространены в основном следующие типы бороны: *шахмала* (хворостянка), *тохума мала* (плетенка из ветвей), *агац мала* (борона в виде плоской доски), *дишлы агац мала* (деревянная зубчатая борона), *хишмала* (деревянная треугольная борона), *черчивели мала* (четыреугольная борона) и *демир мала* (железная борона), которые различались своими конструктивными особенностями. Названные типы бороны были в основном характерны для обработки почвы под зерновые культуры. Кроме того, своеобразные бороны употреблялись при обработке рисовых полей Ленкорань-Астаринской зоны.

На основе письменных и полевых этнографических материалов можно



Рис. 1. Шахмала

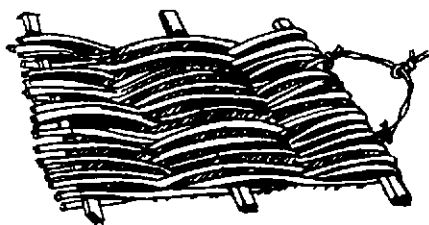


Рис. 2. Тохума мала

утверждать, что наиболее простым орудием боронования была шахмала⁷, распространенная во многих зонах Азербайджана. В связи с тем, что этот вид орудия чаще всего употреблялся при посеве проса, *шахмалу* (рис. 1)⁸ называли еще *дары маласы* (борона для проса)⁹. Шахмалу использовали для заделки семян.

Материалом для изготовления шахмалы служили ветвистые кустарники — боярышник, дикая алча и др. Ветви при этом не подвергались особой обработке. При помощи веревок или виноградной лозы их связывали в пук и припрягали к паре волов.

Шахмала была характерна для чального (*чала*) и подсечного (*тала*) земледелия в Азербайджане. При подсечном земледелии, как известно, после выжига и вырубki леса оставались пни и корни. Поэтому здесь можно было использовать только шахмалу, с помощью которой заделывали семена, даже не применяя тягловой силы.

Этнографические материалы и литературные данные свидетельствуют о том, что в дореволюционный период пахотные земли бассейнов рек Куры и Аракса тоже не обрабатывались плугом. В чалах почва обычно мягкая, рыхлая и при ее обработке ограничивались поэтому одной шахмалой. Сеяли по непаханой земле, а затем заделывали семена. На Мугани, как свидетельствуют источники, в некоторых случаях обходятся и вовсе без обработки. На ахмазах и старых руслах Аракса, когда после спада воды слой свежего наноса образует ряд мелких трещин, посев производился без предварительной вспашки; семена прямо бросали

⁶ Цит. по: В. К. Гарданов. Общественный строй адыгских народов. М., 1967, с. 74.

⁷ В Галышской зоне Азербайджана она именуется *ховзе мала*.

⁸ Иллюстрации выполнены художницей Ф. И. Джавадовой.

⁹ Г. Д. Джавадов. Указ. раб., с. 16.

в трещины и лишь для их покрытия участок обрабатывали шахмалой¹⁰.

Для того чтобы шахмала лучше разбивала комья земли, на нее клали груз. Впрягалась в нее обычно пара волов или буйволов, которыми управлял один человек.

В предгорных местностях, Нахичеванской и Карабахской зонах шахмалу употребляли в сочетании с деревянной бороной, которая называлась здесь *тапан*. При такой комбинации нужны были две или три пары волов. Аналогичные сведения встречаются в источниках. «Нередко одна часть волокуши (так называли в русских источниках шахмалу.— Г. Д.), которая состоит из ветвей, совершенно отсутствует. Тогда волокуша, не переставая носить своего названия „тапан“, представляет одну только доску, поставленную ребром»¹¹. Борона такой простой формы бытовала в Азербайджане до 40-х годов нашего столетия.

В полеводческих хозяйствах Азербайджана в XIX и начале XX в. были распространены и очень легкие плетеные бороны — *хормэ мала* или *тохума мала* (рис. 2). По сообщениям старожилов, этот тип бороны использовали чаще всего при обработке почвы на восточных склонах гор (*гюней*). Поэтому ее называли еще и *гюней маласы*¹². Применение такой бороны на восточных склонах объясняется тем, что здесь почва была более сухой и не образовывала корки. Гюней маласы плели из виноградных лоз или веток граба. Длина ее была 2—2,5 м, ширина 1—1,5 м. Описание этого типа бороны (по материалам Карабахской зоны) есть у А. Петцольда, который отмечал, что плетеные бороны обычно употреблялись наряду с тапаном. По сообщению автора, гюней маласы описал французский путешественник Гиллес¹³. А. Петцольд приводит рисунок такого типа бороны в своей книге¹⁴. При изготовлении плетеной бороны из граба материал предварительно разогревали. Ветви размягчались, после чего их скручивали и сплетали.

Полевые материалы позволяют предполагать, что эти бороны были различны по форме плетения. Такие орудия боронования зафиксированы нами во время этнографических поездок в Куба-Хачмасскую, Шеки-Закатальскую и Ленкорань-Астаринскую зоны Азербайджана. Плетеные бороны Куба-Хачмасской и Шеки-Закатальской зон идентичны по форме; они применялись в основном на рисовых плантациях.

Источники говорят о том, что тохума мала употреблялась и в комбинации с деревянной бороной — тапаном¹⁵. В таких случаях в бруске тапана проделывали два отверстия для присоединения тохума малы. Азербайджанцы бывшего Борчалинского уезда в такую борону впрягали 4—5 волов, управлялась она несколькими людьми¹⁶. Комбинированный вариант подобного орудия применялся для обработки почв под зерновые культуры.

Плетеная борона рисоводов Талышской зоны (рис. 3) отличалась от той, что бытовала в Куба-Хачмасской и Шеки-Закатальской зонах. Длина ее доски 2,5 м, ширина 20—22 см, толщина 5—6 см. По всей длине доска на ширину 10 см обвита виноградной лозой. Продетая через боковые отверстия в доске бороны лоза привязывалась к ярму. Эту бо-

¹⁰ С. А. Мелик-Саркисян. Муганская степь (Естественно-исторический и сельскохозяйственный очерк). СПб., 1897, с. 56.

¹¹ «Свод материалов по изучению экономического быта государственных крестьян Закавказского края», т. IV. Тбилиси, 1888, с. 268.

¹² Г. Д. Джавадов. Традиционные орудия боронования Азербайджана. — «Итоги полевых археологических и этнографических исследований за 1972 год в АзССР (тезисы)», Баку, 1973, с. 45.

¹³ А. Petzoldt. Der Kaukasus. Eine natur-historische sowie land- und volkswirtschaftliche Studie. Leipzig, 1867, S. 135, 136.

¹⁴ Там же, рис. 11.

¹⁵ А. Petzoldt. Указ. раб., с. 136.

¹⁶ Сообщение Кямыля Ахмедова, (73 лет), жителя с. Ашагы Орузман Дманисского р-на ГССР (записано в 1973 году).

рону рисоводы использовали после последней вспашки для выравнивания поверхности, перетиранья и рыхления почвы¹⁷.

Тохума мала — более усовершенствованное орудие боронования по сравнению с шахмалой. Изготовлением ее занимались специальные мастера. Как показали наши полевые наблюдения, этот тип бороны применялся на рисовых полях до последних лет. По сообщениям земледельцев, тохума мала считалась также одним из наиболее удобных и подходящих орудий для заделывания семян лука.

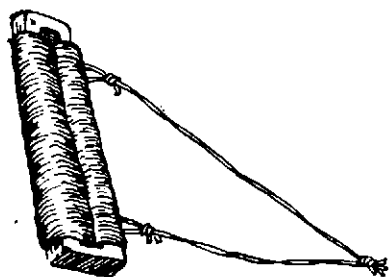


Рис. 3. Хормэ мала для риса

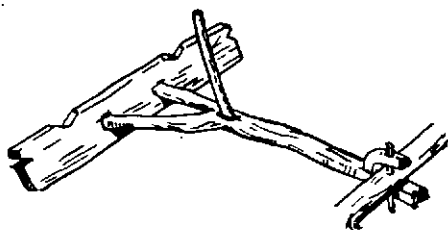


Рис. 4. Агач мала

В крестьянском хозяйстве Азербайджана XIX и начала XX в. при глубокой вспашке использовалась деревянная борона — *агач мала* (рис. 4). Она представляла собой тяжелый брус прямоугольной формы с двумя отверстиями в середине, к которым прикреплялось дышло бороны. Длина бруса около 2 м, ширина 20—25 см, толщина 5—8 см, длина дышла 2,5—3 м¹⁸. Обычно к дышлу прикреплялась стойка (дэстэк) высотой 1 м.

В Нахичеванской АССР, в Кубатлинском, Зангеланском и Казахском районах бытовала разновидность деревянной бороны, которую называли *тапаном*¹⁹. Тапан (рис. 5) — это плоский обрубок бревна с прикрепленными к нему с двух сторон дышлами (*тапан голу*), крепящимися к ярму. Тапан по конструкции очень сходен с агач мала. Разница лишь в том, что тапан имеет два дышла. В названных зонах тапаном после первой поливки выравнивали пашню и измельчали комья земли. Эта борона имела двойное назначение. При обработке почвы хышем тапаном заволакивали семена. На тех же почвах, которые вспахивались тяжелым отвальным плугом, он служил как для выравнивания и поверхностного уплотнения пашни, так и для предохранения почвы от потери влаги и для уничтожения сорных трав²⁰. В тапан впрягали от одной до трех пар волов, в зависимости от характера почвы.

Другой вариант агач малы отличался тем, что на рабочей ее части (*тахта*) вырезались зубья (рис. 6). По своей конструкции он близок зубчатой бороны, и его можно считать следующей формой развития агач малы, т. е. переходной ступенью от деревянной гладкой к зубчатой бороны.

Во многих равнинных и предгорных зонах Азербайджана была распространена *дишли агач мала* (рис. 7), бороны, представляющая собой

¹⁷ Ш. А. Гулиев. Некоторые вопросы чалтыководства (рисоводства) в Азербайджане (XIX — начало XX в.). — «Азербайджанский этнографический сборник», в. II, Баку, 1965, с. 138.

¹⁸ Г. Джавадов. Земледельческие орудия Азербайджана в XIX — начале XX в.
¹⁹ А. Петпольд пишет: «В стороне Ахалцихи эту бороны называют „тапан“, в других местностях как называют, этого, к сожалению, я не узнал. И для меня осталось секретом происхождение и какому народу или же языку принадлежит данный термин». (А. Petzoldt. Указ. раб., с. 136).

²⁰ А. Д. Ерицов. Экономический быт государственных крестьян Казахского уезда Елисаветпольской губернии. — «Материалы...», т. II, ч. II, Тифлис, 1893, с. 157.

брус с насаженными на него деревянными зубьями. Обычно к брусу прикреплялся прямой длинный грядиль (длиной 2,5—3 м). Зубья располагались на бруске на расстоянии 10—15 см друг от друга. Вертикальная стойка — рукоятка, вставленная в грядиль, — служила опорой для земледельца, встававшего на борону во время работы. Эта борона известна также под названием *дырмых мала* (граблеобразная), так как внешне она напоминала грабли.

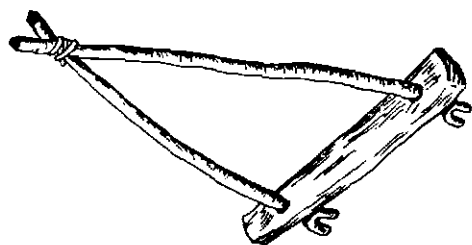


Рис. 5. Тапан

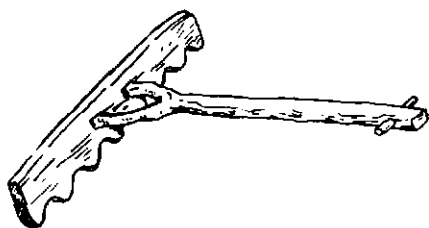


Рис. 6. Агач мала с зубьями на рабочей части

Борона дырмых мала служила для рыхления и выравнивания поля, вспаханного деревянным тяжелым плугом (*гара кётан*). Поле бороновали перед посевом, а также после него для заделки семян в почву. Ее использовали также для разреживания посева. В такую борону впрягали пару волов или буйволов. Во время работы крестьянин становился на доску. Левой рукой он держался за стойку, а правой управлял рабочим скотом.

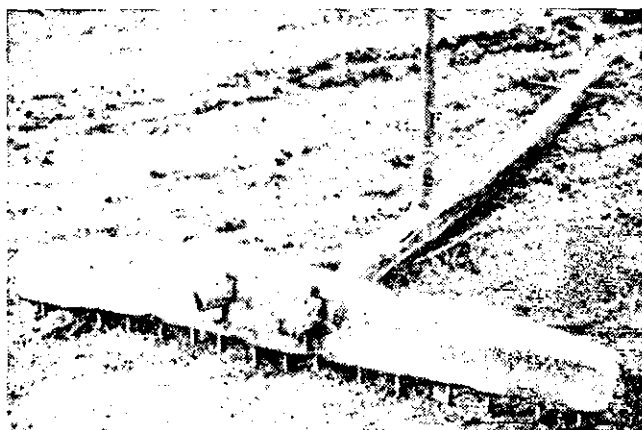


Рис. 7. Дешли агач мала

По сообщению А. Г. Деконского, деревянная зубчатая борона под названием тапан была распространена и в Шаруро-Даралагезском уезде²¹. Ее конструкция в основных чертах не отличалась от описанной нами зубчатой бороны.

Граблеобразные зубчатые бороны и в настоящее время изредка используются в предгорных районах республики. Несколько лет назад такая борона была зарегистрирована в предгорном селе Рустов Кубинского района.

²¹ А. Г. Деконский. Экономический быт государственных крестьян Шаруро-Даралагезского уезда Эриванской губернии. — «Материалы...», т. I, в. V. Тифлис, 1885, с. 683.

Аналогичные зубчатые граблеобразные бороны можно встретить у многих народов Кавказа, а также Передней Азии, в Афганистане и странах Средиземноморья. Такое широкое распространение граблеобразных борон привело буржуазного исследователя П. Лезера к ошибочному выводу о римском происхождении кавказских полевых орудий для лущения и боронования²². Подобного мнения придерживался А. Петцольд. Но еще в 60-х годах XIX в. оно было опровергнуто Н. Ситовским²³.

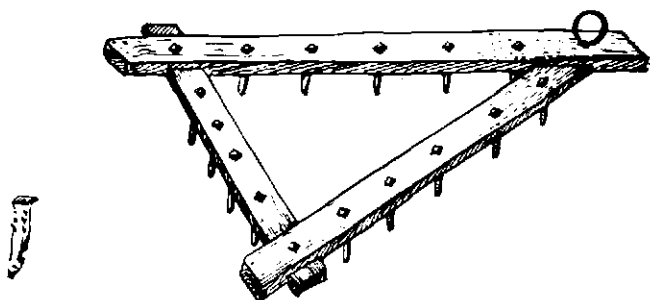


Рис. 8. Хишмала

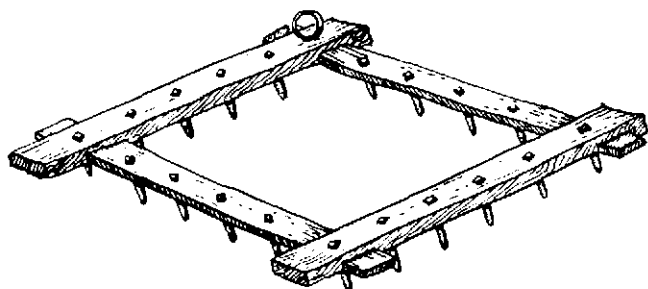


Рис. 9. Черчивели мала

В конце XIX — начале XX в. в сельском хозяйстве Азербайджана получили распространение треугольные и четырехугольные решетчатые бороны, видимо, заимствованные у русских переселенцев. Местное население изготовляло их из деревянных брусьев, слегка видоизменив форму. Эти бороны имели несколько разновидностей. Так, в Шемахинском районе были распространены своеобразные треугольные и четырехугольные деревянные зубчатые бороны, которые представляли собой простые рамы, усаженные зубьями. Треугольная именовалась *хишмала* (рис. 8), а четырехугольная — *черчивели мала* (рис. 9)²⁴. Длина боковых сторон *хишмалы* 1,08 м, основания — 1,52 м.

Хишмала применялась главным образом для обработки богарных почв (*дегий*). Вспашка производилась один раз хышем, а затем поле бороновалось. *Черчивели мала* использовалась в основном для заделки семян. Как *хишмала*, так и *черчивели мала* соединялись с ярмом при помощи кольца, прикрепленного к одному из углов.

²² Г. В. Джалабадзе. К истории земледельческих орудий Восточной Грузии. Автореф. канд. дис. Тбилиси, 1955, с. 11.

²³ Н. Ситовский. По поводу отчета сельскохозяйственного путешествия по Закавказскому краю г. Петцольда. — «Записки КОСХ», год десятый, № 2, Тифлис, 1864, с. 62—71.

²⁴ Зафиксирована в 1970 г. в селах Ангекеран и Хыныслы Шемахинского района.

В Нахичеванской АССР во время экспедиции нами зафиксировано орудие боронования подобного типа, которое носит название *дырмых* (рис. 10)²⁵. Эта борона состоит из пяти параллельных деревянных брусьев (длина 1,36 м, ширина и толщина — 8 см), соединенных двумя железными поперечинами. В каждом брусее крепилось пять зубьев длиной 20 см. Расстояние между зубьями от 20 до 25 см. Одна дырмых имеет от 20 до 30 зубьев, расположенных на разных уровнях, чтобы борона работала эффективно. К середине железной поперечины крепилась цепь или веревка, соединяющаяся с ярмом. В дырмых впрягали одну или две пары волов. Воронили ею поле обычно вдоль и поперек.

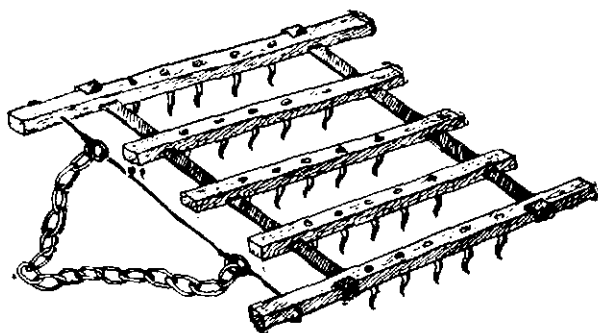


Рис. 10. Дырмых

Указанные выше типы бороны использовались почти во всех районах. Кроме того, в рисоводческом хозяйстве Азербайджана (в основном в Ленкорань-Астаринской зоне), применялись и такие своеобразные типы бороны, как *горанда мала*, *пешковил мала*, *чэпэ мала*, *дараг мала* и *дэстирэнди*. Подобные бороны не использовались при обработке почвы для зерновых культур.

Согласно этнографическим материалам, в Ленкорань-Астаринской зоне рисовые поля обрабатывались шесть раз различными способами с помощью разных орудий пахоты. Это нашло отражение даже в поговорке талышей, которая гласит: «На гряде, не протоптанной шесть раз копытами буйволов, не жди риса».

Первая вспашка рисового поля производилась обыкновенным крюкообразным хышем, который здесь назывался *колохиш* (хыш для первой вспашки). Спустя два-три дня пашню бороновали, чтобы разбить комья земли после пахоты, уплотнить поверхность вспаханного поля и подготовить участок для орошения.

Для выравнивания поверхности гряд под рис в Астаринском и Ленкоранском районах применялась борона *горанда мала* (рис. 11)²⁶. Она представляла собой доску длиной от 2 до 2,5 м, шириной 25—30 см, толщиной 5—7 см, в середину которой вставлялся грядиль (*гол*, *базу*) с укрепленной на нем рукояткой (*даста*, *муштак*).

В фонде Музея истории Азербайджана имеется *горанда мала* другой формы (рис. 12), приобретенная в с. Какалос Астаринского района. Она имеет сравнительно сложную конструкцию: ее рукоятка состоит из двух параллельных брусьев *переллер* высотой 35 см. С одной стороны они прикрепляются к грядилю, с другой — к рукоятке бороны, выполняя функцию стойки. Длина доски такой бороны 2 м, ширина 20 см, длина грядиля 2 м 80 см.

²⁵ Это орудие хранится в фонде Нахичеванского исторического музея им. Б. Кенгерли (№ 761).

²⁶ Зафиксирована нами в с. Сейдакеран Ленкоранского района в 1969 г.

В северных районах зоны для выравнивания поверхности применялась *пешковил мала* (рис. 13). Длина ее доски — 1,5 м, ширина — 15—20 см, толщина — 4—5 см. По форме пешковил мала идентична горанда мала. Эти типы бороны предназначались для боронования после первой вспашки; в них впрягали скот при помощи находящегося на переднем конце грядиля (*гюджагачи*). Такая борона у рисоводов называется еще *узмаласы*²⁷.

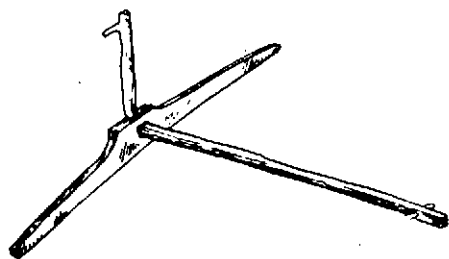


Рис. 11. Горанда мала

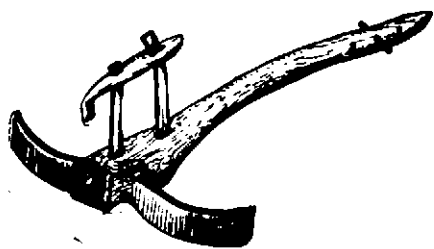


Рис. 12. Горанда мала (Музей истории Азербайджана)

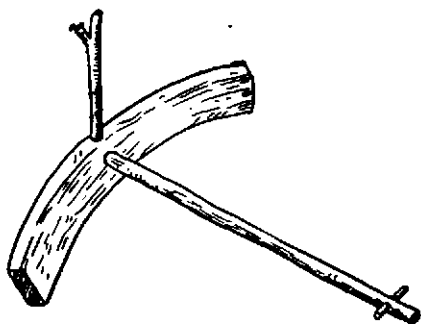


Рис. 13. Пешковил мала

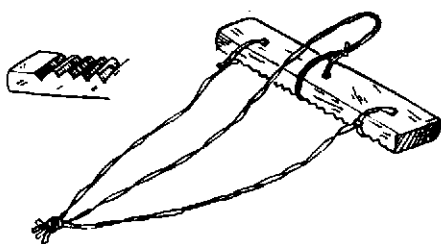


Рис. 14. Душу маласы

После первого боронования рисоводы обрабатывали участок специальным хышем, так называемым *душум хиши* или *урум хиши* (талышск.), т. е. «хышем для второй вспашки». Приблизительно через неделю после второй вспашки почва еще раз бороновалась. Борона, применявшаяся на этом этапе обработки почвы, именовалась *душу маласы* («борона второй вспашки») или *чэпэ мала* (рис. 14); ее можно считать разновидностью агач мала. Борона²⁸ этого типа представляла собой доску длиной 1,5—2,5 м, шириной 20—30 см, толщиной 5—6 см. Нижняя сторона ее имела зазубренную поверхность. Изготовление доски чэпэ мала требовало большого мастерства. В доске делали на равном расстоянии друг от друга три отверстия, через них пропускали виноградные лозы, при помощи которых борона припрягалась к волам. Средняя лоза выполняла здесь функцию рукоятки, за которую держался крестьянин.

Рисоводы Ленкорань-Астаринской зоны использовали еще *дараг мала* (рис. 15), борону, состоявшую из тяжелого бруса прямоугольной формы, на нижней поверхности которого располагались деревянные (и железные) зубья длиной 7—8 см. Функцию грядиля выполняли виноградные лозы или железные цепи, прикреплявшиеся с обоих краев

²⁷ Ш. А. Гулиев. Указ. раб., с. 138.

²⁸ Зафиксирован в 1969 г. в с. Махмудавар Масаллинского р-на.

к доске. С их помощью борона прикреплялась к ярму. Дараг мала разрыхляла почву, разбивала комья и очищала пашню от сорняков. Управлялась она рукояткой (*мича*), прикрепленной к брусу.

Аналогичные орудия боронования были распространены среди узбеков Хорезма, в Ташкентском районе, по среднему и нижнему течению Зеравшана, у узбеков-карлуков, куралинцев в Касанском районе; здесь они именовались *мола-дандона*²⁹. Эти бороны также применялись в рисоводстве. Нам представляется, что сходство сельскохозяйственных орудий у азербайджанцев и узбеков объясняется идентичностью ведения рисоводческого хозяйства.

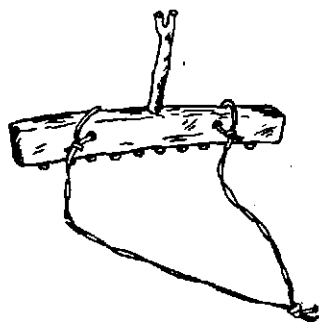


Рис. 15. Дараг мала

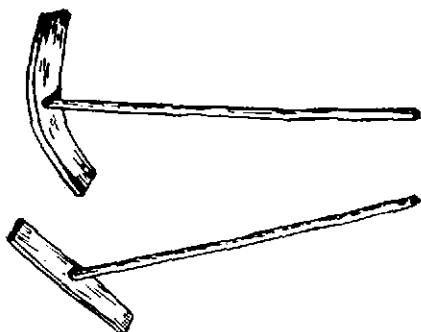


Рис. 16. Дэстиренджи

Последняя, третья вспашка (по-тальшски *килэ* или *килэ вурма*) начиналась через 10—15 дней после второй пахоты. Затем рисоводы проводили последнее боронование с помощью так называемой *тохума мала*. Этот тип бороны именовался еще и *йетирмэ мала* (завершающая борона)³⁰. Если вспашка производилась в продольном направлении, то тохума малой проходили в поперечном, затем повторно вспахивали в продольном направлении и вторично боронили. Таким образом, пахота и боронование чередовались несколько раз³¹.

Рисоводы употребляли еще и ручную борону (*дэстиренджи*). «Иногда некоторые гряды настолько заболачиваются, — пишет Ш. А. Гулиев, — что невозможно загнать туда буйволов или волов. В этих случаях такие топкие места, называемые „нал“, обрабатываются, перемещиваются с помощью „эйри бэл“ (кривая лопата) и выравниваются ручной боронной — „дэстиренджи“ („эл маласы“). Длина доски дэстиренджи 1,5 м, ширина 10 см, толщина 2—3 см, длина рукоятки более 2 м»³² (см. рис. 16).

Следует отметить, что орудия боронования, которые были характерны для рисоводческого хозяйства Ленкорань-Астаринской зоны, употреблялись до последнего времени.

Как мы уже упоминали, мала с ярмом соединялась различными способами: при помощи виноградных лоз (*тэнэк*), плетеных ветвей граба (*бургу*), веревок и цепей (*зенджир*); бороны, которые имели дышла, соединялись с ярмом с помощью стержня — *гюдагаджи*.

* * *

Изучение азербайджанских орудий боронования показывает, что многие типы имеют местное происхождение, причем аналогичные бороны не встречаются у соседних народов.

²⁹ Л. А. Фирштейн. Указ. раб., с. 166.

³⁰ Ш. А. Гулиев. Указ. раб., с. 139.

³¹ Д. Кистенев. Источники благосостояния крестьян Ленкоранского уезда. — «Труды КОСХ», год тридцать четвертый, № 1—2, Тифлис, 1889, с. 66.

³² Ш. А. Гулиев. Указ. раб., с. 139.

В конце XIX в. наряду с традиционными орудиями боронования в земледельческом хозяйстве Азербайджана начали использоваться усовершенствованные бороны заводского изготовления, которые местное население именovalo *дэмир мала* (железная борона). Однако они были доступны только зажиточным крестьянам и не получили широкого распространения. Основная же масса сельского населения, не имея средств для приобретения новых сельскохозяйственных орудий, продолжала пользоваться традиционными³³. Таким образом, до установления Советской власти у азербайджанского крестьянства основными орудиями боронования и лущения почвы оставались орудия местного происхождения.

Большая часть беднейшего крестьянства не имела возможности приобрести даже борону. Поэтому создавались своеобразные товарищества (*ортаглыг*), члены которых поочередно бороновали свои участки. Земледельцы, не имевшие тягловой силы, иногда применяли древний способ боронования: после посева пшеницы или других злаков прогоняли по полю отару овец. Следует отметить, что азербайджанский этнограф А. К. Алекперов еще в 30-х годах XX в. зафиксировал этот способ у курдов Лачинского и Кельбаджарского районов. Автор сообщает, что на скалистых местах, укрытых от ветра, и на солнечных небольших участках курды сеяли яровую пшеницу; землю вскапывали лопатами. Поднять волокуши вверх, на скалистые места, было трудно, и для боронования вспаханных участков загоняли до десятка коз, которых заставляли бегать по полю³⁴.

Приведенные выше материалы свидетельствуют о разнообразии традиционных орудий боронования у азербайджанского крестьянства в XIX—начале XX в. Многообразие орудий боронования объясняется различием природно-климатических условий и сельскохозяйственных культур в Азербайджане.

Как показывают исследования, некоторые типы орудий боронования (или их разновидности), характерные для Азербайджана, встречаются и у других народов Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока, что объясняется сходными условиями ведения хозяйства и историко-культурными связями.

³³ А. С. Сумбатзаде. Сельское хозяйство Азербайджана в XIX веке. Баку, 1958, с. 321.

³⁴ А. К. Алекперов. Исследования по археологии и этнографии Азербайджана. Баку, 1960, с. 146.

Г. Н. Симаков

КИРГИЗСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

(КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА)

Среди богатого и своеобразного культурного наследия киргизского народа важное место занимают различные виды национальных развлечений¹. К сожалению, этой стороне национальной культуры киргизов до последнего времени этнографы не уделяли должного внимания. В трудах дореволюционных ученых и путешественников П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. В. Сорокина, Ч. Валиханова, И. И. Гродекова и других имеются лишь краткие и разрозненные сведения по этому вопросу². Определенный интерес к народным киргизским развлечениям проявляли некоторые представители царской колониальной администрации и русской интеллигенции, проживавшие в конце XIX — начале XX в. на территории Киргизии. Время от времени в газетах «Туркестанские ведомости» и «Семиреченские областные ведомости» появлялись статьи и заметки о национальных видах спорта, играх и увеселениях. Однако интерес этот носил случайный и неглубокий характер.

Из этнографических работ, вышедших в послереволюционное время, краткие сведения по интересующей нас проблеме имеются лишь в статьях и книгах С. М. Абрамзона³, где можно найти перечисление, а в некоторых случаях и краткое разъяснение отдельных видов национальных развлечений; иногда дается оценка исторического места развлечений в культурном наследии киргизов. С. М. Абрамзоном была предпринята также попытка предварительной группировки (классификации) национальных развлечений на основе их соотнесения с возрастными группами:

¹ Под термином «развлечения» мы понимаем самые разнообразные рациональные средства проведения досуга: игры, состязания, зрелища, народные виды спорта к т. п.

² См. П. П. Семенов-Тян-Шанский. Путешествие в Тянь-Шань в 1851—1852 гг. М., 1947; «Первая поездка на Тянь-Шань и Небесный хребет до верховьев реки Яксарт или Сырдарья Действительного члена П. П. Семенова в 1857 г.» — В кн.: «Вестник Императорского Русского географического о-ва», ч. 23, II отд., СПб., 1858; Н. В. Сорокин. В горах и долинах русского Тянь-Шаня. — «Исторический вестник», май — июнь 1886 г.; Ч. Валиханов. Избранные произведения. Алма-Ата, 1858; И. И. Гродеков. Киргизы и каракиргизы Сырдарьинской области, т. I. — «Юридический быт», Ташкент, 1889; Н. Северцев. Путешествие по Туркестанскому краю и исследование горной системы Тянь-Шань по поручению Русского географического общества. СПб., 1873; В. И. Липский. По горным областям русского Туркестана (Тянь-Шань). СПб., 1906, и др.

³ С. М. Абрамзон. Творчество киргизского народа. В сб.: «Советская этнография», т. III, 1940; *его же*. Черты военной организации и техники у киргизов (по историко-этнографическим данным и материалам эпоса «Манас») — «Труды Ин-та языка, литературы, истории Киргизского филиала АН СССР», вып. 1, Фрунзе, 1945; *его же*. Этнографические сюжеты в киргизском эпосе «Манас». — «Сов. этнография», 1947, № 2; *его же*. Очерки культуры киргизского народа. Фрунзе, 1946; *его же*. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л., 1971.

игры детей, игры молодежи, игры взрослых и т. д. В особую группу С. М. Абрамзон выделил массовые увеселения и зрелища, исторически связанные с условиями походной жизни. В основном они носили пережиточный характер, являясь в прошлом составным элементом культовых церемоний⁴. Однако проблема народных развлечений в целом оставалась за пределами внимания этнографов, хотя она несомненно представляет интерес при изучении культуры киргизов, а также их этногенеза и этнической истории.

Задача настоящей статьи — выделить и в самых общих чертах раскрыть наиболее характерные моменты бытования киргизских национальных развлечений в дореволюционный период (главным образом в конце XIX — начале XX в.). В основу работы положены публикации дореволюционных и советских исследователей, полевые материалы, собранные автором в различных районах Киргизской ССР, а также архивные материалы рукописных фондов Отделения общественных наук АН Киргизской ССР.

Тематика многих киргизских развлечений, их аксессуары, особенно бытования свидетельствуют о том, что они возникли и развивались у скотоводческого народа, который вел кочевой образ жизни. Наиболее ярким показателем этого является популярность и широкое распространение в Киргизии разнообразных видов конного спорта, состязаний и игр, т. е. тех видов развлечений, непосредственным участником которых являлся конь, имевший исключительно важное значение в хозяйственной жизни скотоводов-кочевников.

К концу XIX в. у киргизов имелось более десяти различных видов конных игр и состязаний. Это прежде всего разнообразные скачки: *тай чабыш* — скачки на жеребятках в возрасте моложе двух лет, *кунан чабыш* — скачки на молодых лошадках-трехлетках и *ат чабыш* — несколько видов скачек на взрослых лошадях. Наиболее популярны в последнем виде развлечений *чон ат чабыш* (или *аламан байге*) — обязательный атрибут большой тризны *аш*, устраивавшейся через год после смерти богатого и знатного человека.

Подготовкой лошадей к скачкам, а также наставлением наездников занимались тренеры — *саяпкеры*, хорошо знавшие беговые качества лошади и владевшие искусством подготовки скаковых лошадей к состязаниям. Необходимые для этого сведения издавна накапливались в памяти скотоводов-кочевников и передавались в изустной традиции из поколения в поколение. Навыки ремесла саяпкеров, как правило, передавались по наследству от отца к сыну, от деда к внуку. Саяпкер был почти в каждом ауле или по крайней мере в каждой родовой группе. Выиграть скачку считалось большой честью для владельца лошади, для наездника и в особенности для тренера. Профессия эта у киргизов была весьма популярной и уважаемой. Имена некоторых саяпкеров были известны далеко за пределами Киргизии.

Говоря о конных состязаниях, нельзя не упомянуть такие любимые киргизами виды развлечений, как: *оодарыш* (*эниш*) — борьба двух всадников, цель которой стащить соперника с седла; *жабмы атыш* — стрельба на полном скаку по подвешенной на длинном шесте мишени; *тыйын энмей* — джигитовка, во время которой всадник на полном скаку должен был поднять монету с земли, *кыз куумай* — состязание между юношей и девушкой в умении ездить верхом; *жорго салыш* — скачки на иноходцах и некоторые другие. Все эти виды состязаний в конце XIX — начале XX в. были у киргизов наиболее популярны.

Печать скотоводческого быта, кочевого образа жизни несли на себе и другие виды игр, бытовавшие в народе. Сюжеты некоторых из них отражали наиболее характерные ситуации повседневной жизни ското-

⁴ С. М. Абрамзон. Творчество киргизского народа, с. 82.

водов-кочевников. Довольно распространенным сюжетом, в особенности в молодежных и детских играх, была охрана овечьего стада или табуна лошадей от нападения хищников. Характерна в этом отношении популярная детская игра *карышкыр оюун* (букв. «волчья игра», «игра волков»). В ней участвовали до 30 мальчиков и девочек не старше 13 лет. Они делились на три группы: самая малочисленная — «волки», средняя по количеству участников — «пастухи» — *койчулар*, наиболее многочисленная — «овцы». На ровном месте очерчивался большой круг, который изображал загон для овец — *кой короо*, в котором находились «овцы». Снаружи располагались «пастухи». Их задача — не допускать «волков» к «овцам». «Волки» старались обмануть пастухов, обойти их и вытащить как можно больше «овец» за пределы круга. «Овцы» же в свою очередь старались поймать как можно больше «волков» и втащить их в загон. «Пастухи» помогали им. Пойманная «овца» становилась «волком» и наоборот. Игра продолжалась до тех пор, пока все участники не становились либо «овцами», либо «волками»⁵.

Воспроизведение в игровой форме различных ситуаций из скотоводческого быта являлись и такие игры, как — *эшек минмей* (букв. «запрывивание на ишака»), *токту сурамай* (букв. «выпрашивание телки»), *уйчу* — коровий пастух, *таман тузак* — силки (букв. «силки для ног») и ряд других.

Сюжеты многих игр утратили черты непосредственной связи со скотоводческим бытом, однако о ее наличии свидетельствуют их названия: *кёк бука* — игра в лунки (букв. «голубой бык») или *кызыл бука* — чехарда (букв. «красный бык»).

Названия домашних животных широко фигурируют в играх киргизов. Так, выигранное или проигранное очко во многих играх называется *тай* — жеребенок, жеребьевка — *ат кармоо* (букв. «держание лошади, удержание лошади»), а жеребьевка при игре в альчики (косточки, с помощью которых бросается жребий) называется *ат калчашоо* (букв. «определение первой лошади»). Сам альчик именуется *күлүк ат* — скакун, скаковая лошадь. Человек, который по тем или иным причинам выбыл из игры, называется *чок байтал* (букв. «кобылица со стриженной холкой») и т. п.⁶

Интересно, что в некоторых играх в качестве предмета игры служила туша домашнего животного или ее части. Так, в игре-состязании *кёк бёрю* предметом игры служит туша козленка — *улак*, на юге Киргизии туша теленка — *торпок*, что и дало, по-видимому, этой игре и другое название — *улак тартыш* или *торпок тартыш* (букв. «таскание козленка», «таскание теленка»). Обязательным атрибутом другого часто устраивавшегося на крупных торжествах (*той* или *аш*) развлечения — *ёпкё чабыш*, *ёпкё уруш* (букв. «бой», «драка с помощью легких») служили легкие какого-нибудь домашнего животного (овцы, лошади, козла), которого специально закалывали перед самым состязанием. Во время состязания двое раздетых по пояс мужчин наносили друг другу удары по голове или туловищу этими легкими. Каждый старался заставить соперника покинуть поле сражения.

Большое развитие получили у киргизов игры с бараньими коленными косточками — *чукё-альчики*. В наши дни особенно популярна спортивная игра *ордо* (букв. «ханский дворец», «юрта хана»). С. М. Абрамзон считает, что в основе ее сюжета лежит как бы «бой за захват ханской ставки»⁷. Цель игры — выбить из очерченного на земле большого круга

⁵ Рукописные фонды Отделения общественных наук АН Киргизской ССР, инв. № 1905, с. 45, 46.

⁶ Полевые записи автора, № 28 и 32 (Здесь и ниже — ссылки на сведения, собранные во время экспедиционных поездок в Киргизскую ССР в 1973—1974 гг. Полевые записи хранятся у автора).

⁷ С. М. Абрамзон. Творчество киргизского народа, с. 82.

расположенные в его центре бараны альчики. В силу сложности правил и множества ограничений, вводимых для участников, игра эта требует большой ловкости и сноровки. Победитель, как правило, получает приз (одну или несколько голов скота).

Обращает на себя внимание и тот факт, что на всех крупных состязаниях победители почти всегда получали в награду скот. В начале XX в. в качестве приза стали давать дорогую одежду, утварь и денежные суммы. Однако преобладала старая традиция назначать призы скотом. Выше всего ценились верблюды, затем лошади и потом уже овцы. Крупный рогатый скот включали в состав приза только, когда хозяева праздника не имели возможности выдать приз другими видами скота⁸. В этом также сказывается традиционный, сугубо кочевнический взгляд на крупный рогатый скот как на что-то менее ценное, чем верблюды, лошади и овцы.

Игры киргизов хорошо приспособлены к условиям кочевой походной жизни. Они, как правило, просты не только по содержанию, но и по оформлению. Для их устройства не нужно специального и тем более громоздкого оборудования или особо отведенного места. Все необходимое для устройства того или иного развлечения у кочевника всегда под рукой.

Зарождение и развитие многих видов развлечений киргизов было связано с повседневными хозяйственными нуждами скотоводов и их мировоззрением, в силу чего в конце XIX — начале XX в. национальные виды развлечений стали существенным элементом народной системы трудового воспитания, одним из средств подготовки молодого поколения к хозяйственной деятельности.

Не следует, однако, забывать, что «...вплоть до самого включения Киргизии в состав России основным фоном, на котором разворачивались важнейшие события политической и общественной жизни киргизов, были войны, набеги и столкновения»⁹. Еще в середине XIX в. межплеменные столкновения были реальностью. По свидетельству С. М. Абрамзона, «суровый военный быт не мог не накладывать своего отпечатка на многие стороны материальной культуры, хозяйственный уклад, общественные отношения, народное сознание киргизов»¹⁰. Не случайно некоторые виды национальных развлечений приобрели явно выраженный военизированный характер. Такие виды народных спортивных состязаний, как *эр сайыш* (единоборство двух всадников на пиках), *жамбы атыш*, *оода-рыш*, *тайын энмей*, *балбан кўрёш* — пешая борьба, а также все разновидности конных состязаний вплоть до середины XIX в., помимо развлекательного и общевоспитательного, сохраняли еще и специфическое военно-прикладное значение.

Киргизских детей с самого раннего возраста готовили к встрече с врагом¹¹. Одним из важных средств воспитания будущего храброго и умелого воина были киргизские национальные игры и состязания, которые вырабатывали ловкость, смелость, выносливость и сообразительность. Эта система воспитания начиналась с детских подвижных игр. По мере возмужания будущего воина перед ним через игры ставились все более и более сложные задачи. Мы имеем некоторые основания говорить о народной, стихийно сложившейся, а в отдельные периоды истории, возможно, и сознательно культивируемой системе воспитания воина-конника с помощью национальных игр и народных видов спорта. Такая форма подготовки, по всей видимости, наилучшим образом отвечала особенностям киргизского войска, которое было организовано по принципу народного ополчения¹².

⁸ Полевые записи автора, № 18.

⁹ С. М. Абрамзон. Киргизы..., с. 167.

¹⁰ Там же, с. 163.

¹¹ С. М. Абрамзон. Черты военной организации..., с. 179.

¹² С. М. Абрамзон. Очерки культуры..., с. 44.

Основу киргизского войска составляла легкая конница¹³. Среди конных видов состязаний и игр наиболее военизированный характер носило устраиваемое преимущественно во время годовых поминок единоборство двух мужчин-всадников на пиках — *эр сайыш*. В конце XIX — начале XX в. это состязание было обязательным атрибутом любого киргизского аша; в некоторых случаях оно устраивалось и во время крупного тоя, что, по-видимому, было уже отступлением от сложившихся традиций. Наши информаторы говорили о том, что в середине и даже в конце XIX в. во время эр сайыш часто проливалась кровь, так как воины выходили на поединок с боевыми пиками. К концу века во время эр сайыша все чаще использовались турнирные копыя. К этому времени относится, по-видимому, и установление правил для эр сайыша, согласно которым удар тупым копьём можно было наносить только в грудь (удары ниже пояса, в спину или в лицо были запрещены). К этому же времени боевые доспехи стали заменять турнирными: грудь участника состязания покрывалась толстым слоем войлока, поверх которого одевался своеобразный панцирь — *соот*, изготовлявшийся из коровьей или лошадиной кожи — *булгары*. Однако эти импровизированные доспехи не всегда защищали участников поединка от увечий и даже гибели. Жестокый характер этого состязания, сохранившийся и в конце XIX в., несомненно был отзвуком той суровой военной эпохи, которая его породила. Эр сайыш прекратил свое существование лишь к самому началу XX в., когда он был официально запрещен царской колониальной администрацией¹⁴.

Большая популярность конных видов развлечений была связана также с исключительно важной ролью коня в военной походной жизни, особенно, в бою. Подготовка к походу, отмечал С. М. Абрамзон, требовала не только изготовления снаряжения. Огромное место в ней занимала подготовка боевых коней и их тренировка к длительным переходам, обучение для использования в бою¹⁵. Таким образом, все виды конных развлечений способствовали не только воспитанию воина, но и выработке необходимых качеств боевого коня: выносливости, скорости, маневренности, безукоризненного подчинения поводу и т. д.

У киргизов существовал своеобразный культ коня, что отчетливо отразилось в произведениях устного народного творчества и, в частности, в эпосе «Манас»¹⁶. В киргизском войске были особого рода специалисты — знатоки боевых качеств воинов и верховых лошадей — *сынчы*¹⁷. Они выступали так же как прорицатели, пророки, якобы способные заранее предсказать исход того или иного сражения. По утверждению некоторых наших информаторов, люди становились профессиональными сынчы по велению духов¹⁸. Сынчы имели, по-видимому, много общего с шаманами *бахшы*, гадалками на лопатке — *далычы* и др.

Однако к концу XIX в. их профессия уже в значительной степени утратила присущий ей в прошлом религиозный оттенок, а знания и опыт получили ограниченное, более специфическое использование. В условиях мирной жизни сынчы превратились главным образом в специалистов по отбору и подготовке лошадей к скачкам. Они часто совмещали в себе две бывшие некогда самостоятельными специальности: собственно сынчы — знатоков скаковых качеств лошадей и саяпкеров — мастеров подготовки лошадей к скачкам.

Об исторической связи народных спортивных состязаний с военным прошлым киргизского народа свидетельствует и ряд других моментов,

¹³ С. М. Абрамзон. Черты военной организации..., с. 168.

¹⁴ Д. Айтмамбетов. Культура киргизского народа во второй половине XIX — начале XX в. Фрунзе, 1967, с. 160.

¹⁵ С. М. Абрамзон. Черты военной организации..., с. 175.

¹⁶ С. М. Абрамзон. Киргизы..., с. 175.

¹⁷ С. М. Абрамзон. Черты военной организации..., с. 171.

¹⁸ Полевые записи автора, № 33, 45 и 50.

характерных для их бытования в конце XIX — начале XX в. Так, многие состязания на крупных торжествах, как правило, сопровождались игрой на музыкальных инструментах и пением народных певцов-сказителей — *ырчы*. Содержание многих песен и мелодий имело сугубо военный характер. Да и сами инструменты *кыяк, керней, сурнай, добулбас*, по всей вероятности, когда-то широко использовались в военном быту, были неотъемлемым элементом воинского церемониала¹⁹.

О былой связи национальных развлечений с военным делом напоминает и царившая на крупных киргизских празднествах атмосфера торжественности, героической приподнятости, своеобразного эпического пафоса. Этому в значительной мере способствовал продолжавший процветать в народе культ героев-богатырей. В конце XIX — начале XX в. объектом народного почитания стали победители крупных состязаний по ат чабыш, оодарыш, балбан күрөш и в особенности по эр сайышу.

Интересно отметить, что у киргизов вплоть до конца XIX — начала XX в. сохранялась традиция участия женщин в таких сугубо мужских видах состязаний, как оодарыш, балбан күрөш, эр сайыш, а также участие девушек и женщин в особых скачках — *кыз жарыш, келин жарыш*.

О том, что среди киргизов-воинов встречались женщины-богатырши, свидетельствуют произведения народного поэтического творчества, в частности эпос киргизов «Манас», а также эпосы других народов Средней Азии и Казахстана. По всей видимости, состязания женщин в некоторых мужских видах спорта, широко распространенные в прошлом, со временем стали лишь отмирающей традицией. Такого рода состязания продолжали устраивать лишь на особо крупных торжествах. Женщины выходили на арену после выступления мужчин и состязались по тем же видам программы. В некоторых случаях единоборство женщин носило шуточный характер и встречалось веселым смехом зрителей, но иногда борьба принимала острый и подчас жестокий характер. Победительница получала приз скотом или деньгами. Правда, призы на женских состязаниях были гораздо скромнее, чем на мужских²⁰. Участницы воинских состязаний назывались в народе *балбан кыз, балбан келин* (девушка-силач, женщина-силач). Иногда женщины отваживались даже вызывать на поединок мужчин и в схватке с ними одерживали победу²¹.

Об особом положении женщин у кочевников Средней Азии свидетельствуют такие не раз отмечавшиеся исследователями факты, как относительная свобода и самостоятельность, которыми они пользовались в повседневной жизни. Известны случаи, когда в родословную включались женские имена²² или же женщины становились главами тех или иных родовых подразделений после смерти мужей²³. Исследователи считали подобные факты отголосками очень древних форм социальной и воинской организации народов Средней Азии, в частности матриархата. Нам важно отметить, что у киргизов примеры участия женщин в военизированных видах состязаний наряду с мужчинами мы находим не только в эпической традиции, но и в самой жизни. Участие женщин в богатырских развлечениях преимущественно во время больших годовых поминок — аш, на наш взгляд, дает основание говорить о былом ритуальном назначении этих развлечений, восходящих к традициям древнего похоронного церемониала.

Рассмотренные нами военизированные виды народных развлечений к концу XIX — началу XX в. стали по существу народными видами спорта, и лишь некоторые черты их бытования продолжали напоминать о

¹⁹ Д. Айтмамбетов, Указ. раб., с. 133, 139, 140—142.

²⁰ Полевые записи автора, № 14, 23, 31, 40 и др.

²¹ Там же, № 27.

²² С. М. Абрамзон. Киргизы..., с. 50.

²³ Там же, с. 51.

той эпохе, когда они непосредственно служили интересам военного времени.

Следует сказать о воспитательной и развлекательной стороне тех развлечений, которые широко бытовали в народе и функционирование которых не было ограничено только религиозными праздниками. Такие развлечения, не связанные условностями обрядовости, могли устраиваться в любое время года при любых благоприятных обстоятельствах. Их главным назначением было полезное, веселое и интересное проведение досуга с вытекающими отсюда воспитательными функциями. Эту категорию мы называем собственно развлечениями; в нее входят все детские игры, часть молодежных, а также подавляющее большинство игр в альчики.

В то же время наиболее популярные виды спорта, игры и увеселения были преимущественно связаны с родовыми и семейными праздниками, часть которых носила религиозный характер. К таким праздникам могут быть отнесены: серия поминальных торжеств, завершавшаяся большими годовыми поминками — *чон аш*; цикл свадебных торжеств, самым крупным из которых был большой свадебный пир — *ййёлнү той*; торжество по поводу укладывания новорожденного в колыбель (*бешик*) — *бешик той*; праздник, связанный с первыми самостоятельными шагами ребенка, — *тушоо кести той*; семейный праздник, посвященный первому самостоятельному выезду мальчика верхом, и ряд других. Во время этих семейных и родовых праздников устраивались самые разнообразные игры, состязания и увеселения.

Достаточно отчетливо пережитки киргизских национальных развлечений обрядового назначения, восходящих к некогда существовавшим религиозным культам и верованиям, проявляются в характере бытования некоторых игр и состязаний, проводившихся во время свадебных торжеств, сопровождавших сватовство, выплату калыма, добрые посещения невесты женихом, а также большой свадебный пир. Например, как уже было сказано выше, обязательным атрибутом свадебных тоев была распространенная и у многих других народов Средней Азии игра *кёк бөрү*, занимавшая в их развлекательной программе одно из главных мест. Известно два ее вида — собственно *кёк бөрү* и так называемая *чаб улак*. Первая представляла собой темпераментную спортивную игру, привлекавшую большое число зрителей и участников. Состязались роды жениха и невесты. Победившей стороне отец невесты назначал большой приз. Второй вариант игры — *чаб улак*, хотя в нем и присутствовал игровой элемент, скорее носил обрядовый ритуальный характер. *Чаб улак* устраивалась джигитами из рода жениха, когда они направлялись на большой свадебный той в аил невесты. Игра носила в значительной мере условный характер, так как целью играющих было не столько завладеть тушей козленка, сколько донести ее до аила невесты и бросить у ног (или юрты) отца невесты, выразив ему таким образом свои благопожелания и уважение. Джигит, бросивший козленка к его ногам, получал в подарок скот, деньги, одежду. В этой разновидности *кёк бөрү* не было противоборствующих родовых групп.

На историческую связь *кёк бөрү* с древним свадебным ритуалом и тотемистическими представлениями указывал еще С. П. Толстов²⁴. Интересно отметить, что у киргизов в конце XIX — начале XX в. *кёк бөрү*, став уже собственно развлечением, все еще продолжала сохранять ритуальное назначение. Это видно из того, что, во-первых, *кёк бөрү* являлась специфической чертой прежде всего свадебных праздников, и во-вторых, одна из ее разновидностей имела явно обрядовое значение.

²⁴ С. П. Толстов. Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен. — «Проблемы истории докапиталистических обществ», № 9—10, М.—Л., 1935, с. 14, 15, 20, 21, 23 и др.

Не менее отчетливо пережитки религиозных культов проявлялись и в церемониале торжеств, посвященных культу предков, а именно в серии поминок, которые завершались большой годовой тризной — *аш* (*чон аш*). Годовые поминки были одним из важных и наиболее значительных событий в религиозной и общественной жизни киргизов и устраивались с особенной пышностью. На тризну по богатому и знатному человеку собирались гости со всех районов Киргизии, а иногда и из пограничных с ней районов Средней Азии. Иногда на тризне присутствовало несколько десятков тысяч человек. Большое место в программе такого рода торжеств занимали самые разнообразные развлечения. Строго определенный подбор их и последовательность включения в программу свидетельствовали о том, что некогда эти развлечения имели важное обрядовое значение.

Большие годовые поминки открывались скачками *кемеге байге*, в которых по традиции принимали участие малоизвестные или средних достоинств скакуны. Состязания приурочивались ко времени устройства многочисленных очагов для варки мяса (*кемеге* — очаг, выкапываемый в земле). Кемеге байге устраивали только во время больших поминок, что говорит о прежнем культовом назначении этих скачек, которыми исчерпывалась развлекательная программа первого дня поминок. В последующие дни (их могло быть десять и более) в указанном ниже порядке проводились: *жамбы атыш*, *ёпкё чабыш*, *балбан кёрёш*, *тёё чечмей* (отвязывание обнаженной женщиной верблюда от колышка). Во всех случаях тризна заканчивалась большими скачками — *чон ат чабыш* или *аламан байге*, которые составляли венец всей развлекательной программы. В них участвовали самые лучшие скаковые лошади, известные своими победами на других крупных состязаниях. Многие наши информаторы, ссылаясь на высказывания своих отцов и дедов, говорили, что раньше аламан байге устраивалась только во время большого аша. Их начали иногда включать в программу других торжеств только со второй половины XIX в. Указания на частые случаи отступления в конце XIX — начале XX в. от установленных традицией правил устройства религиозных торжеств, и в частности, больших поминок, имеются и в литературе²⁵. В программу поминок, в особенности на юге Киргизии, стали включаться такие нехарактерные для поминальных торжеств развлечения, как *ит тартыш* — перетягивание каната, *аталага баш сал* — шуточное развлечение, во время которого необходимо было со дна котла, наполненного просяной болтушкой, достать губами монету, и даже *кёк бёрү*, включение которых в программу аша строго запрещалось традицией. Частично это «было связано с утратой значения культа предков, одной из причин чего было влияние исламской идеологии на традиционные языческие верования и культы»²⁶.

Таким образом, в бытовании некоторых киргизских национальных развлечений имелись пережитки, позволяющие предположить их тесную связь с прошлым с религиозным культом. Об этом прежде всего свидетельствует приурочение к конкретным религиозным праздникам, например к годовым поминкам, а также строгая соотнесенность развлечений, хотя и утративших реальное обрядовое содержание, с определенными этапами церемониала этих торжеств. Такого рода развлечения мы относим к категории развлечений, связанных с обрядностью.

На характер бытования некоторых видов развлечений наложили свой отпечаток и древние формы социальной организации, в частности отдельные брачные институты. Наиболее показательны в этом отношении развлечения, характерные для большого свадебного тоя (*кыз той* или *уйлөнү той*). С. М. Абрамзон отмечал: «Накануне и во время этого сва-

²⁵ Д. Айгмамбетов. Указ. раб., с. 181.

²⁶ С. М. Абрамзон. Очерки культуры..., с. 52.

дебного пира совершались обрядовые действия, восходящие как к древним социально-брачным институтам, так и к религиозно-символическим и магическим представлениям. Свадебное торжество сопровождалось зрелищами и увеселениями, содержащими много игровых, песенно-музыкальных и состязательных элементов»²⁷. Подчас обрядовая и развлекательная стороны свадебного церемониала сочетались в одном и том же действии, так что разграничить эти две стороны не представляется возможным. Подобные действия были, по-видимому, переходной ступенью между обрядом как таковым и игрой, развлечением.

Примером такого рода полуигры-полуобряда может служить свадебное развлечение *тёшэк талашуу* (букв. борьба за коврик — *тёшэк*). Развлечение это завершало большой свадебный той и происходило в аиле невесты перед ее отъездом. Носило оно характер состязания (борьбы) между молодыми мужчинами со стороны жениха и молодыми женщинами со стороны невесты. Иногда в нем принимали участие и представители старшего поколения. Перед началом состязания глубоко в землю врывали один конец толстого волосяного каната (аркан), за другой брались мужчины и старались вытащить его из земли. Женщины стремились помешать мужчинам, для чего обливали их водой, смешанной с золой, и наносили удары с помощью скрученных из материи жгутов (*токмок*). Победившей стороне отец невесты вручал приз (одну или несколько голов скота). Скот этот тут же резали и устраивали совместную трапезу. Как правило, победу одерживали мужчины. Этот вид развлечения, как и проводившаяся во время свадебных празднеств игра — перestyгивание сторонниками жениха и сторонниками невесты (соответственно мужчинами и женщинами) привязанных друг к другу жениха и невесты, имевшая ярко выраженное свадебно-ритуальное назначение, олицетворял «борьбу между родом жениха и невесты, иначе, противоречие между укрепляющимся патриархальным укладом и отстаивающим свои позиции архаическим строем семейно-брачных отношений»²⁸.

Ряд характерных для *тёшэк талашуу* признаков свидетельствует, что это развлечение находится на переходной стадии от обряда к собственно игре. Об этом говорит участие в игре преимущественно молодежи, веселый шуточный характер игры, обрядово-символическое содержание развлечения, строгая связь со свадебными церемониями. Такого рода развлечения мы относим к категории развлечений — обрядов.

Накладывали свой отпечаток на киргизские национальные развлечения и пережитки патриархально-родового строя, которые, несмотря на классовый характер киргизского общества, продолжали влиять на многие стороны хозяйства и идеологии киргизов.

Представители противоборствующих сторон в том или ином состязании всегда принадлежали к разным родовым группам. Этот принцип соблюдался во всех родовых подразделениях, начиная от семейно-родственной группы и кончая племенем.

Пережитком родовых традиций было и правило, согласно которому победитель часть приза, а иногда и весь приз обязан был раздать своим сородичам, соплеменникам. Подобные факты приводит П. И. Кушнер в своей книге «Горная Киргизия»: «Во время борьбы (из-за козла) партии противников создаются по родовому принципу: призы, полученные на праздниках, делятся между сородичами, а не в пользу победителя... Интересы рода в первую голову, а истина — во вторую. С этим явлением все время приходится считаться в киргизском быту...»²⁹. То же самое, но в отношении казахов отмечает И. И. Гродеков. Он писал, что на крупных тоях и ашах видим прежде всего «не состязания личностей, а родов», причем «приз получает не победитель, а род его, который делит

²⁷ С. М. Абрамзон. Киргизы..., с. 231, 232.

²⁸ Там же, с. 234.

²⁹ П. Кушнер. Горная Киргизия. М., 1929, с. 80.

приз между собой или же раздаривает его остальным родам. Поэтому на байге (на скачках.— Г. С.) кричат боевые кличи своих родов»³⁰. Правило делиться выигранным призом со своими сородичами существовало по всей территории Киргизии. Особенно строго ему следовали во время конных состязаний *ат чабыш*, призы на которых достигали больших размеров. Исключением было только состязание-единоборство *эр сайыш*. В этом виде состязаний победитель имел право забрать весь приз целиком себе. Такое отклонение от традиционного обычая, видимо, связано с тем, что участник поединка подвергал себя большому риску.

К пережиткам родовых традиций в устройстве развлечений относился и обычай, согласно которому во время крупных состязаний, затрагивавших престиж того или иного родового подразделения, представителя, вызвавшегося отстаивать его честь или, что характерно, вынужденного участвовать в состязаниях под давлением общественного мнения, снабжали всем необходимым (одеждой, лошастью, конским снаряжением и другим игровым инвентарем) из общих средств его родовой группы³¹. А перед началом состязания участник обращался за благословением и пожеланием удачи ко всем присутствовавшим сородичам.

Отмеченные традиции носили в целом положительный характер и способствовали успешному развитию национальных видов развлечений.

Вместе с тем в организации развлечений можно отметить и ряд отрицательных сторон. Многие из них связаны с устройством развлечений в рамках родовых традиций. Так, существовавшие вплоть до начала XX в. межродовые неприязнь и вражда мешали честному соперничеству и омрачали атмосферу народных торжеств. Участники состязаний порой нарушали установленные правила игры, пускались на недозволенные хитрости, что в свою очередь осложняло обстановку и иногда приводило к вооруженным конфликтам.

П. И. Кушнер приводит факты, свидетельствующие о том, что родовые традиции ограничивали возможность участия в родовых торжествах представителей неродственных групп: «В общественной жизни, — пишет он, — такие чужаки не выделяются из среды остальных жителей аула (в этом, между прочим, сказывается уже упадок родовых традиций и родовой системы), но во время больших родовых праздников их всячески изолируют: в обращении с ними чувствуется тогда даже легкое презрение, так как киргиз не уважает людей, затрудняющихся точно указать род, ветвь и колено, от которого происходят он и его близкие»³².

Следует отметить и так называемые *чыгым* и *кошумча* — формы материального участия в устройстве родовых праздников. Чыгым — это материальный вклад родственников и сородичей организатора семейного праздника или родового торжества в его устройство. Кошумча — это подарки и подношения в виде скота, дорогих вещей или денег, которые привозили хозяину сородичи и соплеменники-гости. Кошумча и чыгым шли на угощение для гостей и на призы участникам разнообразных состязаний. Когда-то это были формы родовой взаимопомощи, материальное выражение родового единства.

К концу XIX — началу XX в. киргизское общество уже стало классовым. По мнению П. Погорельского и В. Батракова, аш и той родовыми были лишь в отдаленные времена, когда существовал «допотопный» род, т. е. организация, замкнутая в себе не только экономически, но и идеологически; когда существовала родовая религия (родовой культ) «только для членов рода» и, в частности, культ «предков», когда сородичи собирались на родовое жертвоприношение и празднество³³.

³⁰ И. И. Гродеков. Указ. раб., с. 254.

³¹ Полевые записи автора, № 52, 71, 80.

³² П. Кушнер. Указ. раб., с. 17.

³³ П. Погорельский, В. Батраков. Экономика кочевого аула Киргизстана. М., 1930, с. 162.

К концу XIX в. устройство крупных национальных торжеств носило уже явно выраженный классовый характер, что непосредственным образом сказывалось и на организации народных развлечений. Манапско-байская верхушка узурпировала к этому времени родовое право на празднества и развлечения и использовала его в своих корыстных интересах. Исследователями неоднократно отмечалось, что одной из главных причин, побуждавших баев и манапов устраивать пышные празднества, было неприкрытое стремление к личному обогащению. Собранный скот и подарки, полученные от кошумча и чыгым, далеко не в полной мере шли на угощение гостей и призы победителям игр и состязаний. Значительная часть их умножала стада и другие богатства устроителей праздника. Таким образом, несмотря на большие затраты устроитель пышного торжества в конечном итоге всегда оказывался в выигрыше.

Не последнее место при организации праздников играло стремление феодалов укрепить среди соплеменников свой авторитет, прослыть хранителями и блюстителями родовых традиций, что в конечном итоге служило укреплению политического престижа с вытекающей отсюда возможностью держать в повиновении подвластное тому или иному феодалу население. Крупное торжество часто превращалось в грабеж рядовых скотоводов не только со стороны богача-устроителя, но и богача-гостя. Вот что пишет об этом Д. Айтмамбетов: «Немало мучали «сородичей» баев и манапов приемы во время ашей так называемых «обязательных гостей». Если хозяин юрты, где они останавливались, в чем-то «провинялся», гости даже избивали его. В отдельных случаях дело доходило до того, что под видом мщения за недостойный прием эти обязательные гости тут же садились на коней и отправлялись домой, угоняя по пути скот данного аила»³⁴.

Устройство празднества с многодневным угощением и разнообразными развлечениями и богатыми призами, формальная возможность для каждого киргиза участвовать в этих торжествах, их религиозно-культурное назначение — все это, сохраняя видимость общеродового характера праздника, скрывало от широких масс его эксплуататорскую сущность. Поэтому несмотря на то, что такие празднества буквально разоряли скотоводов, имевших десяток или два баранов, бескотная беднота, только и живущая от праздника к празднику, встречала их криками восторга. «Это большое зло, которое трудно учесть непосвященному, трудно представить такой, на первый взгляд странный, блок полярных групп кочевий»³⁵.

Следуя своим классовым интересам, баи и манапы подчас только создавали видимость того, что они поддерживают обычаи предков. В действительности они часто нарушали традиционный ритуал устройства родовых торжеств. В частности, как отмечает Д. Айтмамбетов, «по народному обычаю, в более ранний период (до середины XIX в.— Г. С.) байга устраивалась исключительно на поминках по покойному, но впоследствии обычай этот стал нарушаться богачами (манапами), устраивающими байгу при всяком благоприятном случае, например по случаю рождения первенца-сына, после удачных выборов и т. д.»³⁶. Часто нарушались и сроки устройства ашей, которые по традиции должны были собираться через год после смерти знатного человека³⁷.

Отклонение от сложившегося ритуала, а также устройство развлечений вне установленных традиций дат в какой-то степени способствовали

³⁴ Д. Айтмамбетов. Указ. раб., с. 185.

³⁵ В. Карп, В. Суслов. Современный кишлак Средней Азии (социально-экономический очерк). Быстрореченская волость Фрунзенского кантона Киргизской АССР, вып. VIII. Фрунзе, 1934, с. 28.

³⁶ Д. Айтмамбетов. Указ. раб., с. 181.

³⁷ Полевые записи автора, № 13 и 21.

освобождению народных развлечений от условностей обрядовости, а следовательно и приводило к более свободному их функционированию. Кроме того, среди манапско-байской верхушки появилось стремление целенаправленно, сознательно культивировать некоторые виды народного спорта. Известны случаи, когда манапы и байы, одержимые спортивным азартом, честолюбивым стремлением непременно выиграть состязание у представителей другого, часто враждебного рода, становились «меченатами» того или иного вида спорта. Они содержали на свои средства наиболее способных борцов, *оодарышыстов* и *эр сайышыстов*, освобождали их от тяжелой работы, кормили, предоставляли возможность часто выступать на крупных состязаниях, снабжали одеждой, лошадьми и необходимым снаряжением. Такие случаи встречались сравнительно часто и несомненно способствовали развитию народных видов спорта. Однако судьба таких спортсменов-профессионалов целиком зависела от прихоти феодала-мечената. И горе было тому из них, кто проигрывал какое-либо важное для патрона состязание.

Главными героями большинства развлечений были люди из народа, в значительной мере определявшие их содержание. Но бедняцкие и середняцкие слои населения не имели материальной, а подчас и моральной возможности самостоятельно устраивать торжества и участвовать во многих видах состязаний согласно сложившейся традиции. Покупка, содержание и тренировка хорошего породистого скакуна, например, требовали значительных материальных средств, которых, естественно, не имела беднота. Приходилось обращаться за помощью к богачу, что подчас вело устроителя праздника к полному разорению, а иногда и закабалению.

*
* *
*

Подведем итог всему сказанному. Киргизские национальные развлечения сформировались на основе скотоводческой кочевой среды. Они прежде всего отвечали интересам производственной, а в более раннее время — восний жизни киргизского общества. Являясь одним из главных средств развлечения и проведения досуга, они составляли существенный компонент народной системы воспитания подрастающего поколения.

Национальные виды развлечений прошли длительный путь исторического развития, в процессе которого многие из атрибутов ритуала, трансформировались в средства развлечения, в средства рационального проведения досуга. Однако процесс этот к началу XX в. не получил окончательного завершения. Многие виды национальных развлечений продолжали сохранять, подчас в пережиточной форме, связь с религиозно-культовым церемониалом и с церемониалом, восходящим к древним формам социальной организации, в частности к древним брачным обрядовым формам. Связь эта проявилась далеко не одинаково, в силу чего все рассматриваемые развлечения можно подразделить на три категории: развлечения-обряды, развлечения, связанные с обрядностью и, наконец, собственно развлечения.

Характерными признаками развлечений обрядов были: продолжавшее сохраняться религиозно- и социально-символическое значение, их строгое функционирование в системе обрядов того или иного религиозного торжества, невозможность их устройства вне системы таких торжеств, наличие строго определенного места в обрядовой системе. В то же время развлечения этой категории имели характер игры, состязания.

Развлечения, связанные с обрядностью, большей частью приурочивались к какому-либо определенному религиозному

празднику. Однако связь эта в конце XIX — начале XX в. была не очень прочной, что выражалось в возможности устраивать их и в другое время. Такие развлечения постепенно утрачивали реальное обрядовое содержание, и их функционирование стало возможным параллельно и вне обрядовой ритуальной сферы.

Собственно развлечения — категория, в которую входят игры, состязания и увеселения, окончательно утратившие связь (а возможно, они и не имели таковой) с ритуальной, обрядовой сферой празднеств. Функционировали они независимо от этой сферы и являлись в полном смысле слова развлечениями, средством рационального проведения досуга и воспитания. Такие развлечения могли устраиваться независимо от того или иного религиозного праздника в любое свободное время. К этой категории относились главным образом детские игры и различные развлечения молодежи.

Связь национальных развлечений с обрядовой стороной — это не единственный фактор, который отрицательно влиял на их развитие, ограничивал возможности их функционирования и воспитательное значение. Губительное воздействие на сферу национальных развлечений оказывали также, с одной стороны, сохранявшиеся патриархально-родовые пережитки, а с другой — классовое расслоение. Патриархально-родовые пережитки вносили в бытование национальных видов развлечений дух местничества, взаимной неприязни и вражды, а также поддерживали существование жестоких традиций и видов развлечений, которые были опасны для человеческой жизни или унижали человеческое достоинство. Классовое расслоение породило заинтересованность феодальной верхушки в использовании национальных развлечений, традиций устройства народных празднеств в своих корыстных эгоистических интересах в качестве средства закабаления и политического подчинения рядовых скотоводов. Имущественное неравенство подчас лишало бедняков возможности участвовать в различных играх и состязаниях.

Устранение всех этих причин было не под силу отсталому патриархально-феодальному обществу кочевников-скотоводов. Для этого понадобилась коренная перестройка всего общественного строя, что стало возможным только с победой Великой Октябрьской социалистической революции.

М. Б. Кенин - Лопсан

К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИЯХ ТУВИНСКИХ ШАМАНОВ

Тувинское шаманство привлекало внимание ряда исследователей, в том числе С. И. Вайнштейна, Л. П. Потапова, В. П. Дьяконовой¹. В их трудах разработаны вопросы специфики и генезиса тувинского шаманства, а также определено его место среди ранних верований тюрко-монгольских народов.

Вместе с тем отдельные стороны тувинского шаманства оказались вне поля зрения исследователей. В частности, при рассмотрении вопросов о наследовании шаманского дара и становлении шаманов отмечалось, что тувинское шаманство было наследственным и что шаманы вели свое происхождение от шамана-предка. В большинстве случаев это было действительно так. Вместе с тем отдельные шаманы утверждали, что приобрели шаманский дар иным путем. Если рассматривать тувинских шаманов с точки зрения путей приобретения ими шаманского дара, то можно выделить несколько групп, которые я считаю возможным рассматривать как отдельные категории шаманов. Вопрос этот представляет несомненный интерес. Для его разработки привлечены материалы шаманского фольклора как опубликованного ранее, так и собранного мною в ходе полевых исследований.

На основании представлений шаманов о своем происхождении, проявляющихся наиболее ярко в их фольклоре, можно выделить три категории шаманов: 1) ведущих свое происхождение от шаманов-предков; 2) ведущих свое происхождение от неба; 3) ведущих свое происхождение от ведьм (албыс).

Рассмотрим каждую из этих категорий.

1. Шаманы, ведущие свое происхождение от шаманов-предков. Подробные сведения о них есть в литературе². Обычно шаманы этой категории знали своего предка в нескольких поколениях. Так, Ф. Я. Кон писал, что почетные потомственные шаманы имеют среди своих предков по 8—10 шаманов, славившихся могуществом, от которых они наследовали определенное количество духов, им подчиненных³. Местный житель В. Ш. Кок-оол рассказывал мне о

¹ С. И. Вайнштейн. Тувинцы-тоджинцы. М., 1961, с. 170—184; *его же*. Тувинское шаманство. М., 1964; *его же*. Происхождение и историческая этнография тувинского народа. Автореф. докт. дис. М., 1969; *его же*. Die Schamanen Trommel der Tuwa und die Zeremonie ihrer «Belebung». — «Glaubenswelt und Folklore der Sibirischen Völker». Budapest, 1969, S. 170—184; *его же*. Встреча с «великим» шаманом. — «Природа», 1975, № 8; Л. П. Потапов. Очерки народного быта тувинцев. М., 1969, с. 346—385; В. П. Дьяконова. Об одной социальной категории иерархии шаманов. — Уч. зап. Тувинского НИИ языка, литературы, истории», (далее — ТНИИЯЛИ), вып. XVI, Кызыл, 1973, с. 222—227; *ее же*. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. Л., 1975, с. 40—84.

² С. И. Вайнштейн. Тувинцы-тоджинцы, с. 176 сл.

³ Ф. Я. Кон. За 50 лет. Экспедиция в Сойотию. М., 1934, с. 73.

своей матери — знаменитой шаманке Ондар Долчан (умерла в 1934 г.): «Она гордилась тем, что камлала в течение пятидесяти лет и что у нее были шаманы-предки в трех поколениях».

Аналогичное явление характерно также для шаманства ряда других народов Сибири. Так, по сведениям бурятского ученого Т. М. Михайлова, известные бурятские шаманы знали своих предков-шаманов в 14—15 поколений⁴.

Обычно перед началом камлания шаманы этой категории обязательно обращались с традиционными призываниями к своим предкам. Приведу характерное начало призываний «великого» потомственного тувинского шамана Ооржака Шокара из Барун-Хемчикского района Западной Тувы. Восхваляя свою силу, он упоминает и своего могучего предка:

Я — шаман, я — царь всех шаманов,
Я — наследник шамана Каралбай,
Я живу в середине царского моря,
Я слышу царем всех шаманов⁵.

Приведу еще один пример шаманских призываний из материалов, собранных в Туве в конце XIX в. Н. Ф. Катановым. «О мой дед Сыккы-шаман, шаманивший кругом в верховьях Аянгаты! Подойди ближе и побеседуй! Дай мне бодрости! Дай мне мужества, о мой дед! О мой дед, шаманивший кругом в верховьях Мунгачака! Шаманивший вверх по Чыланнугу и вниз по Тюнгулчеку, по левому берегу Ак-Суга»⁶.

2. Шаманы, ведущие свое происхождение от неба (от небожителей). К этой категории принадлежали главным образом шаманы, использовавшие во время камланий различные фокусы, которые должны были убедить окружающих в их особой силе.

Характерные обращения таких шаманов к небу записал Н. Ф. Катанов. «О мой родитель небо, владыко! Еще раз, о владыко! О мать моя земля, помилуй меня!»⁷. «Питай нас, царь милостливый! Я — поколение небесных обитателей! Стой возле меня, о царь милостливый, смотрящий прямо в лицо! О великий Танну, царь милостливый! О белый Алаш (река), царь милостливый!»⁸.

Некоторые сведения об этих шаманах привела также В. П. Дьяконова, которая считала, что они находились на вершине иерархии шаманов⁹.

Один из моих информаторов (Монгуш Бора-хоо, 1892—1970) рассказал, что в Дзун-Хемчикском районе в начале XX в. жил знаменитый шаман Донгак Кайгал, который утверждал, что вышел из племени Хоорлар, живущего на небесах. Его приглашали лечить тяжелобольных в самые разные места Тувы. Существует предание, что однажды он был приглашен на берег р. Алаш, где вступил в спор со знаменитым шаманом той местности. Будто бы шаман из Алаша признался, что шаман Кайгал очень силен, так как он из рода небесных хоорларов. «Когда я совершаю нападение сверху на него, он превращается в пылинки и падает сквозь землю. Когда я нападаю на него снизу, он

⁴ Т. М. Михайлов. Опыт классификации шаманского фольклора бурят. — «Доклад на VIII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук. Токио, сентябрь, 1968». М., 1968, с. 6.

⁵ Рук. фонд ТНИИЯЛИ, Материалы фольклорной экспедиции в Барун-Хемчикский район, проведенной летом 1967 г., т. 57, д. 250, л. 11, 12.

⁶ Н. Ф. Катанов. Образцы народной литературы тюркских племен. Ч. IX. СПб., 1907, с. 167.

⁷ Н. Ф. Катанов. Указ. раб., с. 166.

⁸ Там же, с. 142.

⁹ В. П. Дьяконова. Об одной социальной категории иерархии шаманов, с. 227.

превращается в синий дым и поднимается в небеса. Никак не могу поймать шамана Кайгала. Мне пришлось добраться до его аала и убить выстрелом его маралуху с мараленком. И так я вернулся домой, а когда шаман Донгак Кайгал после спора возвращался в свой аал, то его жена умерла при родах младенца»¹⁰. После смерти Кайгала возникла легенда, что его бубен будто бы посещал родной край с прощальным звоном.

3. Шаманы, ведущие свое происхождение от ведьмы «албыс», называются «ук чок хамнар», т. е. «шаманы без рода».

Шаманы этой категории в своих призываниях во время камланий обращаются к албыс, которых они считают своими предками:

Ведьмы — вы, мои родители,
Приглашаю вас приблизиться,
Будем здороваться дружно,
Будем пить воду из источника Аржаан¹¹.

Албыс, по представлениям верующих тувинцев, чаще всего имеет вид страшной женщины, но может принимать и облик мужчины; живет, по сведениям одних информаторов, там, где крутые яры и ущелья, по сведениям других — предпочитает находиться в песчаных местах. Иногда превращается в красивую девушку, чтобы соблазнить мужчин и вселиться в них. Ф. Кон писал, что, по сведениям его информаторов, албыс живет вне человека, а овладевает им, и внутри. Мужчине она представляется красавицей, женщине — красавцем. Кону рассказывали, будто бы одному тувинцу пришлось ночевать в песчаной местности по р. Элегест. Во время этой ночевки к нему явилась красавица-девушка, как впоследствии, оказалось — албыс, соблазнила его, и он имел с ней связь, после которой он как бы забыл все на свете и домой не возвращался. Его с трудом нашли и изгнали албыс дымом¹². Некоторые шаманы ссылались на то, что именно албыс сделала их шаманами.

Один из информаторов рассказал мне легенду о том, что весной, когда тает снег и появляются травы, одинокий человек, попав в глухую местность, неожиданно чувствует усталость и ложится отдыхать. В это время к нему, крепко спящему, подходит ведьма (албыс). Сначала она слушает сердце спящего, затем ловит его душу и уносит ее в свое жилище. Человек, ставший жертвой ведьмы, сразу заболевает: часто падает в обморок, становится рассеянным, иногда сходит с ума. Однако большие шаманы, совершая камлания, отвоевывают душу больного и таким образом спасают ему жизнь. Борьба завершается тем, что спасенного они превращают в шамана.

«Большим» шаманом, ведущим происхождение от албыс, был, например, Донгак Угээнчик, уроженец местности Торгалы Овюрского района (умер в 1921 г.). Его называли Хюндюс-Хамнаар (Дневной шаман), потому что он камлал только днем — очень редкий случай в практике тувинских шаманов, которые в основном камлают ночью.

Куулар Чанзан-оол (род. в 1901 г.) рассказал мне интересную легенду о шамане, ведущем свое происхождение от албыс: «Жил шаман Куулар Тогдугаш в Суг-Бажы возле устья Аянгаты Барун-Хемчикского района. Он говорил о себе: „Я — шаман из рода ведьм. Я ходил по гальке, где было старое русло. Мне навстречу вдруг явились две красавицы. Незаметно я оказался между них. Они мигом накрылись песком. Потом я почувствовал, что лежу в объятиях красавиц, крепко спящих. И так мы втроем спали на песчаной земле. Проснувшись, те

¹⁰ Записано нами от Монгуш Бора-хоо.

¹¹ Записано нами от В. Ш. Кок-оол.

¹² Ф. Кон. Указ. раб., с. 63.

две красавицы-девицы привели меня к высокому яру Суг-Бажы. Там стоял большой аал, в котором жила целая группа албыс. Они сварили чай очень желтого цвета. Каждая албыс сама доила свою грудь, которую можно было перекинуть через плечо. Сварили чай с грудным молоком албыс и все его пили. Затем две красавицы привели меня туда, где высокий песчаный берег Элезин-Чарык. Я видел, что каждая из албыс сама доила свою грудь, молоко которой сама же наливала в горячий чай, который мы снова пили. Потом две красавицы меня привели на крутой берег Улуг-Юзюк. Остановившись, они подоили грудь, которую можно перекинуть через плечо. Тут тоже варили чай и мы втроем выпили его. Потом я простился с двумя красавицами и возвратился домой. Порою те две албыс приходили в наш аал. Они видны были только моим глазам. Простые смертные не могли видеть их появления. Я вооружился шаманскими атрибутами и начал камлать. Меня никто не учил слагать шаманские песни, потому что я вышел из племени албыс. Кто сошел с ума, у кого болит сердце, у кого сильная болтовня, я сумел их излечить, потому что я родом из племени албыс“».

Есть некоторые основания полагать, что, исходя из особенностей становления тувинских шаманов, среди них могут быть выделены и другие категории. Вопрос о категориях тувинских шаманов требует дальнейшего изучения. Я надеюсь, что мое сообщение на эту тему привлечет внимание исследователей истории ранних форм верований тувинцев.

Ю. Г. Круглов

КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ И ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Фольклорными экспедициями МГУ в 60—70-х годах собран громадный материал, который позволяет детально изучить жизнь традиционного народного творчества в современных условиях. Большую ценность среди этих материалов представляют записи календарного фольклора, по сравнению с другими видами устной народной поэзии ранее записывавшегося довольно редко. В данной работе хотелось бы более детально, чем это было уже сделано в отчетных статьях руководителей некоторых экспедиций¹, исследовать бытование календарного фольклора в Калужской области². Так как календарная поэзия тесно связана с обрядами и в определенной мере обусловлена ими, анализ следует начать именно с них.

В настоящее время в исследуемом регионе зафиксированы не все календарные обряды. О некоторых из них собраны лишь отрывочные сведения. Мало, например, данных о весенних и жнивных обрядах. Так, записаны тексты только двух веснянок:

а) — Жаворонок, жаворонок,
Где твой дитеночек?
— Мой дитеночек за лесом
Привязанный поясом!³

б) — Жаворонки, жаворонки,
Летите из-за моря!
Несите кус здоровья,
Мы вам посошочек,
А вы нам денег мешочек!⁴

Зафиксирована лишь одна жнивная песня, которую исполняли после жатвы. «Катались со снопом по полю и приговаривали»:

¹ См. Л. А. Астафьева-Скалбергс. Некоторые наблюдения над современным состоянием народно-поэтического творчества в Калужской области. — «Вестник Московского государственного университета (далее — «Вестник МГУ»», 1969, № 4, филология; Ю. Г. Круглов, А. В. Кулагина, Л. А. Морозова. Современное бытование фольклора в Калужской области. — «Вестник МГУ», 1971, № 5, филология; Ю. Г. Круглов, А. В. Кулагина, Е. И. Токарева. Современное состояние фольклора в Калужской области. — «Вестник МГУ», 1973, № 1, филология; Р. Г. Бородько, Ю. Г. Круглов, Е. И. Яцунок. Современное бытование фольклора в Калужской области. — «Вестник МГУ», 1975, № 4, филология.

² По материалам фольклорной практики кафедры фольклора МГУ в Калужскую область (Медынский, Малоярославецкий, Калужский, Юхновский, Козельский, Людиновский районы) в 1963—1973 гг. Руководили экспедициями В. П. Аникин, Л. А. Астафьева, А. В. Кулагина, Л. А. Морозова, Т. Ф. Пирожкова, Ф. М. Селиванов, Е. И. Токарева и автор данной статьи; см. также Ф. М. Селиванов. О проведении фольклорной практики на филологическом факультете МГУ. — «Вестник МГУ», 1974, № 3, филология.

³ Записано от Н. Е. Степановой, 66 л., дер. Дол Козельского р-на. Архив кафедры фольклора МГУ (далее — АКФ МГУ), 1970, группа А. П. Морозовой, тетрадь 3, № 219.

⁴ Записано от А. Г. Кузнецовой, 75 л., с. Корекозеево Калужского р-на. АКФ МГУ, 1964, группа В. П. Аникина, т. 3, № 53.

— Жнивка, жнивка,
Отдай свою силку
На яровую жнивку,
На медвежью спинку:
Медвежья сила,
Заячья ловкость!»⁵

Слабо представлены троицкие обряды. В памяти старшего поколения сохранились лишь воспоминания о плетении венков, гадании по ним и пении лирической песни «Беседушка». Была записана также близкая по тематике к троицким обрядам песня, в которой девушка заклинала милого не забывать ее (песня была приурочена к троице):

Сорву цветок, совью венок
Сво[е]му же я дружку на головушку,
Сво[е]му я дружку на головушку:
— Носи, милый, носи, не скидывай,
Люби, милый, люби, не забывай!»⁶

Наиболее долговечным оказалось гадание по венкам. Так, М. И. Зинуква (76 лет, с. Косичино Людиновского р-на) рассказывала, что в 1972 г. несколько старушек, в том числе и она, ходили на троицу гадать. У одной из них «венки утонул, а она живет себе и до сего дня». Молодежь и среднее поколение в этом обряде участия не принимали⁷.

Отрывочны сведения и о других обрядах. В вознесенье, как сообщила нам А. Е. Ромашкина (70 лет, дер. Каменка Козельского р-на), девушки в старые времена ходили к барыне, просили у нее коробку и куклу и отправлялись с парнями на какое-нибудь открытое место за деревней или на большую поляну в лесу. Здесь они вили венки, водили хороводы, готовили яичницу. Затем вырывали ямку и укладывали в нее венки и куклу в коробке. Это называлось «похоронить кукушку». Вокруг ямки парни и девушки, взявшись за руки, водили хоровод, а в его середине разыгрывалась сценка: добрый молодец и красная девица с платочками в руках сходились, кланялись, приветствуя друг друга взмахом платков, и расходились⁸.

Но в некоторых деревнях еще и в наше время сохранились, а кое-где возродились некоторые элементы старинных обрядов. Это связано с рядом причин, из которых можно выделить две главные. Во-первых, в последние годы наблюдается все усиливающийся интерес общности к обрядам и фольклору, во-вторых, старые люди любят вспоминать и между собой, и в кругу среднего, а также младшего поколений свою молодость, а значит — обряды и сопровождавший их фольклор.

Пожалуй, наиболее активно до последнего времени в той форме, в какой их исполняли раньше, бытовали только обряды, связанные с Петровым днем. Наше пребывание в Козельском районе в 1972 г. (а только здесь и зафиксированы «петровки») совпало с их празднованием. Поэтому наши впечатления — это впечатления очевидцев и в какой-то мере участников.

Подготовка к Петрову дню начинается задолго до праздника. Примерно за неделю до него в любом разговоре всплывает тема «петровок» и воспоминания о том, как весело они проходили в прошедшем

⁵ Записано от А. И. Ведуниной, 60 л., с. Корекозеево Калужского р-на. АКФ МГУ, 1964, группа В. П. Аникина, т. 3, № 138.

⁶ Там же, № 8.

⁷ АКФ МГУ, 1972, группа Ю. Г. Круглова, т. 2, № 26.

⁸ АКФ МГУ, 1971, группа Е. И. Токаревой, т. 5, № 2.

году. Создается, таким образом, определенная атмосфера. Особенно оживлены дети и подростки. Дело в том, что календарным этот праздник можно назвать лишь условно (по времени приуроченности). Никакого магического, хозяйственного значения он теперь не имеет. На первом плане — развлечения, часто нарушающие нормы общественного поведения. Праздник, в котором участвуют ряженные, начинается вечером накануне Петрова дня. В 1971 г., например, в дер. Каменки ходила по улицам толпа во главе с ряженой «старухой», а в дер. Киреевской было трое ряженных: «старик», «старуха» и «солдат». Ряженные обычно идут впереди толпы, разыгрывают «сценки», бьют шута того, кто попадется «под палку», пристают порой с очень нескромными шуточками к прохожим⁹, стучат в окна и двери домов, пляшут, поют, в основном частушки — сатирические, шуточные и эротического характера, которые подхватывают сопровождающие. Исполняются также песни. Есть группа песен, которые поют только в «петровки», хотя по своей жанровой принадлежности они представляют собой типичные плясовые, шуточные или лирические. Например, в дер. Киреевская Козельского р-на особой популярностью пользуется песня «Ты Егор, ты Егорушка, раскудрявая головушка» — плясовая как по содержанию, так и по напеву.

Интересно музыкальное сопровождение празднества. Шум, грохот — неотъемлемая его черта. По косам, тазам, ведрам бьют каким-нибудь металлическим предметом, чаще всего напильником. Частушки распевают под гармонь или без музыкального сопровождения.

Около полуночи все обычно начинают расходиться; молодые люди заходят в чужие огороды, пробивают у ведер на колодцах днища, рассыпают дрова, замазывают дымовые трубы и совершают другие «хулиганские» поступки, на которые пострадавшие реагируют снисходительно¹⁰.

По-видимому, и раньше «петровки» праздновались в Козельском районе как веселый, игровой праздник-карнавал. Н. Т. Корнеева (80 лет, дер. Курыничи Козельского р-на) вспоминала, например: «Ух, батюшки, весело бывало. И как только не городили: то трубу замажут, то дверь чем завалят... Раньше и стекла мазали какой-то дрянью, все окно залепляли. Ну, а чтоб солнце утром лентой разбрасывало, сама не видала, но люди, говорят, видели...»¹¹.

Следует сказать, что «петровки» отмечаются далеко не во всех деревнях Козельского района, хотя в каждой живы воспоминания о них. Даже там, где эта традиция сохранилась, она начинает разрушаться. И это — общая судьба календарных обрядов, так как патриархальный быт, служивший для них почвой, безвозвратно ушел в прошлое. О тех же самых «петровках» П. Т. Потапова (64 г., дер. Каменка Козельского р-на) рассказывала: «Вся деревня раньше играла. Но это отпало давно... Да и незачем»¹².

Лучше всего сохранились воспоминания о святках и масленице; поэтому и обрядовый фольклор, связанный с ними, представлен наиболее интересным материалом: записаны колядки, подблюдные, игровые святочные и масленичные песни. Отметим два интересных факта их бытования: 1) весь материал в основном был записан в Калужском, Козельском и Людиновском районах; на севере области — в Медынском и Малоярославецком районах — сделаны лишь случайные записи; это говорит о том, что обрядовый фольклор сохранился лучше на юге

⁹ Как правило, ряженные на протяжении всего праздника стараются сохранить свое инкогнито.

¹⁰ См.: АКФ МГУ, 1971, группа Ю. Г. Круглова, т. 3, № 13—18.

¹¹ АКФ МГУ, 1971, группа Е. И. Токаревой, т. 1, № 117.

¹² Там же, № 71.

области; 2) подблюдные песни были зафиксированы лишь в Козельском и Людиновском районах, причем особенно много записей было сделано в Козельском районе.

Степень сохранности обрядового фольклора различна. Игровые святочные и масленичные песни записаны только как воспоминания, колядки же и подблюдные песни в некоторых деревнях еще исполняются. Последнее можно объяснить только тем, что эти песни сохранили свое игровое значение для подростков. Можно даже сказать: именно благодаря детям незатейливые песенки и заклички бытуют еще в некоторых деревнях активно. Пример тому — колядки.

Большое место в колядках, как известно, занимает образ Коляды. Интересно, что о Коляде сложены рассказы, в которых она предстает в образе высокой женщины в белом платье с большой палкой в руке. «Шел парень от невесты своей из другой деревни, — рассказывала в дер. Каменка Козельского р-на М. А. Рожкова (60 лет), — глядь, а за ним здоровая, высокая в белом женщина. Бежит подкованная, палкой махает. И ему, парню-то, говорит:

— Доходишься у меня по этой дорожке!

Парень на следующий день опять идет, да нож с собой взял. Больше не пришла, ведь он же с ножом был!...»¹³.

В дер. Куява Людиновского р-на колядующие ходили по дворам и исполняли колядки за вознаграждение. Требовали они его решительно, с вызовом. Колядки так и начинаются — с просьбы о вознаграждении:

А мать праведная, а грудь каменная!
Подай сала кусок, чтобы боров был высок!
Во всю сумочку холста трубочку!
Не ломай и не режь — а то сумку раздерешь!
Давайте полосу — а я домой понесу!¹⁴

Там же была записана и другая колядка, на которую, несомненно, повлиял церковный обряд «славления Христа»:

Я приехал Христа славить,
Некуда лошади поставить!
Дайте лошади сенца,
А мене серебрца!¹⁵

Колядка была исполнена Л. Червяковой (12 лет). Аналогичная колядка записана от М. И. Зинуковой (76 лет, с. Косичино Людиновского р-на)¹⁶. Преемственность традиции, таким образом, налицо. По признанию Л. Червяковой, знает она колядку благодаря подружкам.

Итак, старые колядки помнят, они приурочены, как и прежде, к празднованию Нового года. Но бытование в детской среде вызвало к жизни новые «колядки», в которых магическое начало исчезло и, хотя просьба о подаении осталась, появились новые персонажи: «мальчишки», «девочки», «бабушки», новые атрибуты: «штанишки», «деньги» и пр. Нельзя не заметить зависимости новых «колядок» от детского фольклора, в частности от считалок. А. Г. Зинукова (62 г., с. Косичино Людиновского р-на), например, вспомнила такую «колядку»:

¹³ АКФ МГУ, 1971, группа Е. И. Токаревой, т. 1, № 7.

¹⁴ Записано от Е. Т. Новиковой, 62 л., дер. Куява Людиновского р-на. АКФ МГУ, 1972, группа Ю. Г. Круглова, т. 5, № 150.

¹⁵ Там же, т. 6, № 70.

¹⁶ Там же, т. 2, № 34.

Мальчик — мальчик
Побег в чуланчик,
Бабушка захватила,
Штанишки подарила,
Бабушка, дай рупь,
Стаканчик круп! ¹⁷

Две подобного типа «колядки» были записаны и от Оли Пчелкиной (8 лет) в дер. Куява Людиновского р-на. Одна колядка исполняется девочкой, другая — мальчиком (опять черта, чуждая традиционным колядкам, исполнявшимся обыкновенно хором или, по крайней мере, одним человеком от первого лица множественного числа). Вот «колядка», которую обычно исполняет девочка:

Я, маленькая девочка,
Села на тарелочку,
Тарелочка — хруп,
Дайте мне рупь!

По-другому колядует мальчик:

Я, маленький мальчик,
Сяду на диванчик,
Шалочку под бочок,
Дайте мне пяточок! ¹⁸

Сложен вопрос о бытовании подблюдных песен, в прошлом, по-видимому, активно бытовавших в Козельском и Людиновском районах. И хотя традиция использования этих песен сейчас исчезла, записано их все же немало. Объясняется это тем, что исполнители их хорошо помнят.

На святках были и другие виды гадания. Е. Л. Выборнова (40 лет, дер. Васильевка Козельского р-на) рассказала, например, что еще в конце 1940-х годов некоторые девушки на святки «бросали через дом валенки, ботинки. Куда носок укажет, оттуда жених будет», «ложились в снег: наутро если вмятина хворостинами побита — муж будет бить, а если туда воды нальют, муж будет пить сильно»; «под окнами бегали, спрашивали, как суженого будут звать» ¹⁹.

«Под рождество, — по словам М. А. Рожковой (дер. Каменка того же района), — клали под подушку расческу и говорили: «Суженый-ряженый, приходи ко мне голову чесать!». Или охватывали руками изгородь. Коли парное число кольев, выйдешь замуж, если непарное — не выйдешь в этот год» ²⁰.

На святочных вечерах молодежь пела песни и частушки, плясала, танцевала, рядилась, играла. Но репертуар был тот же, что и на масленицу, на троицу и в Петров день. Специфическим для новогодних праздников в Калужской области было только исполнение так называемых «поцелуйных» игровых песен (в других местах они могли петься и в иные праздники). Эти песни были связаны с популярной игрой, может быть, когда-то в древности и имевшей магическое значение. Парни и девушки садились в круг, в центре которого ходили «добрый молодец» или «красная девица». Брали у кого-нибудь из участников игры кольцо или перстень и под пение песни «Я золото хороню, я серебро

¹⁷ АКФ МГУ, 1972, группа Ю. Г. Круглова, т. 4, № 33.

¹⁸ Там же, т. 5, № 174, 175.

¹⁹ АКФ МГУ, 1971, группа Е. И. Токаревой, т. 5, № 118, 123.

²⁰ Там же, т. 1, № 24.

хороню» передавали его друг другу за спинами. Стоящий в кругу участник игры под исполнение уже собственно «поцелуйной» песенки должен был угадать, у кого находится кольцо или перстень. Если ему это удавалось, то в центр круга по требованию играющих выходили девушка и парень (в зависимости от того, кто в нем ранее находился). Вошедший в круг целовался с ведущим, после чего в круг выходил тот, у кого было обнаружено кольцо или перстень.

Записанные игровые песни интересны как по содержанию, так и по построению. Они двучленны: одна часть — основная — рассказывает о каком-нибудь событии, другая — заключительная — формулирует «приказ» о поцелуе:

Не летает сокол на улице —
Ходит молодец по горнице:
— Я не я ль, молодец,
Удалая голова!
Берет барышню за ручку,
Споклоняется низенько,
Расцелуются милешенько! ²¹

Сравнительный анализ игровых «поцелуйных» песен показывает, что по происхождению многие из них связаны с другими жанрами фольклора, и это объясняет как разнообразие их тематики, так и различный эмоциональный тон. Приведенная выше песня дерекликается с величальными свадебными песнями, а цитируемая ниже в первой своей части является частушкой:

Дайте, дайте погулять,
Дайте ей повольничать,
На нее скоро оденут
Розовый повойничек!
Если любишь — поцелуешь
А не любишь — отвернись! ²²

Исполнение игровых песен в послевоенное время не зафиксировано.

Судьба игровых «поцелуйных» песен напоминает судьбу масленичных песен. До сих пор живы воспоминания о масленице в калужских деревнях.

«Бывалочи, на нашем погребѣ стоит чучело, — рассказывала Н. В. Хапугина (60 лет, дер. Песочня Калужского р-на). — Баба в паневе, корсетка, расшитая рубашка в бантах. В конце недели собирается толпа на похороны масленицы. Один дядька наряжается попом, берет лапотъ, хлопья ото льна напихает в него и зажжет. И несет, как кадило. И припевает вроде частушки:

У бедного на столе ложки,
У богатого на столе плошки!
Удивительно, удивительно, удивительно!

А потом чучелу кладут на носилки, несут по деревне [за околицу], тут вытрясают и зажигают...» ²³.

А в дер. Корекозево Калужского р-на вместо чучела лентами и разноцветными кушаками украшали срубленную в лесу елку. В субботу

²¹ Записано от Е. И. Шмаковой, 80 л., с. Каменка Козельского р-на. АКФ МГУ, 1971, группа Е. И. Токаревой, т. 3, № 7.

²² Записано от Т. Е. Кузнецовой, 68 л., дер. Горлово Медынского р-на. АКФ МГУ, 1970, группа Ю. Г. Круглова, т. 3, № 34.

²³ АКФ МГУ, 1968, группа Л. А. Астафьевой, т. 1, № 26.

обычно опедали «молодых». В воскресенье же, как и повсюду, родственники ходили друг к другу в гости и, целуясь, просили прощения за нанесенные в прошедшем году обиды²⁴.

М. А. Рожкова (дер. Каменка Козельского р-на) вспомнила, что на масленицу катались с горы на донцах (сидения от прялки). Человек пять садились на разные донца и одновременно отталкивались: «которая дальше уедет, дальше и замуж выйдет»²⁵. В дер. Васильевка Козельского р-на, по словам Е. Л. Выборновой, существовало другое объяснение этого катания: «Кто дальше укатится, тот лучше прясть будет...»²⁶.

Большой интерес представляют масленичные песни, по содержанию которых можно проследить ход праздника и обряды. Приведем в качестве примера некоторые тексты. В начале масленичной недели пели:

Ой, да вот масленица на двор въезжает,
Да, широкая на двор въезжает:
— Да вот, масленица, иди поскорее!
Да, широкая, иди поскорее!
— Мои девушки, рада бы скорее,
Мои красные, рада бы скорее!
— Да вот, масленица, кого же ты боишься,
Да, широкая, кого же ты боишься?
— Мон девушки, я поста боюся,
Мои красные, я большого боюся! и т. д.²⁷

В середине праздника пели по-другому:

Масленая подкургузка!
Встретили мы тебя со блинами,
Ой, со блинами, люли, со блинами!
Ой, масленая полизуха,
Ой, полизуха, люли, полизуха!
Полизала сыры — масла,
Ой, сыры — масла, люли, сыры — масла!
Полизала, ой, не сказала,
Ой, не сказала, люли, не сказала!
Встрели ж мы тебя со блинами,
Ой, со блинами, люли, со блинами!
Проводим тебя сухарями,
Ой, сухарями, люли, сухарями!
Масленая, ох, неделечка,
Ой, неделечка, люли, неделечка!
Остается два денечка,
Ой, два денечка, люли, два денечка!²⁸

И в конце масленичной недели — в воскресенье вечером — пели:

Да вот масленица со двора съезжает,
Да, кургузая, с широкого подворья съезжает,
Ее девушки провожают,

²⁴ АКФ МГУ, 1964, группа В. П. Аникина, т. 3, № 17.

²⁵ АКФ МГУ, 1971, группа Е. И. Токаревой, т. 1, № 21.

²⁶ Там же, т. 5, № 120.

²⁷ Записано от А. Г. Кузнецовой, 75 л., с. Корекозеве Калужского р-на. АКФ МГУ, 1964, группа В. П. Аникина, т. 3, № 51.

²⁸ Записано от К. С. Булатовой, 45 л., с. Вербежичи Людинового р-на. АКФ МГУ, 1972, группа Ю. Г. Круглова, т. 4, № 84.

Ее красные, ох, провожают:
 — Ох, ты вот, масленица, ты поста не бойся,
 Да, кургузая, ты поста не бойся!
 — Мои девушки, как мне не бояться,
 Мои красные, как мне не бояться!
 — Да вот, масленица, [он] на крутой горке,
 Да, кургузая, на крутой на горке!
 — Да вот, девушки, в хате на полке,
 Мои красные, ох, в хате на полке!²⁹

Некоторые записи представляют собой художественно полноценные контаминации собственно масленичных песен с лирическими протяжными. В них рисуются различные картины праздника. В других контаминациях нет такой органической связи, но примечательна их стабильность: и в Вербежицах, и в Куяве, и в Думлово, и в Косичино Людиновского р-на записана, например, во многих вариантах контаминация масленичной песни с лирической протяжной «Взойду я на горку...», в которой рассказывается о том, как девушка зовет брата-соловейку к себе в гости, но брат отказывается, мотивируя это тем, что когда приезжает к ней по приглашению, то ее дома нет, а когда бывает, то плачет. Содержание песни в таком виде совершенно непонятно, не удастся его «прояснить» и по иным вариантам, в которых к ней прибавляются еще и другие песни или отрывки. Так, Е. И. Калмыкова после песни о «братце-соловейке» спела дальше о паве, которая «в зеленых лугах свила гнездышко, снесла три яичка» и далее:

Вывела пава три сыночка:
 Первый сыночек — пастушок,
 А другой сыночек — пахаречек;
 Третий сыночек — бондаречек;
 Пастух в поле похлестывает,
 Пахарь в клину понукивает,
 Бондарь в лесе постукивает!³⁰

Песня эта еще ждет своего исследователя. Может быть, в том виде, в каком ее спела нам Е. И. Калмыкова, она едина по своему замыслу и отражает древний мотив инцеста? Очень уж постоянные здесь персонажи — брат и сестра. Однако есть еще два интересных варианта, объясняющих отношения брата и сестры более просто. В одном из них сестра зовет к себе в гости братца, а он не хочет к ней прийти, потому что она много плачет и вспоминает умерших батюшку с матушкой, а ему тяжело видеть ее плачущей. В другом варианте мотивировка отказа брата иная — это обида за лицемерие сестры: придя к ней в гости, он видит ее плачущей, но знает, что после его ухода она скачет от радости.

Масленичные песни-контаминации, как можно видеть, не всегда изображают сам праздник. Масленица упоминается в них только как деталь, указывающая на время событий, о которых повествуется. Так, в песне «А масленая ты моя» рассказывается о том, что в этот праздник женщина не пекала блинов, не ела сыр и вообще не была дома, а стояла на горке и видела, как мимо провели коня ее мужа — война сделала женщину вдовой. В большинстве же песен, названных исполнителями масленичными, о масленице даже и речи нет: это лирические протяжные песни.

²⁹ Записано от А. Г. Кузнецовой, 75 л., с. Корекозеево Калужского р-на. АКФ МГУ, 1964, группа В. П. Аникина, т. 3, № 52.

³⁰ Записано от Е. И. Калмыковой, 72 г., с. Косичино Людиновского р-на. АКФ МГУ, 1972, группа Ю. Г. Круглова, т. 10, № 21.

Как уже говорилось, масленичные песни были записаны преимущественно в Людиновском районе и, как правило, от местных старожилов. Но сейчас они не исполняются. Люди старшего поколения (всем, от кого были записаны песни, как правило, более 50 лет) хорошо помнят их (сами до войны каждый год пели), но не поют, так как после войны «некогда было», теперь же «обстановка не та».

Записано также большое количество хороводных песен, хотя в деревнях хороводов уже не водят. По-разному называют и время, когда их водили в последний раз. Самый ранний срок — «еще до революции, а потом уже забыли», самый поздний — первые послевоенные годы.

Наиболее часто записывались как хороводные следующие песни: «Распашу я, распашу я пашенку», «Посеяли девки лен», «Корость по лесу ходил, перепелушек ловил», «Не стекай, вода, с гор по камушкам», «Как по лугу, лугу гуляет молодчик», «Эй, из-за лесикү шли-прошли два молодца», «Во лужках ходят девки, во кружках», «Вы мне позвольте вдоль по улице пройти», «Приубрался наш Ванюшка в суконную поддевку», «Никогда нашу Катюшу не разбиравал хмелек», «Как киреевские ребята день работу работали», «Следы мои, следы, довели до горюшка, до беды», «Как у нас нонче, ребята, холодна зря была», «Холодна зима проходит» и др.

Тематика этих песен разнообразна. Есть песни, рассказывающие о трудовых процессах, о семейных отношениях, о любви (последних записано больше всего). Чем объяснить такое количество записей хороводных песен? Тем, что хороводные песни, утратив свою исконную форму бытования, исполняются сейчас как лирические застольные — во время праздничных гуляний, свадеб и др. И в этом нет ничего удивительного: хороводные песни по своему содержанию близки лирическим, и мы знаем много случаев, когда исполнители в одних местах называли одну и ту же песню то хороводной, то «досельной», «протяжной», «долгой» — т. е. лирической. Хороводная песня, несмотря на исчезновение хороводов, продолжает жить в репертуаре певцов старшего, а иногда и среднего возраста.

Итак, в заключение обзора сделаем некоторые выводы.

1. За редким исключением (речь идет в основном о «петровках»), календарные обряды исчезли из быта.

2. Календарная поэзия, сопровождавшая исчезнувшие обряды, в основном также ушла в прошлое.

3. Время окончательного разрушения обрядовой традиции различно как для обрядов, так и для поэзии; в одних случаях это конец XIX — начало XX в., в других — предвоенные десятилетия, в третьих — послевоенные годы; некоторые жанры, в зависимости от сохранности традиций, могли исчезать из быта в разных местностях в различное время.

4. Отдельные жанры календарной поэзии продолжают бытовать (но не повсеместно!): это колядки и хороводные песни; колядки, исполняющиеся детьми, подверглись сильной модификации, хороводные песни изменили форму своего бытования.

5. По-видимому, сравнительно большое количество записей календарной поэзии можно объяснить тем, что в современных условиях собиратели записывают часто то, что активно уже не бытует. Память исполнителей хранит еще многие образцы традиционного народного искусства, в том числе и календарной поэзии, что при определенных обстоятельствах и может породить ошибочное мнение об их активном бытовании.

Н. А. Криничная

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕДАНИЙ О «ЗАЧАРОВАННЫХ КЛАДАХ»

(ПО МАТЕРИАЛАМ РУССКИХ СЕВЕРНЫХ ПРЕДАНИЙ)

В составе цикла преданий о кладах¹ могут быть определены, на наш взгляд, четыре структурно-хронологических разновидности: 1) предания о так называемых «зачарованных кладах»; 2) предания о «кладах» — ценных вещах из погребального инвентаря; 3) предания о кладах, порожденные социально-утопическими иллюзиями крестьянства, в силу которых обретение клада расценивается как один из возможных способов избавления от нужды²; 4) предания о кладах реальных, имеющих утилитарное назначение.

Указанный цикл в совокупности имеет свою историю изучения.

Ему посвящено несколько небольших работ, которые заключают в себе преимущественно изложение фактического материала и в определенной степени содержат элементы синхронного изучения преданий о кладах³.

В монографии В. К. Соколовой «Русские исторические предания» дается чрезвычайно интересная характеристика основных разновидностей и сюжетного состава преданий и быличек о кладах, причем эта характеристика дается на основе широкого сравнительного материала⁴; вопрос же о генезисе той или иной разновидности преданий о кладах в названной работе не поднимается.

Цель нашей статьи — наметить (хотя бы в общих чертах) пути диахронного исследования одной из типологических разновидностей указанного цикла, а именно — преданий о «зачарованных кладах», причем в основу исследования положены тексты, которые составляют один из разделов в недавно подготовленном нами сборнике «Северные предания (Беломорско-Обонежский регион)» (имеются в виду предания Карелии и прилегающих к ней местностей).

Анализ интересующего нас типа преданий мы начнем с постановки вопроса: кем может быть положен так называемый «зачарованный

¹ Границы между преданиями и быличками о кладах зачастую носят условный характер, и отнесение этих произведений к конкретному жанру зависит от наличия или отсутствия в них достаточно ясно выраженной исторической основы.

² Характер этих представлений со всей полнотой раскрыт в труде К. В. Чистова «Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв.» М., 1967.

³ Н. Я. Аристов. Предания о кладах. — «Записки РГО по отделению этнографии», т. I. СПб., 1867, с. 709—739; В. Н. Витевский. Клады и кладоискание на Руси. Казань, 1893; Георгиевский. Взгляды народа на клады. — «Вологодские губернские ведомости», 1900, № 106; В. Смирнов. Клады, паны, разбойники. — «Труды Костромского научного общества по изучению местного края», вып. XXVI, 1921, с. 1—49; Г. Ф. Корзухина. Русские клады IX—XIII вв. М. — Л., 1954.

⁴ В. К. Соколова. Русские исторические предания. М., 1970, с. 188—209.

клад»? По мнению рассказчиков, подобного рода клад наиболее часто запрятывается «чудью» и «панами»⁵. В известной степени этот факт отмечают и П. С. Ефименко: «Начало кладов относят ко временам чуди»⁶, и В. В. Пименов: «Предания о страдающей чуди нередко контаминировались с преданиями о кладах»⁷.

Под «чудью» в русских преданиях обычно подразумевается дославянское население Севера. «Панами» же («панками») называют в народной исторической прозе первонаселенников данной местности, иногда воспринимаемых как предки рассказчиков⁸. По утверждению И. Калинина, «паны — люди, чуждые русскому элементу»⁹; В. Смирнов называет их «аборигенами края»¹⁰. Выясняя этническое содержание этого термина, В. В. Пименов приходит к выводу, что предания о «панах» «связаны с вепско-карельской и, быть может, мерянской культурными традициями»¹¹. Как наблюдения предшественников, так и предпринятые нами параллельное рассмотрение структурно-тематических компонентов цикла преданий о «чуди» и цикла преданий о «панах» позволяют сделать вывод, что закрепившиеся в народном употреблении термины «чудь» и «паны» нередко оказываются совершенно тождественными друг другу и обозначают в совокупности древних аборигенов края, обобщенный образ которых в одинаковой степени архаизируется и гиперболизируется, а само повествование о них приобретает фантастический характер.

В отдельных случаях (если судить по преданиям Беломорско-Обонежского региона) запрятывание «зачарованных кладов» приписывается поляко-литовцам¹², образ которых возникает в народно-исторической прозе в начале XVII в.¹³, и еще реже (в условиях Севера) — разбойникам¹⁴. Указание рассказчиков на принадлежность «зачарованных кладов» поляко-литовцам и разбойникам, по всей вероятности, носит не столько органический, сколько формальный характер. Дело в том, что сам термин «паны» с течением времени способствовал смешению совершенно различных понятий: «панами» в фольклоре позднее стали называться и польско-литовские интервенты, и помещики и даже разбойники. Однако в предании архаический образ первонаселенника практически легко отличим от условно-конкретного образа поляко-литовцев, разбойников или помещиков. И все же возможность наслоения образов, одинаково называемых «панами», а также вероятность напластования более позднего образа на архаический и наоборот необходимо учитывать.

⁵ «Олонекские губернские ведомости» (в дальнейшем — ОГВ), 1860, № 21, с. 76; 1885, № 2, с. 11, 12; 1904, № 142, с. 3; Н. Е. Ончуков. Северные сказки. СПб., 1909, № 232(а), с. 501, 502; Архив Карельского филиала АН СССР (в дальнейшем — АКФ). При ссылках на архив первая цифра указывает номер коллекции, вторая — номер текста в ней), 8, № 87; 128, № 67; фонотека (при ссылках на фонотеку Института языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР первая цифра означает номер кассеты, вторая — номер записи в кассете): 1378/1; АКФ, 128, № 106.

⁶ П. С. Ефименко. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. Ч. I. Описание внешнего и внутреннего быта. М., 1877, с. 172.

⁷ В. В. Пименов. Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры. М.—Л., 1965, с. 134.

⁸ Г. И. Куликовский. Похоронные обряды Обонежского края.— «Олонекский сборник. Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонекского края», вып. III, Петрозаводск, 1894, с. 422.

⁹ И. Калинин. Чудь и паны.— «Живая старина», 1913, вып. I—II, с. 144.

¹⁰ В. Смирнов. Указ. раб., с. 28.

¹¹ В. В. Пименов. Указ. раб., с. 48.

¹² ОГВ, 1870, № 55, с. 601, 602; 1904, № 142, с. 3; 1905, № 59, с. 3; АКФ, 42, № 53.

¹³ О фольклорном образе польско-литовских интервентов см. В. Г. Базанов. Народная словесность Карелии. Петрозаводск, 1947, с. 130—135.

¹⁴ ОГВ, 1888, № 98, с. 971; АКФ, 128, № 17; фонотека: 1373/2.

Итак, предания, в которых «владельцами» клада названы поляково-литовцы или разбойники, — явление более позднее по хронологии и вторичное по своему происхождению. Первичными же, на наш взгляд, следует считать предания о кладах, генетически связанные с представлениями о древних аборигенах края.

Можно предположить, что в преданиях Беломорско-Обонезского региона — и прежде всего в преданиях о «зачарованных кладах» — осуществилась исторически сложившаяся связь фольклора аборигенного (финноязычного) населения с фольклором пришедших на север славян. Творческое освоение фольклора аборигенов славянами могло начаться с момента их первых контактов — в IX—X вв.

Не случайно архаический мотив соотнесения «зачарованных кладов» с деятельностью аборигенов края сохранился в преданиях лишь тех регионов, которые сложились относительно недавно; как правило там, где не утрачены сами представления о древних первонаселенниках местности.

Рассмотрев вопрос — кем может быть положен клад, мы обращаемся к вопросу о местонахождении кладов.

По словам рассказчиков, клад часто оказывается зарытым под сосной¹⁵ (находки кладов под корнями или пнями старых деревьев засвидетельствованы и в археологической литературе¹⁶). Этой сосне в предании дается ряд устойчивых определений. Так, например, указывается ее рост — высокая, огромная; объем — толстая, «трое взрослых людей едва могли ее охватить»; возраст — «старая, долго она стояла», «старое сухое дерево», «стоит уж не один век засохшая теперь сосна»; местонахождение — одиноко стояла, стояла на горе; отличительные признаки — красная, с дуплом; чудесные свойства — «дерево это (сосну) пытались срубить, но труд был напрасен, потому что топоры не могли взять его и тотчас ломались» или «и рубить эту сосну нельзя было — искры от топора летели»; восприятие подобной сосны местными жителями — «...клад находится.. под сосной, называемой Никольской (название сосна получила от явившейся на ней иконы Николая-чудотворца). Сосна эта считается священной, и никто из жителей не дерзает не только срубить ее, но даже сломать ветку; она громадной толщины (около полутора аршин в диаметре), кверху двойная. Половина ее лет десять тому назад посохла, а года три тому назад, во время сильной бури, часть посохшей половины снесло ветром на землю. Упавшие сучья крестьянами старательно собраны и сложены в кучу у самой сосны»¹⁷.

В некоторых случаях аналогичную функцию несет на себе «одна из елок» или «старая береза (теперь ее уж нет)».

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что в преданиях имеется в виду не обычное, а священное дерево. Поклонение деревьям является рудиментом системы языческих верований в эпоху средневековья. И с этими деревьями, как мы можем предположить, связано представление о местонахождении «зачарованных кладов».

Не менее распространенным является и указание на местонахождение кладов под камнем¹⁸ (подобные сведения подтверждаются и археологическими материалами)¹⁹. Такой камень, судя по преданиям, также необычен и имеет особые отличительные признаки: например, «на камне... знак гусиной лапы» (вырезана лапа гуся) или «выбиты на них

¹⁵ ОГВ, 1860, № 21, с. 76; 1887, № 97, с. 916; 1888, № 98, с. 971; АКФ, 128, № 67, № 106; 134, № 136; фонотека: 1626/1, 1378/1.

¹⁶ Г. Ф. Корзухина. Указ. раб., с. 13.

¹⁷ ОГВ, 1888, № 98, с. 971.

¹⁸ «Русский филологический вестник», т. XIII, № 1, 1885, с. 58—60; ОГВ, 1904, № 142, с. 3; 1905, № 59, с. 3; АКФ, 128, № 17; фонотека: 1373/2.

¹⁹ Г. Ф. Корзухина. Указ. раб., с. 86.

петухи — один на одного глядит». (Эти изобразительные мотивы — возможно, родовые знаки собственности — осмысливаются как сакральные и в древнейших формах народного прикладного искусства Севера.)

Материалы показывают, что такими же функциями, какими обладает в преданиях о «зачарованных кладах» камень, рассказчики нередко наделяют и гору.

Если учесть, что рудименты культа камней этнографами засвидетельствованы еще в начале XX в., то природа представлений о необычных камнях (или горах) в известной мере обнаруживается: камень и дерево по отношению к кладу рассматриваемой разновидности функционально тождественны — это в некотором роде хранители клада, его обереги.

Местом нахождения кладов, по мнению рассказчиков, зачастую могут быть и реки, ручьи, озера, пруды, омуты, заливы, колодцы, болота²⁰; клады часто оказываются погруженными в них²¹: «Деньги или, точнее, кошель с золотом, спущен в Ригон-реке, в трех верстах от селения Койкинец, основателем его паном Койкой...»²². «На правом берегу реки Волошки есть небольшой залив, называемый Мутихой. И в Мутихе чудью схоронен клад — затоплена лодка с металлами...»²³.

Так же как и предшествующие мотивы, данный мотив — погружение клада в воду — известен фольклору самых разных народов. Например, в «Песне о Нибелунгах» мы находим:

«Тем временем взял Гаген скорей несметный клад

И погрузил у Лоха в Рейн весь...»

По всей вероятности, и воду мы можем причислить к таким уже функционально определенным нами объектам, как дерево и камень.

По материалам преданий можно заметить, что не всегда «зачарованный клад» охраняется лишь одним берегом (деревом, камнем, горой или водой). Нередки случаи, когда подобный клад имеет два или три берега одновременно: например, воду и дерево («Подьте,— говорят,— в болото в Лунево: там под соснами,— говорят,— колокол у нас обран с деньгами»²⁴) или воду, вал (гору) и камень («Пониже топи есть земляной вал, в концах вала лежат по камню серых, под теми камнями по кубу денег серебряных»²⁵) и т. д.

В итоге кажущееся многообразие так называемых берегов, охраняющих клад, фактически сводится к функциональному единообразию: место, где лежит «зачарованный клад», уже само по себе является «священным» и служит культовым объектом.

С усилением христианизации местонахождение клада стало приурочиваться в преданиях к церквям²⁶, которые зачастую и воздвигались на месте древних языческих святилищ.

Что же представляет собой клад и в каких формах и образах он является?

По словам рассказчиков, клад, как правило, состоит из золота и серебра. Однако в своем натуральном виде «зачарованный клад», за редким исключением, на поверхности земли не показывается; явление

²⁰ ОГВ, 1863, № 40, с. 154; 1870, № 55, с. 601, 602; 1885, № 2, с. 12; 1885, № 67, с. 603; 1898, № 37, с. 2; 1904, № 142, с. 3; 1905, № 59, с. 3; «Памятная книжка Олонецкой губернии». Петрозаводск, 1867, ч. III, с. 121; АКФ, 128, № 67; фонотека: 1378/1.

²¹ Судя по многочисленным археологическим находкам, клады IX—XIII вв. очень часто оказывались зарытыми на берегах рек или в междуречьях (Г. Ф. Корзухина. Указ. раб., с. 80, 81, 90, 93, 96, 99, 103, 105 и др.).

²² ОГВ, 1904, № 142, с. 3.

²³ ОГВ, 1898, № 37, с. 2.

²⁴ АКФ, 128, № 67; фонотека: 1378/1. Вариант: АКФ, 128, № 108.

²⁵ ОГВ, 1905, № 59, с. 3.

²⁶ Многочисленные факты нахождения кладов на территории близ церкви отмечены и в археологических источниках (см. Г. Ф. Корзухина. Указ. раб., с. 108 и др.).

сокровищ происходит в виде огня²⁷ или зооморфного²⁸, антропоморфного²⁹ образа. Животные и птицы, в облике которых клад обнаруживает свое присутствие, как правило, наделяются в преданиях и быличках необычайными внешними признаками. Так, например, клад может «прогуливаться» у места своего хранения в образе белого коня; белого или красного быка; белой коровы; седого теленка; серебряной козы; золотого барана; свиньи «в церковном облачении» или в виде утки, петуха, кукушки и т. д.: «Шла старушка одна из байны, и впереди ее бежит курушка, и вся такого золотыма копеечками»³⁰. Судя по преданиям и быличкам, цвет животного или птицы (преимущественно домашних) соответствует цвету зарытого сокровища.

И здесь, несмотря на кажущееся многообразие, прослеживается, по всей вероятности, лишь одна-единственная закономерность: клад может принимать облик тех животных и птиц, которые считались священными и приносились в жертву языческим божествам. Не случайно в исследовании В. В. Иванова и В. Н. Топорова названы в основном те же животные в качестве приносимых в жертву³¹. Общеизвестно, что священным считался и огонь.

При рассмотрении форм персонификации клада напрашивается вопрос: не появляется ли клад в виде того животного или птицы, которые были принесены в жертву при его закапывании? Имеющиеся разрозненные этнографические сведения³² не дают пока достаточных оснований для однозначного решения поставленного вопроса и нуждаются в дальнейшем накоплении. Однако имеется большой фольклорный материал, указывающий на обязательность жертвоприношений (не всегда животных, иногда и людей³³), а также на необходимость произнесения заговора («зарока», «заклятия») при зарытии клада; этот заговор порожден верой в магическую силу слова: «Заговор владельца клада — обстоятельство, совершенно непобедимое никакими силами»³⁴. В связи с изложенным выше можно предполагать, что при закапывании клада совершался обряд, в состав которого входили как «зарок» — заговор, так и жертвоприношение.

Итак, судя по первоначальной принадлежности клада, по ритуалу его захоронения, по местонахождению, то тем формам и образам, которые он принимает, мы вправе ожидать, что и характер самого клада, его назначение должны находиться в русле определенных языческих представлений.

Разгадка сущности клада в известной мере содержится иногда непосредственно в преданиях: «Каждую весною приносит водою на дорогу маленькие, продолговатые, серебряные монеты, которые иные *счастливицы* находят и хранят у себя для *счастья*»³⁵ (курсив наш — Н. К.).

Фольклорные сообщения о назначении кладов дополняются этнографическими материалами. Факты закладывания золотых и серебря-

²⁷ ОГВ, 1860, № 21, с. 76; 1863, № 40, с. 154; 1870, № 55, с. 601, 602; 1888, № 98, с. 971; 1905, № 21, с. 3; АКФ, 128, № 17, № 106; фонотека; 1373/2.

²⁸ ОГВ, 1860, № 21, с. 76; 1899, № 77, с. 3; В. Смирнов. Указ. раб., с. 4—7.

²⁹ ОГВ, 1860, № 21, с. 76; 1905, № 21, с. 3; «Север», СПб., 1894, № 8, стб. 421, 422.

³⁰ АКФ, 128, № 46.

³¹ В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Исследования в области славянских древностей. М., 1974, с. 64, 65.

³² С. И. Г. Домашняя беседа священника с прихожанами о так называемых кладах. — «Руководство для сельских пастырей», 1866, № 25, с. 308; В. Смирнов. Указ. раб., с. 7.

³³ Н. Я. Аристов. Указ. раб., с. 721.

³⁴ Там же, с. 725.

³⁵ ОГВ, 1870, № 55, с. 601, 602.

ных монет (а случалось, и медных) под «красный» угол дома при его постройке зафиксированы в плотничьих обычаях и обрядах: деньги клали для того, чтобы в доме не переводились счастье и богатство.

И наконец, имеются документальные свидетельства, оказавшиеся в поле зрения историков, из которых выясняется совершенно особая роль золота и серебра в эпоху средневековья. Так, А. Я. Гуревич, специально исследовавший данный вопрос, констатирует, что в эпоху средневековья золото и серебро еще не имело широкого применения в товарно-денежных отношениях. Сокровища в представлении людей той эпохи обладали сакраментальной силой, в них материализовались счастье и успех их обладателей. Вот почему богатства запрягивались навсегда, так, чтобы никто не мог ими воспользоваться, иначе их владелец мог лишиться не только магической силы и поддержки, но даже жизни³⁶.

Сакраментальный характер сокровищ раскрывается и в воззрениях византийцев, для которых «золото было... образом света как истины и славы и через это образом божественных энергий, действующих в веществе»³⁷.

В свете изложенных представлений сущность «зачарованного клада» обнаруживается со всей очевидностью: это клад магический, клад сакральный. Он кладется навсегда, и сохранность его обеспечивается жертвоприношением, заговором и отдачей под защиту культового объекта. Отсюда становится понятным устойчивый для преданий указанной разновидности мотив не дающегося в руки клада, какие бы попытки взять его ни предпринимались со стороны кладоискателей. В том случае, когда кладом все же овладевают, он, судя по архаическим, неразрушенным преданиям, приводит или к гибели кладоискателя, или гибнет сам: становясь «падшим», золото превращается во всякого рода «неблагородное вещество»³⁸.

Овладение же кладом как несметным богатством, изображаемое рассказчиком в некоторых преданиях,— в значительной мере факт разрушения традиционных представлений о кладе и связанных с ним верований и запретов. Это разрушение обусловлено прежде всего усилением товарно-денежных отношений, когда сокровища приобретают уже не магическое, а самое что ни на есть утилитарное назначение.

Трансформация образа клада происходит и в связи с усилением христианства. Клад, так же как и другие атрибуты язычества, подвергается своего рода дискредитации, которая ведется в первую очередь по линии снижения образов хранителя клада. Если в архаических преданиях подобную функцию выполняют непременно дерево, вода, камень, то в житийной литературе, например в «Чтении о Борисе и Глебе» (XI в.), в этой же роли оказывается дьявол: «Аще бо или серебро или злато скровено будет под землею, то мнози видять огонь горящ на том месте, то и то же дьяволу показующю сребролюбивых ради»³⁹. В «Патерике Киево-Печерского монастыря» клад также изображается как средство бесовских козней, которые приводят к разжиганию алчности киевского князя Мстислава и гибели монаха Федора, знавшего от беса, где спрятан этот клад⁴⁰. Аналогичный мотив, данный в подобной же интерпретации, прослеживается и в житии Авраамия Ростовского⁴¹.

³⁶ А. Я. Гуревич. Категории средневековой культуры. М., 1972, с. 197—199.

³⁷ С. С. Аверинцев. Золото в системе символов ранневизантийской культуры.— «Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура. Сб. статей в честь В. Н. Лазарева». М., 1973, с. 51.

³⁸ С. С. Аверинцев. Указ. раб., с. 50.

³⁹ Д. И. Абрамович. Жития святых мучеников Бориса и Глеба. Пг., 1916, с. 16.

⁴⁰ «Патерик Киево-Печерского монастыря». СПб., 1911, с. 119, 215.

⁴¹ Г. Кушелев-Безбородко. Памятники старинной русской литературы, вып. 1. СПб., 1860, с. 223.

Известная дискредитация клада, возникшая под влиянием церковной идеологии и житийной литературы, наблюдается и в поздних преданиях. Например: «...клад стерегут двенадцать чертей в виде солдат с ружьями...»; «...с ними (кладами) только греха наживешь, потому владеет ими нечистая сила»⁴² и т. д. Все это факты трансформации атрибутов язычества под влиянием усилившейся христианизации.

Однако в позднейшей традиции преобладает тенденция переосмысления различного рода атрибутов язычества; в ней наблюдается известное стремление приспособить бывшие реликвии язычества к новым условиям, связанным с укоренением христианства. Не случайно поэтому, судя по более поздним преданиям и быличкам, клад закапывается близ церкви, часовни, погоста, о чем мы уже говорили выше, или «освящается» присутствием при нем иконы: «Разин положил на пчельнике под порогом в избушке клад и икону божией матери. Кто отыщет эту икону, тот отроет и клад, а кто станет рыть клад без этой иконы, тот тотчас же уснет»⁴³.

Следовательно, в эпоху установления товарно-денежных отношений и усиления христианства архаический образ сакрального клада претерпевает значительные изменения: с одной стороны, он подвергается трансформации и эволюции с целью приспособления к новым условиям; с другой стороны, в силу этих новых условий он не может избежать известного разрушения своей субстанции.

В целом же указанный тип преданий сохраняет рудименты представлений о древних аборигенах края; с этими представлениями генетически связано и восприятие сокровищ как воплощения магической силы.

Таким образом, исследование преданий о «зачарованных кладах» пока лишь на русском материале (и прежде всего на материале северной народной исторической прозы) приводит нас к определенного рода гипотезе относительно историко-этнографических корней рассмотренного типа преданий. Наши предположения могут быть подкреплены посредством привлечения всей совокупности вариантов, принадлежащих не только русской, но и другим этническим традициям.

⁴² Н. Я. Аристов. Указ. раб., с. 717, 719.

⁴³ В. Н. Витевский. Указ. раб., с. 6.

С. И. Авербух

**О НЕКОТОРЫХ ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯХ
БАСЕЙНА КАБУЛА У АНТИЧНЫХ
ИСТОРИКОВ АЛЕКСАНДРА**

Если мы и располагаем некоторыми сведениями о населении Северо-Западной Индии в древности, то они главным образом относятся к последней трети IV в. до н. э. Источником этих сведений служат сочинения античных авторов, в которых содержатся разрозненные и противоречивые упоминания. Позднейшие историки интерпретировали их по-разному. Одним из них был Кристиан Лассен, труды которого до сих пор сохранили научное значение¹. Специальные исследования по этнографии Индии опубликовали В. де Сент-Мартен (по данным Вед) и Р. Шефер (по данным Махабхараты). В них мы также найдем некоторые сведения о населении северо-запада страны.

До революции отечественная наука практически не уделяла внимания этнографии древней Индии. Лишь в последнее время появились исследования, где освещаются и эти вопросы. К их числу относятся, например, работы Э. А. Грантовского, связанные главным образом с восточно-иранским этносом IX—VIII вв. до н. э. и только отчасти заполняющие пробел в историографии вопроса².

Вопросы этнографии северо-западных районов Индии IV в. до н. э. рассматриваются в работах Г. М. Бонгард-Левина, Г. Ф. Ильина, ряда других индологов — исследователей истории и археологии Афганистана и Пакистана³.

Однако специальных исследований, посвященных этнической картине Северо-Западной Индии последней трети IV в. до н. э., еще нет. Между тем важность изучения этих вопросов несомненна.

Поход Александра был первым серьезным соприкосновением Индии с античным миром. Этот поход исследуют в историческом и историко-культурном аспектах. Но не менее существенен этнографический аспект. В частности, большое значение для восстановления достаточно еще темного периода этногенеза ряда индийских и соседних с ними народов имеют античные источники. Ведь и сам поход не прошел бесследно не только для гражданской, но и для этнической истории Индии. Армия

¹ Chr. Lassen. Indische Alterthumskunde..., B. 1—4. Leipzig, 1858—1861; его же. Pentapotamia Indica. Bonn, 1827.

² Э. А. Грантовский. Из истории восточноиранских племен на границах Индии. — «Кр. сообщения ин-та народов Азии», 1963, № 61; его же. Племенные объединения Paṅṣu — Paṅṣava у Панини. — В сб.: «История и культура Древней Индии». М., 1963; его же. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970.

³ Г. М. Бонгард-Левин, Г. Ф. Ильин. Древняя Индия. М., 1969; Г. М. Бонгард-Левин. Индия эпохи Маурьев. М., 1973; В. М. Массон, В. А. Ромодин. История Афганистана, т. I, М., 1964; Ю. В. Ганковский. Народы Пакистана. М., 1964.

Александра состояла из представителей многих этносов тогдашнего мира. Во время похода и после него группы воинов этой армии оседали на новых местах, где этническая среда также не была однородной. Смешение этносов и формирование новых этносов в последующие десятилетия не подлежат сомнению. Поэтому и поход и вызванные им процессы выступают как необходимое звено этнической истории Индии.

Этнографические данные вносят вклад и в изучение самого похода Александра, который до сих пор в известных нам работах по истории Индии выступает скорее как часть истории Греции, эллинизма, биографии Александра. При этом предметом исследования становятся преимущественно действия македонского царя. Индия же выступает лишь как объект, как фон, как безликая, пассивная масса «индов». Между тем введение этнографического материала позволяет трактовать поход Александра и сопряженные с ним события также как часть истории Северо-Запада Индии, увидеть во всех этих событиях не только «греческую», но также «индийскую» их сторону.

Индийские источники о походе Александра еще слабо изучены, как, впрочем, и относящиеся к нему археологические, нумизматические, эпиграфические данные. По сути дела, главным источником о населении Индии времен Александра остаются сочинения участников его похода. Однако, используя их в качестве источников, приходится учитывать следующие обстоятельства: участники похода были прежде всего воинами, а в местном населении видели «варваров» и врагов. Это обусловило односторонность и тенденциозность оставленных ими свидетельств. Сочинения спутников Александра в оригинале до нас не дошли. Все сведения о них и об их авторах наука получает от писателей более позднего времени, среди которых называют прежде всего Арриана, затем Диодора, Курция, Плутарха, Трога-Юстина, иногда Страбона. Спутников Александра и этих писателей разделяют время (от 300 и более лет), расстояния, языковые и этнические различия, мировоззрение, отношение к Александру и варварскому миру. По всем этим причинам они по-разному отбирали факты и освещали их, что также дает основание сомневаться в достоверности многих сообщаемых ими сведений.

Неясно, каким образом сочинения спутников Александра стали известны этим писателям. Никто из них не пользовался оригиналом. Поэтому невозможно точно установить соответствие их сочинений содержанию оригиналов. Неясно даже, в какой степени рукописи, которые использует наука, действительно принадлежат этим писателям. В «Индики», написанной Аррианом (или приписываемой ему), и в «Географии» Страбона есть и свидетельства спутников Александра об Индии, и более поздние сведения об Индии. Описания Индии относятся к различным периодам и, возможно, и те и другие — к разным частям Индии. Использование этих сочинений всегда требовало крайней осторожности от историка и дифференцированного подхода к ним. С одной стороны, нужно ограничить античные свидетельства определенным временем, географическим ареалом, этнической средой. С другой стороны, следует признать, что тщательный анализ всех сочинений античных, а также в определенной степени византийских писателей и, весьма вероятно, даже отдельных средневековых текстов, содержащих свидетельства о походе Александра в Северо-Западную Индию, может привести к интересным выводам⁴. В свое время такой метод весьма точно охарактеризовал А. П. Ковалевский, работавший, правда, на другом материале. Он писал: «...часто мелочь, случайная и маловразумительная фраза (источника. — С. А.), кажущееся невероят-

⁴ Так, сочинение Квинта Курция Руфа известно, при полном молчании о нем античных писателей, только по рукописям не старше IX в. Тем не менее сегодня его уже используют как источник.

ным и нелепым сообщение при известном подходе в процессе дальнейшего развития науки вдруг приобретает глубокий смысл»⁵.

В сочинениях античных писателей, не входящих в число так называемых главных или традиционных источников, действительно встречается множество таких «мелочей», которые вдруг приобретают «глубокий смысл».

Поэтому в данной статье мы ограничиваем задачу только опытом отбора свидетельств «главных» источников и попыткой расчленить общее понятие «инды», которое фигурирует в этих источниках, на этнические составляющие. Но здесь неизбежно столкновение с трудностями терминологического порядка. Конечно, можно было бы воспользоваться теми понятиями, которые употребляют сами писатели. Известно, однако, что содержание этих понятий, в частности понятия «этнос», изменялось во времени⁶. Пока невозможно установить, какое содержание вкладывали в него и античные историки Александра. Более правомерным в данном конкретном случае было бы обращение к понятию «этническая группа», которая, по определению Ю. В. Бромлея, является начальным звеном этнической иерархии⁷. Однако и здесь приходится отметить, что скудные данные античных писателей не позволяют определить, на каком этапе этой иерархии находятся упоминаемые ими группы населения Северо-Западной Индии.

Мы даже не знаем, являются ли этнические названия, приведенные у античных писателей, отражением этнонима или прозвищами, услышанными или (придуманными) спутниками Александра. Неизвестно также, как произносили и писали эти названия спутники Александра и насколько точно их передали поздние писатели и переписчики античных текстов. Поэтому мы будем употреблять здесь в качестве общих условных обозначений понятия «этническая единица» и «этническое название», не имея в виду самоназвания. Не будут классификационными и упомянутые обозначения, помогающие до некоторой степени расчленить в этническом отношении то население, которое описывают и называют античные писатели.

Античные писатели приводят множество этнонимов. Это изобилие можно объяснить и действительной этнической пестротой населения, и путаницей, возникшей вследствие того, что спутники Александра не могли разобраться в местной этнической, социальной, религиозной, может быть, кастовой и другой терминологии. Определенную лепту в эту путаницу внесли и поздние переписчики рукописей⁸. Возможно, что некоторые этнические названия были созданы спутниками Александра на основе имен местных правителей или вождей (например, «ассакены» и Асскан, «астакены» и Астес), географических названий (например, «гурей» и река Гурей). Впрочем, здесь возможна и обратная связь. Добавим только, что для античных сочинений весьма типичны оба эти пути.

Ту часть похода Александра, которую принято называть индийским походом, можно подразделить на три естественно-географических этапа: бассейн Кабула, Панджаб, Синд. В ход событий был вовлечен и Кашмир, но, кроме отряда Онесикрита, воинам Александра побывать здесь не довелось.

Исторические границы Индии менялись многократно, однако известно, что в древности индийская культура распространялась далеко на запад от долины Инда.

⁵ А. П. Ковалевский. Ибн-Фадлан и Мешхедская рукопись.— В кн.: «Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу». М., 1939, с. 32.

⁶ Ю. В. Бромлей. Этнос и этнография. М., 1973, с. 21, примеч. 49.

⁷ Там же, с. 126.

⁸ Так, например, ассакены (у Арриана) превращаются в аспагенов (у Плиния); маллы и оксидраки (у Арриана) становятся амбрами и сугамбрами (у Юстина). Такие примеры скорее правило, чем исключение.

Арриан или иной автор «Индики» (II, 1, 5), и Страбон (XV, 1, 10, 11) называют Инд западным пределом Индии, но в рассказ об индийском походе Александра включают и события, происходившие в долине Кабула. Поэтому нам кажется, что правомерно перечень этнических единиц на пути Александра в Индии начинать с тех, которые античные писатели локализируют в долине Кабула. Рассмотрим некоторые из них.

1. «Аспасии» (Arr., IV, 23, 1) или «гипасии» (Strabo, XV, 1, 17, 27). Свидетельства античных писателей не позволяют четко локализовать эту этническую единицу на современной карте. Только сопоставление отдельных данных помогает наметить ареал ее расселения в этот период. Так, Александр, продвигаясь с северо-запада, не переходил Кабул; поэтому земли аспасиев могли лежать к северу от этой реки. Направляясь к Инду, Александр вступил в земли аспасиев после перехода через р. Хой (Arr., IV, 23, 2), которую отождествляют с реками Алингар, Кунар, Читрал⁹. Арриан последовательно называет этнические единицы, которые встречал Александр — аспасии, гурей, ассакены. Гурей — восточные соседи аспасиев — жили между Кунаром и Паджокрой или в местности Гарви между Паджокрой и Ландаем, т. е. в современном Баджауре¹⁰. Эти данные позволяют ориентировочно определить область аспасиев: она, по всей вероятности, располагалась западнее, т. е. в южном Нуристане, между реками Алингар и Кунар.

Античные историки похода Александра называют население бассейна Кабула индийцами. Так поступает и составитель «Индики», делая исключение для жителей Нисы (Arr., I, 4). Условность такого названия очевидна и не может служить определением этнической принадлежности этой части населения. То же можно сказать об этнических названиях, приводимых другими античными писателями. Некоторые из них широко интерпретируются в научной литературе. Так, этническое название аспасии или гипасии иногда отождествляют с «ашвака», «ашмака», «ашвайяна» индийских источников, выделяют в этих названиях общую основу «ашва» (обозначение коня в санскрите); это позволяет говорить об индийской или индоязычной принадлежности аспасиев — гипасиев. Однако такое отождествление, не подкрепленное историческими и этнографическими аргументами, не может быть принято.

Интересно, что в этническом названии аспасии — гипасии можно увидеть и ираноязычное «аспа» (также обозначение коня). В этом случае появляются основания говорить об иранской или ираноязычной принадлежности аспасиев — гипасиев. Наконец, в этом же этническом названии, особенно в передаче Страбона, гипасии ассоциируются с древнегреческим «хиппос» (также обозначающим коня). Между тем следует отметить, что на большей части собственно Индии своего коневодства не было.

Таким образом, анализ этнического названия аспасии — гипасии действительно не позволяет установить этническую принадлежность соответствующей группы, но дает основание локализовать ее западнее Инда. Вместе с тем А. Stein, например, полагает, что античные писатели правильно называют жителей этого района индийцами, хотя думают, что их надо считать не индоариями, но скорее дардами¹¹.

Мухаммед Али, вероятно отражая точку зрения, распространенную среди определенной части афганских ученых, называет аспасиев (и асса-

⁹ Ch. Lassen. Указ. раб., т. II, с. 128, 131; т. III, с. 109; F. Pincott. The route by which Alexander entered India.—«The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland», Oct. 1894, p. 679; A. Stein. Alexander's campaign on the Indian North-West frontier.—«The Geographical Journal», v. XX, № 5, Nov., 1927, p. 414; G. Radet. Sur les traces d'Alexandre entre le Choes et l'Indus.—«Journal des Savants», mai, 1930, p. 214; P. Green. Alexander the Great. London, 1972, p. 205.

¹⁰ F. Pincott. Указ. раб., с. 683; A. Stein. Указ. раб., с. 423; G. Radet. Указ. раб., с. 218.

¹¹ A. Stein. Указ. раб., с. 424.

кенов, их соседей) предками современного афганского племени сафиев¹². О принадлежности аспасиев к ираноязычному населению пишут В. М. Массон и В. А. Ромодин¹³. На связь аспасиев с афганцами указывает ряд западноевропейских и американских исследователей¹⁴. Мысль о такой преемственности не лишена оснований. Аспасии — гипасии ориентировочно занимали территорию, населенную ныне афганцами или пуштунами. Поэтому можно допустить, что они участвовали в этногенезе современного населения этого района. Вместе с тем мы не знаем, оставались ли аспасии — гипасии все 20 веков постоянным населением этих мест или куда-либо переселялись. Надо помнить и о происшедших за две с лишним тысячи лет значительных переменах в этническом облике всего населения региона. В этих условиях одна только общность территории не может быть аргументом для установления прямой связи между древним и современным населением.

Невелики возможности для этнографической характеристики аспасиев. В связи с этим заслуживают внимания упоминавшиеся ранее этимологические параллели с названием лошади. По данным индийских источников, северо-запад страны — Гандхара, Камбоджа, а по Страбону — и страна кафеев (XV, 1, 30) в северной части Панджаба, были районами развитого коневодства. Таким районом могла быть и земля аспасиев. Поэтому возможно, что их этническое название является прозвищем, отражающим ту черту хозяйства, которая прежде всего привлекла внимание спутников Александра.

2. **Ассакены** (Агр., IV, 23, 1). В отличие от аспасиев область расселения ассакенов, следуя за античными писателями, может быть определена более четко. Ее надо локализовать между реками Инд на востоке и Панджокра или Ландай на западе, т. е. в Ассакении или в долине Свата, а также в Бунере и соседних долинах¹⁵.

Античные источники позволяют установить существенные различия между аспасиями и ассакенами даже в поведении. Так, аспасии сами вступали в борьбу с Александром. Ассакены полагались только на наемников. Гибель вождя аспасиев наполнила их яростью, и они бросились в бой, чтобы отбить его тело. Гибель вождя или правителя ассакенов, напротив, была сигналом к прекращению борьбы.

По рассказам античных писателей, аспасии и ассакены в отношениях с Александром выступали скорее как отдельные группы населения.

Надо принять во внимание и географический фактор — между аспасиями и ассакенами находились земли гуреев. В условиях долин, население которых мало или вовсе не общалось друг с другом даже в более поздние времена, это обстоятельство могло иметь большое значение для формирования различий и между близкими по происхождению этническими единицами. Видимо, аспасии и ассакены (как, возможно, и гурей) были близкими, но все-таки отдельными этническими единицами¹⁶. Как и в предыдущем случае, этническое название ассакены не раскрывает их этническую принадлежность. Э. А. Грантовский, исследуя восточно-иранские топонимы IX — второй половины VIII в. до н. э., выделяет в них суффикс «акан(а)», основу «кан(а)» — «кан», иранское «канда» в значении «крепость», «город», «укрепленное поселение»¹⁷. Такой суффикс или основу можно выделить и в этническом названии ассакены, ассака-

¹² Мухаммед Али. Афганистан. М., 1957, с. 72.

¹³ В. М. Массон, В. А. Ромодин. Указ. раб., т. I, с. 88.

¹⁴ J. W. McCrindle. Ancient India as described by Megasthenes and Arrian... Calcutta, 1877, p. 152; L. V. Cummings. Alexander the Great. Boston, 1940, p. 318, pict. 1, 2.

¹⁵ F. Pincott. Указ. раб., с. 681; A. Stein. Указ. раб., с. 424, 425; G. Radet. Указ. раб., с. 221; P. Green. Указ. раб., с. 212, 213.

¹⁶ Например, Б. Пракаш (*Buddha Prakash*). Political and social movements in Ancient Punjab. — «The Quarterly Review of Historical Studies», 1963—1964, v. III, № 3, p. 153) различает аспасиев-ашвайяна и ассакенов-ашвакайяна.

¹⁷ Э. А. Грантовский. Из истории восточноиранских племен Индии..., с. 20, 23.

ны и на этом основании относить их к восточноиранской или восточноираноязычной этнической общности. Вместе с тем неизвестно, является ли это этническое название, приведенное в античных источниках, само-названием или прозвищем, было ли оно передано античными писателями и переписчиками их сочинений правильно или с искажениями. Окончание «кен», «кан» может оказаться произвольным, поэтому только на этом основании нельзя говорить об этнической принадлежности ассакенов, тем более что в нем можно увидеть не суффикс или основу, но, как это делает Дж. Саркар, рассматривая аналогичное этническое название «мусикан», показатель множественного числа «*mousik + an*». В свою очередь А. Стейн ищет разгадку термина в санскрите или в языке дардов¹⁸.

Анализ топонимов в стране ассакенов также не помогает в этом отношении. Э. А. Грантовский выделяет в топонимах IX в. до н. э. суффикс «га», «ага», «ага», известный в иранском языке, например, в слове «*bazuga*», в значении «рука», «крыло»¹⁹. Этот же суффикс просматривается и в топонимах Базира (Агг., IV, 27, 5) или Бейра (Curt., VIII, 10, 22), Ора (Агг., IV, 27, 5) или Нра (Curt., VIII, 11, 1), Оробатида (Агг., IV, 28, 5) в стране ассакенов. Можно считать это указанием на иранский или ираноязычный характер этнической группы ассакенов, тем более что и топонимы в стране аспасиев, например Аригей (Агг., IV, 24, 6), Дирта (Агг., IV, 30, 5), также содержат нарек на такой суффикс.

В то же время эти топонимы могут быть истолкованы иначе. Так, Н. Л. Дей видит в Оробатиде санскритский Арабатт²⁰. В то же время столица ассакенов — Массага, или Массака, или Масока — такого суффикса не содержит, в этом названии нередко видят санскритское Маша-кавати. Да и Э. А. Грантовский указывает, что этот суффикс широко употребляется в древнеиндийском языке²¹.

Следовательно, этнические названия ассакены или ассаканы позволяют предположить как принадлежность ассакенов к индоариям, так и к восточноиранскому этносу и даже конкретно называть их предками пуштунских племен *yashkins* в Читрале и в Гилгите²².

3. Астакены (Агг., I, 1; Strabo, XV, 1, 27). Античные писатели не говорят о встрече Александра с атакенами, но автор «Индики» и Страбон называют их в одном ряду с ассакенами (Агг., I, 8) и гипасиями (Strabo, XV, 1, 17). Кроме того, Арриан называет Астеса (Агг., IV, 22, 8), правителя Певкелаотиса или Певколантиса (Strabo, XV, 1, 27), который 30 дней выдерживал осаду отряда под командой Гефестиона и Пердикки. Имя Астес и этническое название атакены, несомненно, близки. Поэтому не исключено, что Астес мог быть правителем атакенов, а атакены — жителями Певкелаотиса²³.

В имени Астес и в этническом названии атакены присутствует, как думает Кр. Лассен, санскритская основа «аста» в значении «запад»²⁴. Это обстоятельство позволяет разделить этнические названия атакены и ассакены. Следовательно, этническое название атакены — это не искажение, как некоторые думали, этнического названия ассакены, допущен-

¹⁸ J. Sarkar. Military history of India. Calcutta, 1960, p. 7; A. Stein. Указ. раб., с. 424, 425.

¹⁹ Э. А. Грантовский. Ранняя история иранских племен Передней Азии, с. 122, 123.

²⁰ N. L. Dey. The geographical dictionary of Ancient and Mediaeval India. London, 1927, p. 219.

²¹ Э. А. Грантовский. Ранняя история иранских племен Восточной Азии, с. 123. Так, А. Стейн (Указ. раб., с. 430) видит в топониме Базира местное Бир-кот (Birkot), что идет от санскритского kotta укрепление.

²² F. Pincott. Указ. раб., с. 681; L. V. Cummings. Указ. раб., с. 318, примеч. 2.

²³ Hasti (Chr. Lassen. Указ. раб., т. II, с. 127, прим. 2; V. Smith. The early history of India. Oxford, 1914, p. 50; «The Cambridge history of India». Cambridge, 1926, p. 355), Astakaraja («The history and culture of Indian People», v. II. Bombay, 1956, p. 45); Кр. Лассен (Указ. раб., т. I, с. 502, прим. 8) полагает, что это не личное имя.

²⁴ Chr. Lassen. Указ. раб., т. II, с. 134.

ное спутниками Александра, античными писателями или переписчиками рукописей.

Кроме того, вывод Кр. Лассена, если, конечно, античное название атакены отражает самоназвание, дает основание считать атакенов индоариями или видеть в них индоязычное население. В пользу этого говорят и другие аргументы. Так, Певкелаотис — западная столица Гандхары²⁵. А Гандхара — одна из древнейших махаджанпад, упоминаемых индийскими источниками. Восточной столицей Гандхары называют Таксилу, которая была одним из центров учености в древней Индии. В древней Индии знали и продукцию из Гандхары²⁶. Поэтому можно говорить о распространении в Гандхаре культуры индоариев, о связях Гандхары с землями индоариев, а может быть, и о расселении здесь индоариев.

Топоним Певкелаотис — просто греческая модификация топонима Пушкалавати или Пушкаравати²⁷. Такой город также известен по индийским источникам, а его название спутники Александра узнали именно в такой индоарийской форме, что говорит о влиянии культуры индоариев и об их присутствии здесь. Наряду с этим основа термина «пушкара» (лотос) указывает, как думает Д. Косамби, на искусственный водоем с лотосами, что является признаком цивилизации долины Инда²⁸. Это предположение гипотетично, но не безосновательно в свете последних археологических находок на территории Афганистана и Пакистана. Однако пока еще очень мало материала, который позволил бы связать население Певкелаотиса в этот период с этносом создателей этой цивилизации. Напротив, указание на Пушкар — персонаж Махабхараты — с большой определенностью говорит о связи местного населения с индоариями.

4. Нисей (Арг., I, 4; Strabo, XV, 1, 27). Античные писатели помещают Нису между Кабулом и Индом, но отсутствие археологических данных затрудняет локализацию, и Нису ищут на склонах Баджаура, у нижних отрогов хребта Кокхунур, в Пуристане, в нижнем Читрале, в месте соединения Гиндукуша и Паропамиса.

Как полагает Кр. Лассен, топоним Ниса не является индийским²⁹. Возможно, его появление в Нуристане следует связывать с эллинами, в том числе и с эллинами, находившимися в этих местах до появления Александра. Так, историки нередко высказывают мнение о тождестве яванов из индийских источников с эллинами, обитавшими в Северо-Западной Индии до Александра³⁰.

Курций рассказывает о встрече Александра с потомками рода бранхидов из Милета, переселенных Ксерксом в Согдиану (VII, 5, 27). На переднем Востоке эллинов знали как ионийцев. Именно они известны как яваны индийских источников. Милет же находится в Ионии. Поэтому допустимо предположить, что потомки бранхидов — милетян — ионийцев могли отправить колонию из Согдианы в Нису, где ее и застали спутники Александра.

Б. Ч. Лав приводит сведения (без указания на источник) о монетах с изображением головы Афины на одной стороне и совы — на другой, обнаруженных в Северо-Западной Индии. Он делает вывод об их местном происхождении и видит в этом доказательство существования здесь эллинских или греческих поселений середины VI в. до н. э.³¹ Этой же точки зрения придерживается Г. М. Бонгард-Левин, считающий Нису од-

²⁵ V.-S. Agrawala. India as known to Panini. Lucknow, 1945, p. 42.

²⁶ Например, длинную овечью шерсть из Гандхары, упоминаемую в Ригведе, см. B. Ch. Law. Tribes in Ancient India. Poona, 1943, p. 10.

²⁷ Chr. Lassen. Указ. раб. т. II, с. 134, прим. 2; V.-S. Agrawala. Указ. раб., с. 454.

²⁸ Д. Косамби. Культура и цивилизация древней Индии. М., 1968, с. 141.

²⁹ Chr. Lassen. Указ. раб., т. II, с. 135.

³⁰ R. Shafer. Ethnography of ancient India. Wiesbaden, 1954, p. 28.

³¹ B. Ch. Law. Указ. раб., с. 155, 156; R. Shafer. Указ. раб., с. 27.

ной из колоний греческих поселенцев в Северо-Западной Индии до Александра³².

Как сообщают античные писатели, Акуфис (Агг., V, 1, 3) — вождь или правитель Нисы (Агг., V, 1, 3) — рассказал Александру об основании города Дионисом (Агг., V, 1, 3). Некоторые исследователи понимают это сообщение буквально и видят в нем доказательство принадлежности нисеев к эллинам³³. Между тем рассказ Акуфиса мог быть придуман или неправильно понят спутниками Александра или античными писателями, дабы польстить Александру и прославить его поход «по следам Диониса», которого Александр считал одним из своих предков³⁴. Такое сообщение может отражать и реальное событие: Акуфис, знавший о честолубии Александра, использовал свой рассказ как дипломатическую хитрость, которая помогла ему добиться расположения македонского царя.

Вместе с тем топоним Ниса мог появиться здесь и в связи с походом Александра. В этих местах участники похода увидели виноград, плющ, может быть, пробовали и местное виноградное вино. Все это оживило в их воображении мифы о походе Диониса в Индию, тем более что такие реминисценции могли иметь для них определенное политическое значение. Это значит, что у них были основания присвоить этим местам имена, связанные с Дионисом (Ниса — кормилица Диониса)³⁵.

Возможно также, что они только по-своему переделали сходное местное название этого поселения. Такое название оказалось понятным, укрепилось как топоним и сохранилось, в частности, в названии современного вайгольского селения Ниinei³⁶.

Другой топоним — гора Мерос — может указывать на миф о вторичном рождении Диониса из бедра Зевса. Вместе с тем здесь обнаруживает себя и топоним индийской мифологии — священная гора Меру. Если, по Х. Райчаудхури, даже небольшое озеро в Северной Индии местные жители представляли как мировой океан³⁷, то они могли видеть Меру и в одной из вершин местных гор³⁸. Нисеям же, если они и не были индоариями, могла быть неизвестна мифология индоариев, и в том числе сказания о Меру.

Наконец, источником топонима могло быть и местное название³⁹. Послушаем Курция: «Город (т. е. Ниса. — С. А.) расположен у подножия горы, которую жители называют Мерос. На этом основании греки выдумали, будто отец Либер (т. е. Дионис. — С. А.) был скрыт в бедре Юпитера» (VIII, 10, 12).

Итак, этническое название нисей, возможно, вытекает из топонима Ниса, однако этническая принадлежность нисеев сегодня еще не может быть установлена окончательно. «Индика», например, четко фиксирует: нисей — не индийцы (Агг., I, 4). В этом и других античных источниках есть сведения, позволяющие конкретизировать это утверждение. «Индика» говорит, что индийцы (индоарии? — С. А.) не ставили памятников мертвым (Агг., X, 1). В Нисе же было кладбище, кедровые гробницы которого сгорели во время осады города Александром (Curt., VIII, 10). Это сообщение Курция не повторяет никто из античных писателей.

³² Г. М. Бэнгард-Левин. Указ. раб., с. 173.

³³ В. Ch. Law. Указ. раб., с. 154; R. Shafer. Указ. раб., с. 46.

³⁴ См. F. Pincott. Указ. раб., с. 682.

³⁵ Аналогичный пример приводит Страбон (IX, 2, 13). Священная Ниса в Беотии в действительности означает Иос священный (с первым слогом, произносимым кратко).

³⁶ А. Л. Грюнберг. Нуристан. Этнографические и лингвистические заметки. — «Страны и народы Востока», т. X, М., 1971, с. 278, прим. 39.

³⁷ D. C. Sircar. Studies in the geography of Ancient and Mediaeval India. Dehli, 1960, p. 8.

³⁸ П. Пинкотт (Указ. раб., с. 682) идет еще дальше и полагает, что именно эта гора и породила представление о Меру.

³⁹ Л. Эдельберг видит связь античного и современного топонима Мер у одного из этнических подразделений хафиров (см. в кн.: А. Л. Грюнберг. Указ. раб., с. 278, прим. 39); однако эта связь пока ничем не обоснована.

Поэтому его нельзя считать абсолютно достоверным. Вместе с тем его нельзя и отвергать только из-за уникальности и на основании еще не изжитого до конца скептического отношения к Курцию. С сообщением Курция приходится считаться тем более, что некоторые древнеиндийские источники отличают ариев Северо-Запада от ортодоксальных ариев. В специфических местных условиях и арии могли иметь гробницы. Поэтому упоминание гробниц не доказывает (хотя и не опровергает) принадлежность нисеев к индоариям.

Существует мнение, будто жители Древней Индии не были знакомы с культурой винограда и с производством виноградного вина⁴⁰. Вместе с тем в индийских источниках есть сведения, смягчающие категоричность такого утверждения по меньшей мере для Северо-Западной Индии. К сожалению, не установлено, к какому периоду относятся эти сведения, и поэтому их только предположительно можно связать с интересующим нас периодом.

Так, в Артхашастре среди различных крепких напитков упоминается и «сладкое вино (мадху), которое есть виноградный сок» (II, 41, 24)⁴¹. Называется оно по месту изготовления капишаяна и харахурака (II, 42, 25), что, возможно, соответствует городу Капиша (Каписа) на территории современного Афганистана и стране Харахура в Панджабе. Есть в Артхашастре и другие упоминания винограда и виноградного сока (II, 33, 15; II, 41, 24), но их хронология и географическая принадлежность остаются невыясненными и поэтому не могут быть использованы как источник.

В свою очередь античные писатели были убеждены, что индийцы знакомы с виноградарством и виноделием. Их убеждения основывались главным образом на преданиях о Дионисе, который дал индийцам лозу и вино. Поэтому если отдельные сведения о виноградарстве в Индии соответствовали действительности, другие могли быть вымышленными.

Самым ранним является свидетельство Ктезия о том, что в Индии есть сыр и вино приятного (сладкого) вкуса⁴².

По Арриану, в землях индов растет виноград даже там, где нет плюща (V, 2, 6). Из «Индики» мы узнаем о стране камбистолов (IV, 8) в Панджабе, название которой означает, как думает А. Каннингхэм, страна вина⁴³.

О виноградной лозе в Нисе рассказывает Страбон, хотя он и отмечает, что это лоза не дает плодов (XV, 1, 8). Все же и ему известны люди, продававшие вино на рынке, в Таксиле (XV, 1, 65). Арриан, Курций и Филострат сообщают о массовом и продолжительном пьяном пире македонских завоевателей на горе Мерос близ Нисы. Выпитое на пире вино могло находиться в обозе Александра, но, вероятно всего, было использовано местное вино в виноградной долине Гиндукуша, как Кр. Лассен называет район Нисы. Все же остается неясным, следует ли говорить о местном виноградном вине или о другом опьяняющем напитке.

Из других, менее известных свидетельств античных писателей отметим сообщение Хареса из Митилены — одного из спутников Александра.

⁴⁰ Chr. Lassen. Указ. раб., т. III, с. 50; J. Carpentier. The Indian travels of Apollonius of Tyana. Uppsala — Leipzig, 1934, p. 12; B. Ch. Law. Указ. раб., с. 154. М. Е. Сергеев полагает, что спутники Александра приняли за виноград посевы хлопчатника. См. Примечания в кн.: Феофраст. Исследование о растениях. М., 1951, с. 28, 431, прим. 54.

⁴¹ Цит. по изд. «Артхашастра или наука политики». М.—Л., 1959.

⁴² Ctesiae Cnidii... Fragmenta dissertatione et notis illustrata a Carolo Müllero. — В кн.: Herodoti Historiarum libri XI... Parisiis, Firmin-Didot, 1877, p. 86, fr. 57, § 29. Можно согласиться с тем, что, как думает Кр. Лассен (Указ. раб., т. II, с. 642—643), речь здесь идет не о виноградном вине. Это тем более оправдано, что «divos» означает не только виноградное вино. Ктезий в Индии не был, его источник неизвестен, неизвестен и оригинал сочинения Ктезия, а в передаче Фотия или в тексте, которым Фотий пользовался, могли быть искажения терминов.

⁴³ A. Cunningham. The ancient geography of India. Varanasi, 1963, p. 181.

Он называет божество вина у индов и сообщает об индах, которые пьют вино (Athen, I, 27, 347, A) ⁴⁴. Об этом рассказывает и Элиан (Varia, III, 41). Об индийцах, которые пьют очень много вина, сообщает и Курций (VIII, 9, 30).

Итак, культура винограда и возможное виноделие в Нисе не дают оснований отрицать принадлежность нисеев к индоариям или подтверждать их принадлежность к эллинам ⁴⁵. Поэтому сохраняют значение и другие взгляды на этническую принадлежность нисеев.

Так, Л. В. Каммингс называет их одной из групп ариев и отождествляет даже с личхвами, санскритское название которых — начхиви; после Александра их называли нишады ⁴⁶. Нам эта цепочка связей не кажется убедительной.

Л. Эдельберг полагает, что детали описания обычаев нисеев у Курция и Арриана и природы этих мест совпадают с тем, что можно наблюдать в центральном Нуристане сейчас или в исторически недавнее время. Это обстоятельство дает ученому основание предполагать в нисеях предков кафиров. Отметим, однако, что античные писатели ничего не говорят об обычаях нисеев, и ссылка на Курция и Арриана остается здесь непонятной. Поэтому сообщения античных писателей не являются тем звеном, которое помогает установить прямую связь между нисеями и кафирами.

Таким образом, свидетельства античных писателей позволяют из безликой массы «индов» выделить определенные этнические общности, в данном случае обитавшие в бассейне Кабула. Сопоставление разных источников позволяет и локализовать их на территории Северо-Западной Индии. Но античные источники позволяют строить только предположения об этнической принадлежности этих общностей и дают им либо самую общую, либо слишком фрагментарную этническую характеристику.

⁴⁴ Chares Mytilenaeus. De rebus Alexandri. — В сб.: «Scriptorum Alexandri Magni». — В кн.: «Arriano Anabasis et Indica... emendavit...» Fr. Dübner. Parisiis. Firmin-Didot, 1877, p. 117, fr. 13; p. 119, fr. 15.

⁴⁵ Однако Б. Ч. Лав (Указ. раб., с. 154) именно на этом основании и на основании культа Диониса причисляет нисеев к эллинам Северо-Западной Индии.

⁴⁶ L. V. Cummings. Alexander the Great, p. 328.

В. Е. Баглай

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЛНЦАХ В ДРЕВНЕАЦТЕКСКОЙ МИФОЛОГИИ

Для воссоздания исторически достоверного облика древнеацтекского общества и его культуры большое значение имеет вопрос о характере господствующей в нем идеологии. Более детальное рассмотрение некоторых ее сторон и особенностей, возможно, позволит увидеть в этом раннеклассовом обществе и, в частности в его духовной жизни, нечто более сложное, чем обычно принято считать.

Идеология ацтекского общества, древнемексиканского мира настолько прочно ассоциируется с существовавшим в этом обществе кровавым культом, что мрачная тень последнего мешает усмотреть другие, не менее значительные и характерные моменты, которые по своей серьезности и важности не уступали главной военно-религиозной доктрине ацтеков, освящающей практику кровавых человеческих жертвоприношений и находящей ей оправдание.

В связи с этим исключительный интерес представляет идея о так называемых мировых периодах, или Солнцах, имеющая в рамках древнемексиканской идеологии как религиозно-мифологическое, так, возможно, и историческое объяснение. Суть ее для древнего мексиканца состояла в том, что мир не является раз и навсегда сотворенным, а, напротив, он пережил ряд эпох, неизменно заканчивающихся через определенный период катастрофами, приводящими к гибели всего живого. Согласно большинству источников, число этих мировых эпох или эр равнялось пяти: четыре доисторические эпохи предшествовали пятой, в которой жили ацтеки. Каждая из этих эпох имела свое население, которое согревало «собственное» Солнце. Хотя и известны варианты, когда некоторое количество людей переживало бедствия, но это не меняло существа представлений: после каждой катастрофы происходит полное обновление мира.

Однако почему же погибли все четыре предыдущих Солнца? В текстах нет развернутых объяснений причины этих мировых катаклизмов, что может объясняться как неосведомленностью в этом вопросе информаторов, так и просто недостаточным подробным изложением в исторических хрониках. Между тем можно попытаться свести разрозненные сведения в один сюжет, сопоставив сохранившиеся письменные свидетельства и изображения некоторых памятников древнеацтекского искусства. К их числу принадлежит, например, выдающийся образец древнемексиканского монументального искусства — «Камень Солнца», или «Календарный Камень»¹. Здесь воспроизведен менее известный памятник древнемексиканской космографии, так называемый «Календарный Камень» из Музея Йельского университета (США) (рис. 1)². Знаки,

¹ О нем см. *Р. В. Кинжалов. Искусство племен нахуа.* — «Сб. МАЭ», т. XXI, М. — Л., 1963.

² *G. G. MacCurdy. An Aztec «Calendar stone» in Yale University.* — «American Anthropologist», v. 12, № 4, 1910, p. 481—496.

изображенные на его поверхности, отражают названия пяти мировых эпох, или Солнц (с правого верхнего знака по часовой стрелке): «4. вода», «4. дождь», «4. ветер», «4. ягуар»; в центре изображен стилизованный солнечный диск со знаком «движение» внутри — символом пятого, современного Солнца.

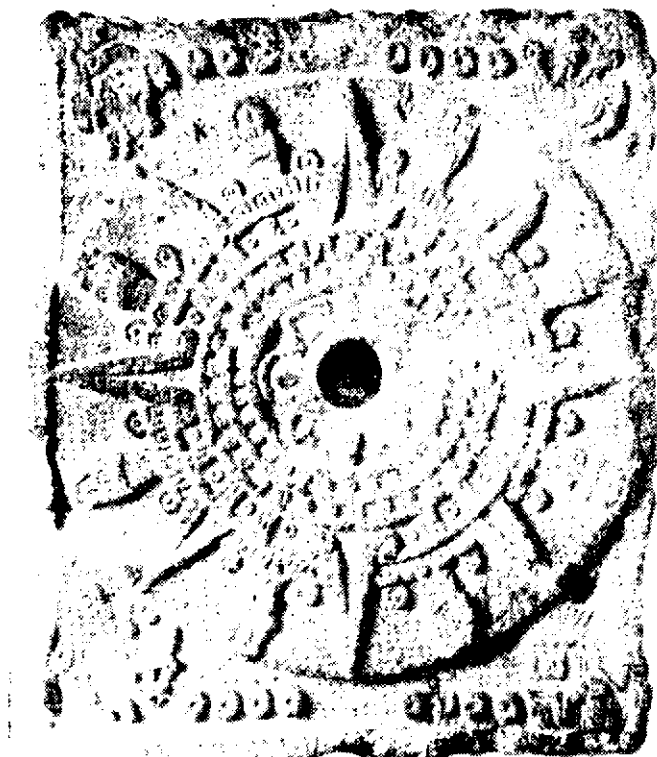


Рис. 1. «Календарный камень» из Музея Иельского университета

Какое же объяснение могли дать этим катастрофам ацтекские мудрецы-жрецы? Если говорить о религиозно-мифологическом значении этой идеи, то следует вспомнить, хотя и несколько общий, ответ одного из исторических источников: люди погибали «по причине грехов, которые они совершали по отношению к богам»³. Все дело, видимо, заключается в том, что древние народы не осознавали, в какой взаимосвязи они находятся с миром и, следовательно, с Солнцем. Их жизнь была простым существованием, при котором они, пользуясь благами ее, не задумывались над тем, откуда они происходят, и не задумывались ни о своей судьбе, ни о своем предназначении. И это неведение якобы приводило к гибели и Солнца и людей. И только человечество пятого мирового периода, а среди них и ацтеки, «постигли» смысл происходящего. Они разгадали, что такое Солнце и что с ним должно быть связано. Согласно древне-мексиканским мифам, Солнце — это либо один из великих богов⁴, либо

³ «Histoire du Mechique». — «Journal de la Société des Américanistes de Paris», N. S., t. 2, № 1, 1905, ch. 6, p. 24.

⁴ Там же, гл. 8, с. 30; G. Mendieta. Historia eclesiástica indiana. México, t. 2, 1870, cap. 2, p. 79—80.

сын великого божества⁵, который бросился или был брошен в огонь, чтобы стать светилом для людей, живших во мраке после последнего сотворения. Создание последних также потребовало великой жертвы со стороны богов, ибо они пролили при этом свою божественную кровь, которой окропили созданные ими безжизненные модели двух человеческих существ. Таким образом, человек был всецело должником как богов, так и Солнца: божественной кровью рожденный и живущий, человек должен теперь расплачиваться с ними собственной кровью.

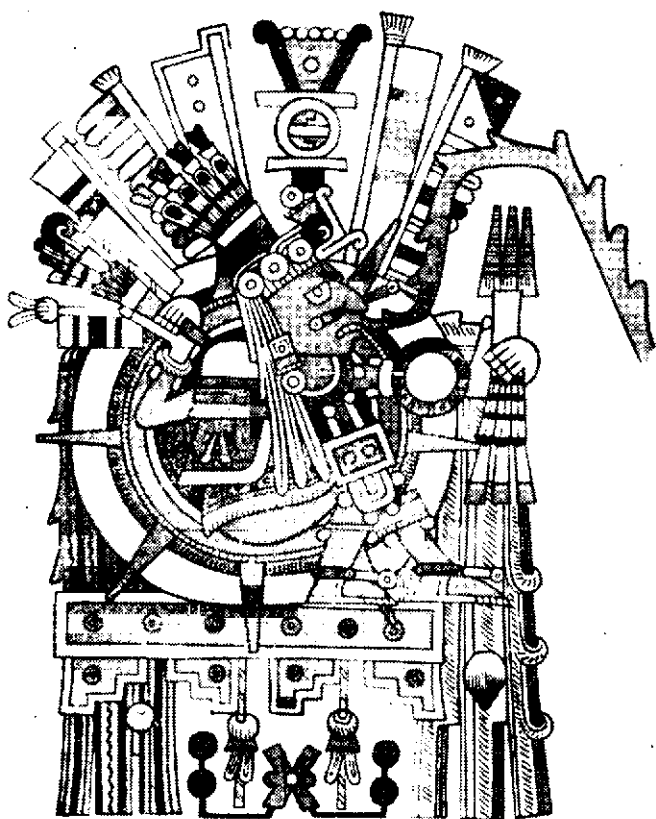


Рис. 2. Бог Солнца Тонатпу. Кодекс Боржа

Но фатальность, трагическая предопределенность судьбы мира сохраняется, так как человечество, даже ценой собственной крови, не в состоянии вечно поддерживать гармонию между богами и людьми, а тем более мировой порядок, который зависит только от воли божественных сил. Люди, живущие под пятым Солнцем и удачно отличающиеся от предыдущих ревностным почитанием богов, могут, однако, рассчитывать лишь на то, чтобы отдалить мировую катастрофу, которую, согласно подсчетам древних астрономов, нужно ждать по истечении каждого 52-летия в день «4. движение» года «2. тростник».

Таковыми или приблизительно такими могли быть рассуждения ацтекских жрецов на эту тему, которая была основой их военно-религиозной

⁵ «Historia de los mexicanos por sus pinturas». — «Nueva Colección de Documentos para la Historia de México», t. 3, México, 1891, p. 235, 236.

доктрины, призванной оправдать практику человеческих жертвоприношений. Однако в этой, уже достаточно стройной религиозно-мифологической системе, игравшей совершенно определенную идеологическую роль в обществе, отражена эволюция составляющих ее элементов, в частности представлений о самом Солнце.

В последнем варианте древнемексиканских пиктографических рукописей современное Солнце представлялось в образе бога Тонатиу (рис. 2). Отягощенный множеством атрибутов, он восседает на небесном престоле, украшенном внизу датой «4. движение», и управляет миром⁶. Однако подобное представление о Солнце не всегда было таким, ему можно противопоставить более древние варианты. Сохранившиеся письменные источники и изобразительный материал помогают воссоздать некоторые этапы развития представления о Солнце и мировых эпохах в рамках древнемексиканской мифологии.

Согласно мифу, передаваемому известным индейским автором Ф. А. Иштлильшочитлем (1568—1648), однажды Солнце перестало двигаться, остановилось. Наступил долгий день, который нес людям гибель от горячих лучей. Восстановил движение солнечного светила москит, который укусил его за ногу⁷.

Эта легенда, конечно, очень древняя, имела хождение в народе и тогда, когда знаменем официальной идеологии было ранее упомянутое представление. И можно думать, что информация, полученная Иштлильшочитлем, исходила от рядового члена древнеацтекского общества. Наш автор не сообщает о данном факте больше никаких подробностей, по которым мы могли бы судить о том, кто же был Солнцем, облик какого существа оно имело. Но по законам мифа совсем необязательно, чтобы это было существо, похожее на то, что окружает человека. Просто Солнце, которое совершает свой путь по небу, имеет ноги или крылья, поскольку их имеет человек, животное и птица — иначе никак нельзя двигаться.

То, что Солнце не воспринималось в первоначальных мифологических системах ни как воплощение того или иного существа, ни как явление сверхъестественного свойства, во всяком случае в рамках представления о мировых эпохах, подтверждается тем фактом, что оно само во время одной из очередных катастроф было унесено ветром⁸. Совершенно очевидно, что в данном случае Солнце подчинялось всеобщему закону разрушения и обновления, который охватывал весь мир.

Однако мифологическое мышление не могло остановиться на этом уровне представления. Необходимо было найти тот источник, который служит причиной совершающихся катаклизмов, коль скоро они имеют место. В некоторой степени ответ на этот вопрос содержится в любопытной исторической хронике XVI в. «Истории мексиканцев по их рисункам». В ней смена Солнца, крушение миров связаны с единоборством двух главных мексиканских богов — Кецалькоатля и Тескатлипоки. Каждый из них, поочередно приобретая облик ягуара, изгоняет с солнечного престола своего соперника и занимает его место⁹. Хотя проблема мексиканских богов, их имен и взаимозаменяемости сложна и во многом еще неясна важен сам факт, что здесь Солнце связывается с ягуаром. Однако это совсем не значило, что для ацтеков солнце на небе — это ягуар. На небе блестящий диск, который светит, иначе — способствует жизни всего живущего. Безымянный автор «Истории мексиканцев по их рисункам»

⁶ «Codex Borgia» (ed. E. Kingsborough).— «Antiquities of Mexico», v. 3, London, 1831, pl. 44.

⁷ A. Ixtlilxochitl. Obras Históricas, t. 1, México, 1891, p. 13.

⁸ Там же, т. 1, с. 13; «Leyenda de los Soles».— «Códice Chimalpopoca». México, 1945, p. 119.

⁹ «Historia de los mexicanos por sus pinturas», p. 231—234.

сообщает, что Солнце мексиканцы рисуют, «изображают, как мы»¹⁰, а испанский хронист Д. Дуран (1538—1588) говорит о блестящем зеркале, которое представляет Солнце¹¹.

Следовательно, мы можем констатировать, что здесь проявляется, если можно так сказать, основной закон несоответствия, разноуровненности всех мифологических сюжетов: один и тот же объект повествования в различных мифах представляется различным образом. Явление, изображенное и решенное определенным образом в одном мифе, в другом может представляться совершенно по-иному. Именно поэтому так трудно даже как будто близкие мифологические мотивы выстроить один за другим, подчинить их законам формальной логики. Как раз это можно сказать относительно представления о Солнце в древнеацтекских мифах, которому, кроме всего прочего, иногда приписывался древнемексиканской религиозной мыслью облик божественного орла.

На следующем мифологическом уровне Солнце приобретает тот антропоморфный облик, который мы видим обычно в кодексах (рис. 2). Смена солнц происходит теперь не в результате борьбы животных, что было характерно для предыдущего сюжета, а в итоге противоборства главных божеств в антропоморфном облике. Этот вариант наглядно отражен и в так называемом Ватиканском кодексе 3738 А, где всем мировым эпохам покровительствуют именно такие боги¹².

Дальнейшее развитие представлений приводит к тому, что смена эпох превращается более или менее в следующую схему: перечисляются Солнца, называются произошедшие бедствия и указывается, когда катастрофа случилась или случится. Например, индейская историческая хроника XVI в. «Анналы Каутитлана» называет следующие даты древнемексиканского календаря, в которые якобы происходила гибель Солнц: «4. вода», «4. дождь», «4. ягуар», «4. ветер» и, наконец, «4. движение», день, когда должно было произойти крушение пятого Солнца, под которым жили ацтеки и современные им народы. В соответствии с характером календарных дат мировые периоды называются «Солнце воды», «Солнце ягуара» и т. д. (рис. 1)¹³. Что касается богов-покровителей, то в этом случае они не называются, хотя и не исключено, что подразумеваются. Тем не менее данный вариант имеет уже чрезвычайно тесную связь с календарем, этим выдающимся явлением древнемексиканского мира. Последнее обстоятельство позволяет считать легенду о Солнцах из «Анналов Каутитлана» одним из первых обобщений ацтекских мудрецов относительно прошлого, настоящего и будущего мира. Впрочем, об этом более подробно будет сказано ниже, сейчас же важно лишь подчеркнуть, что рациональное толкование мифа здесь налицо, ибо, например, в Ватиканском кодексе даты гибели миров не столь единообразны: «10. вода», «9. движение» и т. п.

Следует сказать, что идея о неустойчивости мира и смене эпох была широко распространена во всем мире, ибо сама природа толкала человеческий ум на подобного рода творчество. В нем нашли отражение как картины различных природных явлений, так и, конечно, вечная проблема жизни и смерти в их неразрывной связи. Природный фактор оказывал, безусловно, решающее влияние на формирование картин этих грандиозных бедствий, хотя не обходилось и без фантастического воображения, без которого мифологическое мышление невозможно.

Однако почему же именно у мексиканцев, ацтеков идея смены эпох стала одной из самых важных идеологических установок, несущей в себе зачатки исторической теории и системы, как будет показано в дальней-

¹⁰ Там же, с. 231.

¹¹ D. Duran. The history of Indies of New Spain. N. Y., 1964, ch. 28, p. 140.

¹² «Codex Vaticanus 3738 A» (ed. E. Kingsborough).— «Antiquities of Mexico», v. 2, pl. 7—10; v. 6, p. 172—175.

¹³ «Anales de Cuauhtitlán».— «Códice Chimalpopoca», p. 4, 5.

шем? Почему она не стала, как, например, у майя или инков, важным, но не ведущим мифологическим сюжетом? Видимо, природный фактор дополнялся более важными моментами жизни народа. И действительно, условия жизни древних мексиканцев способствовали сохранению и развитию представления о мировых эпохах.

Известно, что историю Центральной Америки составляет постоянная, во всяком случае до ацтеков, смена культурных центров и цивилизаций. Этот центральноамериканский «котел» создавал и поглощал блестящие культуры, которые сменяли друг друга как в калейдоскопе. Погибая, они передавали свои высшие достижения пришедшим им на смену культурам. В результате этого создавалась почти непрерывная линия культурного и исторического развития. Именно благодаря последнему обстоятельству стало возможным сравнительно быстрое превращение ацтеков из варварского племени в этническое объединение государственного типа.

Само собой разумеется, что вся эта далекая и близкая история не могла не оставить следа в памяти более поздних народов, хотя и сохранялась она порой в мифах и легендах. Несомненно, что и ацтеки, одни из самых поздних поселенцев древней Мексики, не могли не иметь некоторого представления о произошедших исторических событиях, о чем и свидетельствует рассматриваемое представление о мировых эпохах. В понятии об этих мирах и отражено стремление древних мексиканцев найти место смутному прошлому. А то, что это было осуществлено в форме представлений о Солнцах, или мировых эрах, решающим образом зависело от календаря.

Действительно, даже самое общее описание календаря подтверждает его поразительное созвучие с этим представлением, выполняющим в древнемексиканском обществе важнейшую идеологическую роль.

Основой разнообразных календарных подсчетов были три календаря: 260-дневный ритуальный и 365-дневный солнечный год. Учитывался при астрономических вычислениях и год обращения Венеры, составляющий около 584 дня. Эти исходные данные служили для различных циклических вычислений: 5-, 13- и 65-летний циклы Венеры, 4-, 13-, 52- и 104-летний солнечные циклы, 76- и 146-летний циклы ритуального 260-дневного года. Как раз по истечении каждого из названных циклов эти три календаря, действующие самостоятельно, определенным образом соотносились. Впрочем, не исключается, что и другие звезды принимались во внимание древнемексиканской астрономией и астрологией¹⁴.

Поскольку значение календарных подсчетов было, видимо, исключительно велико, оно не могло не оказать влияния на формирование представлений древнемексиканских народов о прошлом и настоящем как человеческого рода, так и мира вообще. Эта календарная «решетка» накладывалась на историю, закрепляя тот или иной исторический факт за тем или иным циклом. Однако ввиду того, что в реальной жизни и практике жрецы обходились, как известно, 52-летним солнечным циклом, по истечении которого счет начинался заново, история прошедшего 52-летия и еще более ранних циклов ускользала за рамки строгого исторического следования событий, ибо следующий цикл был абсолютным близнецом предыдущего. В результате всего этого получались островки самостоятельных 52-летних историй, которые чем дальше в глубь веков, тем легче можно было переставить местами и, следовательно, спутать исторические события. Таким образом, 52-летний календарь мексиканских жрецов для потребностей хронологии оказался не совсем пригодным. Именно его несовершенство приводило к тому, что в своих исторических построениях мудрецы были вынуждены, сохраняя идею цикличности, характерную для их календаря, представлять себе прошлое и настоящее мира в виде периодов, насчитывающих сотни и тысячи лет. Хотя даже в названных

¹⁴ R. Noriega. Estudios sobre la Piedra del Sol. México, 1954.

здесь немногих источниках продолжительность мировых периодов указана различной, вероятнее всего, что в официальном варианте она была строго определенной и тем более одной для всех периодов.

Почему этих мировых эпох было пять, считая текущую? Возможно, древние ацтеки сохранили воспоминание именно о таком числе праздников Нового огня, отмечавшихся каждое 52-летие.

Почему каждая из эпох имела своего бога-покровителя? Потому, что по правилам древнемексиканского календаря, его имел даже час, день, неделя и каждый месяц года.

Конечно, на практике представление о Солнце и мировых периодах не было таким рафинированным. В реальной, ушедшей в прошлое мифологии и идеологии древней Мексики все изложенные идеи сосуществовали и, видимо, каждый из вариантов вспоминался в каждом подходящем случае. И хотя описанный выше календарь использовался также и майя, да и сама идея мировых Солнц не являлась собственно ацтекской, поскольку приписывается их блестящим предшественникам тольтекам, тем не менее в таком виде науке она стала известна благодаря ацтекам. Во-первых, потому, что ко времени Конкисты они были носителями наиболее высокоорганизованных общественных форм в древней Мексике. Во-вторых, потому, что идея мировых эпох, созвучная их экспансионистским настроениям и культу, как уже неоднократно упоминалось, оправдывала любое их кровавое действие как необходимое для поддержания и продолжения жизни пятого Солнца. Однако представленный здесь, хотя и неполный, анализ представления древних мексиканцев о Солнце и мировых эпохах показывает, что оно служило не только для выражения военно-религиозных идей, но и использовалось ими в качестве основания для первых теоретических заключений исторического характера ¹⁵.

¹⁵ Из монографических работ и статей, касающихся рассматриваемых здесь вопросов, можно назвать лишь некоторые: *М. Леон-Портилья*. *Философия нарыа*. М., 1961; *L. Boturini Benaduci*. *Idea de una nueva Historia General de la América Septentrional*. Madrid, 1747; *A. Humboldt*. *Vues des Cordillères et monuments des peuples indigènes de l'Amérique*, t. 2, Paris, 1816, p. 118—136; *M. Orozco y Berra*. *Historia antigua y de la Conquista de México*, t. I, México, 1880, cap. 1; *A. Chavero*. *Historia antigua y de la Conquista*. México, 1940, cap. 1, 2; *E. Seler*. *Mythus und Religion der alten Mexikaner*. — «Gesamte Abhandlungen zur Amerikanischer Sprach- und Altertumskunde», B. 4, Wien, 1961; *A. Caso*. *The Aztecs, people of the Sun*. London, 1959; *J. Soustelle*. *La pensée cosmologique des anciens mexicains*. Paris, 1940; *J. Nicholson*. *Mexican and Central American mythology*. London, 1967; *A. D. Smets*. *Fins du Mond successives. Essai d'interprétation culturelle*. — «35 Congreso Internacional de Americanistas», v. 2, México, 1964; *S. Marti*. *Simbolismo de los colores, deidades, números y rumbos*. — «Estudios de la cultura Nahuatl», t. 2, México, 1960; *W. Elzey*. *The Nahua myths of the Sun: history and cosmology in pre-Hispanic Mexican religions*, «Numen», 1976, v. 23, № 2; *L. Sejour*. *Burning water. Thought and religion in ancient México*, N. Y., 1957; *M. F. E. Veytia*. (филиал в Тобольске) — ГАТОТ, ф. 156, оп. 20, № 702.



ПОИСКИ ФАКТЫ ГИПОТЕЗЫ

З. П. Соколова

ЗАГАДКА ЮИЛЬСКОГО ГОРОДКА

В 1973 г. в газете «Известия» появилась небольшая заметка об экспедиции Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР к месту расположения старинной русской крепости-острожка на Кызыме, притоке р. Обь (Березовский район Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области), называвшейся в прошлом Юильский городок. В заметке отмечалось, что «ни летописных, ни других материалов о времени и целях возведения» крепости нет. Ученые — историки и архитекторы, обследовавшие остатки разрушившегося со временем городка, предположили, что он был построен в конце XVII — начале XVIII веков¹.

Заметка заинтересовала меня. Дело в том, что более двадцати лет назад я тоже была в Юильском городке и меня давно мучили его загадки.

1956 год. В составе экспедиции Ханты-Мансийского краеведческого музея я еду на Кызым. Руководит экспедицией сотрудница музея Т. П. Воробьева, нам помогают проводники и переводчики, студенты Ханты-Мансийского педучилища, Степан и Владимир, по происхождению — казымские ханты. Наша задача — археологическая разведка, сбор коллекций для музея.

Вверх по Кызыму мы поднимаемся с попутным транспортом, а вниз поплывем на весельной лодке, полученной на Кызымской культбазе. Наш конечный пункт по реке — поселок Юильск. Это новое селение, построенное на берегу Кызыма после войны.

— Зайдите по пути вниз в Юильский городок, — говорит нам на прощанье местный охотник А. И. Молданов. Он долго объясняет Степану и Володе, как ближе пройти к городку с берега, где для этого высадиться с лодки.

На следующий день после отплытия из Юильска мы прибываем к устью впадающей в Кызым речки Вош-еган. «Вош» по-хантыйски — укрепленное поселение, «еган» — река. Отсюда по тропе, ведущей через болота и сосновые леса, до Юильского городка около 5 км.

Только в лесу и на болоте начинаешь по-настоящему оценивать силу комариных атак. Комары здесь особенные — крупные, рыжие. Они сходу пикируют на открытые участки тела и тут же впиваются в него. Противокосариные сетки, предусмотренные нашей экипировкой, и плотные куртки спасают нас. Но в жаркий день идти в таком обмундировании нелегко. Струящийся по лицу и телу пот еще больше привлекает кровососов. Они ухитряются прокусывать даже прорезиненную ткань плаща. Вокруг каждого из нас — тучи кровожадных злодеев. Идет в ход противокосариная жидкость — диметилфталат. Но на жаре она смешивается

¹ «Известия» 27 июля 1973 г., № 175 (17408) («Загадки исчезнувшего городка»).

с потом и разъедает кожу. Степан и Володя, чертыхаясь и размазывая грязь по лицу, клянутся больше никогда ею не пользоваться.

Несмотря на это, идти интересно. Тропинка — особенно на сухих борových возвышенностях, поросших ягелем, — почти не видна, но наши проводники каким-то шестым чувством угадывают ее направление. Правда, один раз после долгих гаданий мы сворачиваем не туда. Вскоре обнаруживаем, что к описанию дороги, которое мы получили в Юильске,

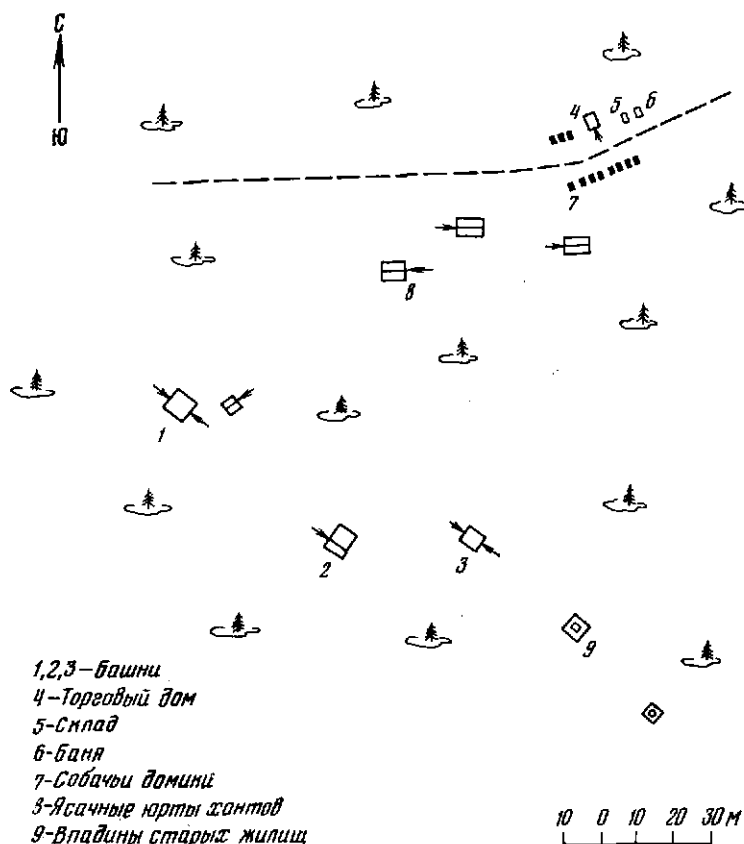


Рис. 1. План Юильского городка

местность явно не подходит. Приходится одному из ребят залезть на самую высокую сосну и ориентироваться по реке. Умение ориентироваться на местности, знание края, чтение лесной грамоты — направления ветра, положения солнца в пасмурный день, следов и пр. — характерно для наших спутников, хотя они уже несколько лет учатся и живут в городе. Эти народные знания и привычки закладываются еще в детстве, и кажется, что это сидит у них в крови.

Довольно часто дорога идет по болотам. Тропинка переходит в специально уложенную тонкими бревнами и жердями дорогу-лежневку. Когда идешь, жерди нередко уходят под воду. Чтобы не провалиться в болото, надо идти по ним с палкой, очень осторожно...

Но вот показалось и первое деревянное строение Юильского городка — одна из башен старой крепости. Можно передохнуть и приступить к осмотру. Однако сидеть долго не приходится — не дают покоя комары. Тихо, ни малейшего ветерка...

— Давайте перенесемся лет на двести назад и представим себе, что мы въезжаем в городок по дороге, — предлагаю я.

Мы находим дорогу и идем по ней. По обе стороны дороги выстроились два ряда низких домиков для собак. Это маленькие, дощатые конурки с двускатными крышами. В них помещались ездовые собаки, кажется, вот-вот из них выскочат с лаем сердитые сибирские лайки... Степан и Владимир удивленно переглядываются, они уже привыкли к мысли, что их предки ездили на оленях, а про собачий транспорт забыли.

Справа от дороги обращенный входом к ней стоит торговый дом, в котором купец развешивал свои товары на жердях и бревнах, укрепленных вдоль стен. Здесь же он вешал и шкурки пушных зверей, которые ханты несли ему в обмен на продукты и товары — ружья, боеприпасы, ткани, бисер... Рядом с домом находились, очевидно, склады. Купец жил, вероятно, в том же доме, где торговал, — неподалеку от него стоит небольшой сруб-баня с печкой-каменкой.

А слева начинаются хантыйские юрты — так раньше называли дома хантов. Сейчас они разрушены, от них остались лишь углубления в земле со следами срубов, нар. Домов было четыре. По сохранившейся нижней части дома можно восстановить план его. Вдоль трех стен шли нары — земляные возвышения до 40 см высотой, огражденные с боков досками, — для сна и дневного отдыха. В левом от входа углу — остатки глинобитного очага-чувала, сибирского камина. Пол застелен досками. Дома довольно вместительны, их площадь от 50 до 60 кв. м. Срубы капитальной застройки, чувствуется, что в них долго жили. По всей видимости, это юрты постоянного населения Юильского городка, в них, а также в чумах, поставленных около городка, могли останавливаться ханты и ненцы с Оби, Казыма, из тундр, приезжавшие уплатить ясак и купить продукты, товары. Около башен — две уже заплывшие ямы от старых, давно брошенных и разрушившихся домов, тоже со следами возвышений-нар.

Башни виднеются сразу же за юртами, они срублены из толстых вековых деревьев. Это сторожевые башни своеобразной конструкции. Две башни частично разрушились, внутри них растут молодые березки. В стенах — многочисленные бойницы. На дощатых воротах одной из башен читаем надпись: «От города Березова до Юильского городка 236» (верст). Тут же нарисованы лук и поясное изображение человека с подписью «хант».

Я размышляю вслух: «Когда-то башни венчала коническая или двускатная крыша. А от башни к башне шел высокий тын из заостренных бревен. Вот эта башня — с арочным входом, — наверно, была надворотной. А то сооружение, отличающееся от башен конструкцией, явно — казарма для казаков. К башне, которую мы на плане отметим номером 2, примыкает срубная пристройка, состоящая из двух помещений. К сожалению, об их назначении сейчас приходится только гадать. Караульное помещение? Возможно. По площади башни невелики: 16—18 кв. м, пристройки — 9 и 11 кв. м». Мы выходим к центру городка. Сейчас вся его территория заросла лесом, а когда-то здесь была открытая, очищенная от леса площадка и, между прочим, где-то здесь возвышалось мрачное сооружение — виселица для непокорных остяков и самоедов...

Пока я объясняю назначение построек, мои спутники удивленно поглядывают на меня. Наконец, Степан не выдерживает: «Откуда Вы все это знаете? Разве Вы здесь были раньше?»

— Ну, для этого совсем не обязательно было быть тут раньше. Существует литература, архив — из них можно кое-что почерпнуть.

Юильский городок — интересный памятник истории и архитектуры. Он — единственный из сохранившихся до недавнего времени² на Тоболь-

² Сейчас башни перевезены в Новосибирск (Академгородок), где будет создан Историко-Архитектурный музей под открытым небом Института истории, филологии и философии СО АН СССР.

ском севере деревянных острожков, построенных русскими во время освоения сибирских земель. Похожие башни, кажется, стоят сейчас лишь где-то в Восточной Сибири...

А когда-то в этих краях было много таких острожков — Ляпинский, Березовский, Обдорский, Сургутский, Пелымский. Их строили казаки, это были форпосты Русского государства в Сибири. Здесь собирали ясак, чиновники творили суд и расправу, торговали купцы. Большинство таких городков-крепостей возникло в конце XVI—начале XVII вв., на месте многих из них позднее выросли города — Березов, Обдорск (Салехард), Сургут, Пелым и др. О сооружении этих городков имеются официальные данные, хранящиеся в архивах Тобольска, Красноярска...

Но тогда же было воздвигнуто немало и таких острожков, которые в силу различных причин, отчасти из-за своего положения — в глуши, далеко от магистральных речных путей, — со временем захирели и перестали существовать. К числу их принадлежал и Юильский городок на Казыме. Его основание нигде не зафиксировано и его история неясна. Когда и кем он был построен? Для чего понадобилось его сооружать?

Только некоторые данные можно найти в архивах и в литературе. Селение хантов Юильский городок на Казыме известно нам с конца XVIII в.³ В XIX в. его называли также «Чуильский городок» и «Казымский городок»⁴. Г. Ф. Миллер, видимо, считал, что это были два разных городка: Юильский остяцкий городок на Казыме и Казымское городище — «значительный остяцкий городок» в 150 верстах от устья Казыма, существовавший там с древнейших времен⁵. Н. А. Абрамов упоминает Юильский городок как «древний остяцкий городок» по данным 1828 г. наряду с Ванзеватским, Амынским, Кукларским и Камытским, и называет расстояние от Березова до него — 236 верст⁶. Как видим, расстояние, указанное Н. А. Абрамовым, и на воротах башни Юильского городка, совпадает, Ванзеватские, Амынские, Кукларские и Памытские юрты — селения хантов — известны нам из тех же архивных данных XVIII в. Но среди русских городков и укреплений Березовского уезда Н. А. Абрамов перечисляет и Казымский⁷. Все эти материалы убеждают нас в том, что на Казыме был один городок — Казымский, возникший на месте старинного хантыйского селения — Юильского городка или юрта.

Русские острожки чаще всего возникали на месте древних селений и городищ (укрепленных поселений) аборигенов. Главная причина этого — удачный выбор места и привычное тяготение населения к уже сложившимся местам жительства. Такова история Самарова, Тобольска, Березова, Салехарда и других современных городов и населенных пунктов.

А вот в Ленинграде в архиве Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого, который создан на базе Кунсткамеры Петра I, хранятся интереснейшие рисунки-панно, под названием «шторки», созданные художником Н. Шаховым. На них обратил внимание известный этнограф, мой научный руководитель Валерий Николаевич Чернецов⁸. Что же это за «шторки»? На ткани изображены сцены из жизни хантов и манси. На одной из таких шторок нарисован и Казымский городок. Он расположен на речке, впадающей в Казым. На рисунке видны надворотная башня, изгородь вокруг городка, виселица, собачьи домики, крыши хантыйских домов-юрт. А на другой шторке изображен Ляпинский городок с точно такой же надворотной башней. На р. Ляпин (Сыгва по-

³ Церковные метрические книги за 1794 г. Государственный архив Тюменской обл. (филиал в Тобольске) — ГАТЮТ, ф. 156, оп. 20, № 702.

⁴ Там же, № 731 (Чемашевская церковь, л. 2 об., Сосьвинская церковь, л. 4).

⁵ Г. Ф. Миллер. История Сибири, М. — Л., 1937, с. 250, 269.

⁶ Н. А. Абрамов. Описание Березовского края. — «Записки РГО», XII, СПб., 1857, с. 396.

⁷ Там же, с. 362.

⁸ В. Н. Чернецов. Быт хантов и манси по рисункам XIX в. — «Сборник МАЭ», X, М. — Л., 1949.

мансийски), притоке Северной Сосьвы, впадающей в Обь слева, почти против устья Казыма, было несколько городков. Два из них носили чуть ли не одинаковые названия: городок Ляпин и Ляпинский городок. Первый находился в 30 верстах от владения Сыгвы в Северную Сосьву, на речке Лопинг-соим. Это древнее селение абorigенов Лопинг-уш⁹, на месте которого сейчас стоит Ломбовож. Русский городок Ляпинский упомянут в списке Н. А. Абрамова, на который мы уже ссылались. Он тоже находился на р. Ляпин, но в другом месте — против села Саранпауль и просуществовал до 1927 г., когда его нечаянно сжег один из косарей. К счастью осталось описание этого городка, сделанное в 1884 г. писателем К. Д. Носиловым, много писавшим в свое время о жизни манси.

«Против с. Саран-пауль, на противоположном берегу р. Сыгвы (р. Ляпин), находится полуразрушенная, деревянная с бойницами крепость... На невысоком, но прежде обрывистом берегу, в бору стоит четырехугольный, в 250 фут квадратной площади при высоте стен в 24 фута, сруб, сложенный из бревен в виде правильного четырехугольника. На высоте 18 фут стена расширяется на 2 фута с уступом для прохода, на который настлан деревянный из круглых бревен пол. Крыши нет, остались одни лишь боковые отверстия для стрельбы, как в нижних, так и в верхних стенах. С западной и восточной стороны, по направлению берега, устроены полукруглые, аркой, двери. Для подъема в верхний этаж или площадку для боя установлены в углу два со ступенями бревна. К востоку от главного боевого здания находятся в нескольких шагах два низменные помещения, тоже с двойным потолком и отверстиями для стрельбы. От боков (южного и северного) главной бойницы идет высокая бревенчатая с острыми оконечностями стена; она шла вокруг и двух других зданий, но ныне она разрушена. На западной стороне бойницы сохранились следы строений, занимающих до 30 сажен в длину местности на берегу. Несколько лет тому назад над дверьми (западными) еще видна была надпись года постройки крепости, которая показывала, что здание было устроено более 300 лет тому назад»¹⁰. К. Д. Носилов записал предания о постройке и назначении Ляпинского городка. Часть манси считала, что крепость была построена ими, чтобы защититься от набегов ненцев. Другие утверждали, что ее соорудили русские для защиты манси от ненецких набегов и как пункт сбора ясака. Вероятно, правы и те, и другие, русская крепость возникла на месте старинного укрепленного селения. По преданию, манси и ненцы попадали из крепостной ограды в мансийское селение, расположенное к западу от крепости, проезжая на оленях сквозь ворота крепости с запада на восток и только уплатив ясак, иначе их били.

Когда снимаешь план Юньского городка на Казыме, описываешь его строения, видишь большое сходство его с Ляпинским городком. Скорее всего они построены одновременно. Когда это могло быть?

Откроем «Историю Сибири» и проследим за этапами освоения Западной Сибири и строительством первых острожков. Обский городок в устье Иртыша существовал с 1585 по 1594 г. В 1590 г. был построен Лозьвинский городок. Через Лозьву русские люди шли на судах по рекам Тавда, Тобол, Иртыш, Обь до Березова и Сургута. В 1593 г. новый отряд русских людей отправился в низовья Оби для создания острожка Березова, ставшего затем форпостом Русского государства в данном регионе¹¹. В это время вряд ли могли быть основаны такие городки, как Ляпинский и Казымский (Юильский): о них ничего не сообщается в летописях. А летопись фиксирует в это время все шаги русских в Сибири —

⁹ Г. Ф. Миллер. Указ. раб., с. 269.

¹⁰ К. Д. Носилов. Исторические памятники племени маньсы. — «Изв., Императорского об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии», 1890, т. 49, вып. 5, с. 565.

¹¹ «История Сибири», т. 2, Л., 1968, с. 30—34.

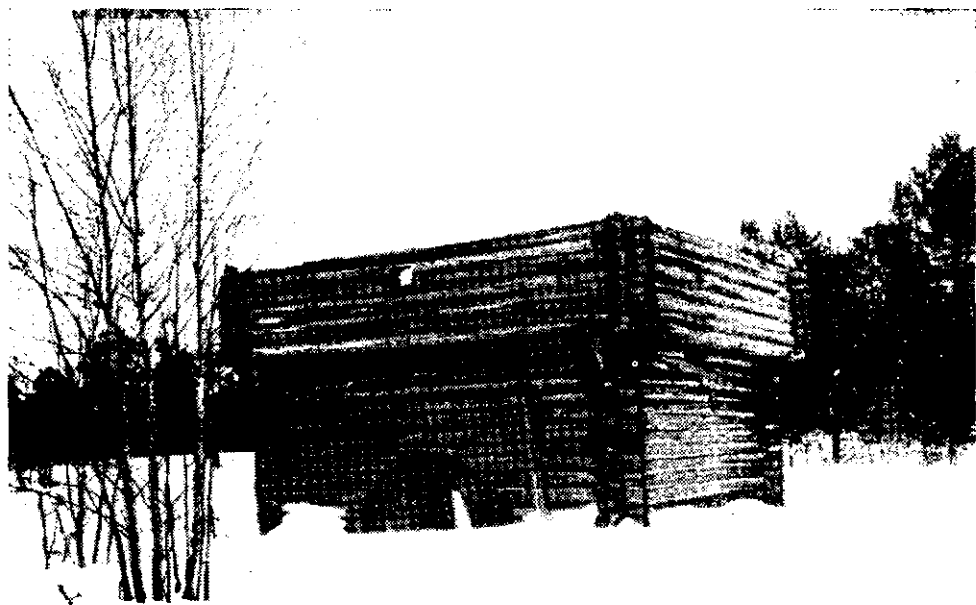


Рис. 2. Башня Юильского городка

даже создание Обского городка, просуществовавшего всего 9 лет. Таким образом, XVI—начало XVII вв. как время сооружения крепости отпадают. Отождествляя Казымский городок с Юильским, В. Н. Чернецов сравнил надворотную башню городка на шторке с фотографией одной из башен городка, сделанной И. Н. Шуховым в 1910 г. (рис. 2). Он сообщал: «После подавления военного сопротивления хантов Юильский городок продолжал существовать как опорный пункт русской колонизации. В нем производился сбор ясака, чинился суд и расправа»¹². По всей вероятности, у Чернецова были какие-то данные о постройке крепости. Возможно, сооружение ее связано с восстаниями хантов против царизма. Такие восстания были в начале, середине и конце XVII века. Например, в 1660-х годах ханты и ненцы пытались даже захватить Березов¹³. Таким образом, можно предполагать, что Юильский городок мог быть построен в конце XVII в. Большое архитектурное сходство его с Ляпинским городком служит аргументом в пользу более ранней даты сооружения и Юильского городка на Казыме, и Ляпинского на Сыгве.

Но дата постройки — только одна загадка Юильского городка. Существует и другая. Дело в том, что городок с таким же точно названием существовал в XVI в. в верховьях все того же Ляпина.

Ханты и манси, издавна жившие на территории Прикамья, Урала и Западной Сибири, к моменту присоединения Сибири к России группировались в территориальные объединения, которые в феодальной России получили название «княжеств». Одно такое «княжество» — Куноватское — занимало бассейн Нижней Оби с притоками Куноват, Северная Сосьва с Ляпиным и др. В 1586 г. его возглавлял «князец» Лугуй; в челобитной на имя царя он выступает от 6 городков: Куновата, Илчмы, Ляпина, Мункоса, Юила и Березова¹⁴. Г. Ф. Миллер помещает Юил в

¹² В. Н. Чернецов. Указ. раб., с. 20.

¹³ Г. Тарасенков. На просторах Обь-Иртышья. Тюмень, 1964, с. 115.

¹⁴ Г. Ф. Миллер. Указ. раб., с. 344.

верховьях Сыгвы и приводит его мансийское название — Сек-теллек-уш¹⁵. Н. А. Абрамов, перечисляя русские городки Березовского края, упоминает Ляпинский, Юильский и Казымский¹⁶. О каком Юильском городке здесь идет речь — на Казыме или Ляпине — неясно.

Но почему два городка, расположенные довольно далеко друг от друга, носили одинаковое название? Случайно ли это? Существовала ли какая-либо связь между ними? На эти вопросы нам помогут ответить некоторые события этнической истории северных хантов и манси.

Сначала мы должны выяснить, каково происхождение населения р. Казым, каковы его связи с ляпинцами. Напомним, что современное казымское население — ханты, а ляпинское — манси. Хотя в современной материальной и духовной их культуре много общего, но по языку лингвисты четко разделяют эти два народа.

Рассмотрим фамильный состав населения Казымской волости в XVIII—XIX вв. При этом мы будем опираться на метрические книги по волости за данный период¹⁷. Во-первых, мы можем выделить особый, казымский фонд фамилий, не встречающихся в других районах, во-вторых, найдем некоторым из них аналогии в иных местах. По данным метрических книг в XVIII—XIX вв. в Казымской волости известно 98 фамилий. 56 из них входят в основной казымский фонд фамилий. Остальные 42 имеют аналогии среди хантыйских (чаще всего) и мансийских фамилий различных регионов: у северных хантов 32 фамилии повторяются 41 раз, у южных хантов 8 фамилий встречаются 10 раз, у восточных хантов 14 фамилий отмечены 21 раз, у восточных манси 4 фамилии зафиксированы 4 раза.

Какие выводы можно из этого сделать? Заметно сходство с фамилиями обских и иртышских хантов и связь казымского населения по фамильному составу с ляпинским населением. Выявляются таким образом две тенденции заселения бассейна Казыма: с Оби и Иртыша и с Ляпина и Северной Сосьвы. Именно здесь на Казыме известна фамилия Асхов (Ас-Обь, хо — человек). На Оби был известен «большой угорский князь» Молдан, очевидно, основатель казымской фамилии Молдановы. Любопытна и связь самого названия реки Казым (по хантыйски — Касум) с фамилией Касымовы, известной на р. Демьянке¹⁸. В то же время имя Касыя бытовало в XVI в. в Селиярской и Салымской волостях в Среднем Приобье¹⁹. По всей видимости, первый поток переселенцев на Казым шел с юга, с Иртыша, по Оби. Это, очевидно, общая тенденция заселения таежной части Западной Сибири. Не случайно, еще М. А. Кастрен записал предания нижнеобских хантов о приходе их с Иртыша²⁰. Такие же легенды отметил и А. Каннисто в Среднем Приобье²¹.

С другой стороны, большое число одинаково звучащих фамилий среди казымских хантов, ляпинских и сосьвинских манси позволяет утверждать, что на Казым пришла часть ляпинско-сосьвинского населения. Почему именно на Казым, а не наоборот — с Казыма на Ляпин и Северную Сосьву? Потому что в XVI—XVIII вв. население мигрировало в основном на север и восток. В этом нас убеждает этническая история северной группы манси — ляпинских и сосьвинских, а также изменение

¹⁵ Там же, с. 269—270.

¹⁶ Н. А. Абрамов. Указ. раб., с. 362.

¹⁷ ГАТот, ф. 156, оп. 20, №№ 702, 709 (списки населения по исповедным росписям метрических книг Казымской Успенской церкви).

¹⁸ Фамилии Казымов — Казымкин — Касымкин, известные на Агане и Средней Оби, вероятно, образовались поздно (конец XVIII в.) и связаны с хантами-переселенцами с Казыма.

¹⁹ Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА), ф. 214, ст. 936, ч. II, л. 23 (1661 г.).

²⁰ А. Kannisto. Über die frühere Wohngebiete der Wogulen im Lichte der Ortsnamenforschung. В. XVIII, Н. 1—3, Helsingfors, 1927, S. 58.

²¹ Там же, с. 59.

численного состава населения в Казымской волости в XVII в. Теперь уже совершенно ясно, что северные манси — недавнее этническое образование. Еще в XVIII в. на Ляпине и Северной Сосьве было смешанное — хантыйско-мансийское население. Манси — переселенцы с юга (Конда, Пелым) — смешивались здесь с аборигенами — хантами. Этот процесс закончился, вероятно, только в XIX в.²² Процесс «вогулизации» аборигенов был облегчен тем, что часть хантов ушла в это время с Ляпина и Северной Сосьвы в низовья Оби, укрываясь от массовой христианизации, начавшейся в начале XVIII в. По-видимому, часть этих ляпинцев и сосьвинцев ушла и на Казым. Такие переселения были и раньше, например, в XVII в. Так, с 1629 по 1695 г. население на Казыме заметно увеличилось: со 137 до 235 ясачных плательщиков²³. Если же мы сравним имена и фамилии жителей Казыма, Ляпина, Северной Сосьвы, Ляли, Лозьвы, то увидим среди них сходные: Кырьсы (сравни Кырьсхов), Мургиль (ср. Мыргилев), Песков, Ленгин и др.²⁴. Следовательно, миграции с запада на восток происходили и раньше, до XVII в.

Таким образом, на Казым попали представители той же этнической группы, которая была причастна к созданию Юильского городка на Ляпине. Так мы подошли к выяснению второй загадки Юильского городка. Он был основан на Казыме пришельцами с Ляпина и потому имел то же самое название, что и Юильский городок на Ляпине. Кто они были, эти пришельцы — ханты или манси? Скорее всего ханты, но может быть, это было уже смешанное хантыйско-мансийское население.

Когда это было? Точный ответ могут дать только раскопки самых старых жилищ на территории городка. Но можно предположить, что это было до XVII в. Позднее на месте хантыйского селения возник русский острог.

Между прочим, большое сходство между современными казымскими хантами и ляпинско-сосьвинскими манси прослеживается не только в их истории, но и в языке, культуре. Лингвисты отмечают большую близость северо-мансийского и северо-хантыйского диалектов. Много общего и в их материальной и духовной культуре — в форме и узорах меховых и берестяных изделий, в представлениях о мире, душе, ее судьбе после смерти человека. Например, обычаи, связанные с изготовлением и хранением изображения — вместилища души человека²⁵, обычно у хантов и манси сильно разнятся. А вот на Казыме и Северной Сосьве они очень похожи. И там, и здесь на спинке детской люльки рисуют «тетерку» — «птицу сна», в которой якобы пребывает так называемая «сонная душа» человека, и ребенок крепко спит. Тетерка связывает сосьвинских и казымских хантов и в другом отношении. В тамгах ляпинцев и казымцев встречается изображение «тетеры»²⁶. В. Н. Чернецов записал мансийскую сказку о женщине-богатырке из верхнесосьвинского селения Няксимволь²⁷. В косах у нее — медные птички. Первый ее муж — верхнеобский богатырь, второй — ненец. Легенда говорит, что она поселилась потом на Казыме — «Вершины Казыма реки Великая женщина, казымского народа предок она» — Касум най эква — Тетеря²⁸.

²² Н. А. Миненко. Северо-Западная Сибирь в конце XVIII — начале XIX в. Новосибирск, 1975, с. 144—146; З. П. Соколова. Проблема рода, фратрии и племени. — «Сов. этнография», 1976, № 6, с. 34.

²³ Б. О. Долгих. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. «Труды Ин-та этнографии АН СССР» (далее — ТИЭ), т. LV, М., 1960, с. 65.

²⁴ ЦГАДА, ф. 214, кн. 10, л. 15; Ю. Б. Симченко. Тамги народов Сибири XVII века, М., 1965, с. 82—86.

²⁵ В. Н. Чернецов. Представления о душе у обских угров. — «Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований» (ТИЭ, т. LI), М., 1959.

²⁶ ЦГАДА, ф. 214, ст. 103, л. 240 об.; ст. 105, л. 166 об. (1635—1640 гг.).

²⁷ В. Н. Чернецов. Вогульские сказки, Л., 1935, с. III.

²⁸ В. Н. Чернецов. Древняя история Нижнего Приобья. — «Материалы и исследования по археологии СССР», № 35, М., 1953, с. 62.

На Казыме недалеко от Юильска стоял когда-то священный амбар. Приезжали сюда ханты со всей реки, чтобы поклониться Вут-ими — Великой казымской женщине. К туловищу ее изображения, сделанному из связок шкур зверей, была прикреплена металлическая птичка. Лицо Вут-ими — серебряные пластины с подвесками, которые издавали мелодичный звон, когда открывали дверь в ее жилище. В песне о Вут-ими поется, что она — дочь Уен-Торма, пришла с низовьев Оби, а в Казым-мысе (селение на Оби) оставила свою дочь. Быть может, в матримониальных связях этого предка казымских хантов и сосвинских манси отразились сложные процессы этнической истории обских угров?

Так я закончила историю Юильского городка...

Прошло немного времени. Однажды, просматривая свою картотеку библиографии, я наткнулась на карточку: «Шершеневич, Сделанное на месте описание городков Казымского и Ляпинского...»²⁹.

Еду в библиотеку им. В. И. Ленина, заказываю журнал, с нетерпением жду его. Что в нем? Пролет ли свет эта заметка на неясное в истории Казымского городка?

Наконец, получаю журнал. Автор двух заметок — председатель Тарского земского суда, посланный генерал-губернатором Западной Сибири на Обский север в 1843—44 гг. для сбора сведений к составлению проекта законов для «кочевых и бродячих инородцев». Согласно распоряжению Министерства внутренних дел ему вменено в обязанность разыскание и описание «местных древностей». Им же сделаны на месте замеры и рисунки обоих городков, которые хранятся в архиве Министерства внутренних дел³⁰.

Из заметок делаю главные выводы. Во-первых, Юильский городок и Казымский городок, или городище, действительно, один и тот же исторический памятник³¹. В этом я права. Во-вторых, в одной из заметок есть косвенные данные о времени создания Ляпинского городка: в 1501 г. русские войска взяли его во время похода на Северную Сосьву и Ляпин. До конца XVI в. на месте городка было торговое место; с основанием г. Березова торговля была перенесена туда³².

О времени создания Казымского или Юильского городка, по данным Шершеневича, не сохранилось ни исторических сведений, ни преданий³³. Шершеневич совершенно правильно выделяет два типа укрепленных поселений в Западной Сибири — городки хантов и манси и острожки, сооруженные русскими. Нередко некоторые из них носят одни и те же названия, так как русские крепости возникали на месте хантыйских и мансийских³⁴. Он отмечает, что русские острожки «недавнего построения», воздвигнуты «для защиты от некрещеных самоедов» (ненцев). Действительно, в преданиях хантов часто встречаются упоминания о набегах ненцев, вводивших с собой женщин. Уместно при этом вспомнить и предания манси о назначении Ляпинского городка, записанные К. Д. Носиловым. Шершеневич сообщает также, что в Юильском городке на Казыме было «сборное место ясака с казымских хантов»³⁵.

Шершеневич разыскал в делах Березовской воеводской канцелярии два документа — Высочайшие Указы от 18 августа 1730 г. и 11 января 1731 г., гласившие: «Березовского Воеводства в ясачных волостях, и для охранения ясачных остяков от воровской самояди, построить острожки в Обдорской, Сосьвинской, Ляпинской и Казымской волостях»³⁶. По его

²⁹ «Журнал Министерства внутренних дел», СПб., 1844, ч. 6, № 4—6.

³⁰ «Остатки старины в Березовском крае». — «Журнал Министерства внутренних дел», СПб., 1844, ч. 5, № 1—3 (заметка составлена по рапорту Шершеневича).

³¹ Шершеневич. Указ. раб., с. 506; «Остатки старины»..., с. 347.

³² «Остатки старины»..., с. 347.

³³ Там же; Шершеневич. Указ. раб., с. 496.

³⁴ Шершеневич. Указ. раб., с. 504.

³⁵ Там же, с. 506.

³⁶ Там же, с. 505.

мнению, время сооружения Казымского городка не может быть ранее указов 1730—31 гг.

В 1844 г. Юильский городок еще не зарос лесом, но уже был в развалинах, сохранились лишь его башни. Ляпинский городок тоже был брошен, но в нем еще сохранились не только башня, казарма и амбар, но и палисад ³⁷.

Какие выводы можно сделать из этого описания?

По-видимому, Ляпинский городок был сооружен в XVI в., а подновлен в связи с указами 1730—31 гг. в XVIII в. Юильский или Казымский городок, как и Ляпинский, построен на месте хантыйского укрепленного селения, которое возникло давно, может быть, в XV—XVI вв., когда часть ляпинцев переселилась на Казым. Время сооружения Казымского городка русскими, скорее всего, первая треть XVIII в., как и предполагал Шершневич. Около середины XIX в. он уже пустовал, и население ничего не могло о нем вспомнить. Это естественно — ведь прошло более ста лет с его основания.

Но вернемся к «шторкам» Н. Шахова. На них Казымский городок изображен с палисадом, виселицей — следовательно, он не был еще заброшен. «Шторки» Н. Шахова датируются либо концом XVIII в., либо серединой XIX в. ³⁸. Если «шторки» нарисованы в XIX в., значит он пользовался какими-то оригинальными рисунками, сделанными в XVIII в. Сохранились ли они? Что они собой представляют? Либо он рисовал их, не копируя, как считает В. Н. Чернецов. Тогда он мог это делать только в XVIII в.

История Юильского городка проясняется, но еще не совсем ясна. Большое сходство в архитектуре Ляпинского и Казымского городков может, на наш взгляд, сближать дату их сооружения, т. е. время построения Казымского городка может оказаться более ранним, чем XVIII в. Вероятно, еще есть какие-то материалы, не известные нам, — архивные, рукописные, может быть, даже печатные.

Поиск продолжается...

³⁷ Там же, с. 506—507.

³⁸ В. Н. Чернецов. Быт хантов и манси..., с. 33.

Ежегодные «Чтения памяти П. Г. Богатырева», которые проводятся секцией фольклора Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии начиная с 1972 г., стали уже традицией*.

Четвертые Чтения (15—17 октября 1975 г.) были посвящены теме «Специфика фольклора», связанной как с интересами П. Г. Богатырева в области теории фольклора, так и с задачами фольклористики, определившимися в последние годы. Если раньше, отметил во вступительном слове В. Е. Гусев (Ленинград), споры велись по выявлению главного специфического признака народного творчества, то теперь суть вопроса состоит в установлении системы признаков, характеризующих его как особый род деятельности.

Докладчиками было намечено несколько аспектов в решении данной проблемы, предложено несколько подходов к ней — и общетеоретических, и связанных с изучением отдельных явлений, жанров, видов фольклора.

В значительной группе докладов ставились вопросы вариантности народного творчества. Так, рассматривая вариантность как способ существования любой традиции, К. В. Чистов (Ленинград) подчеркнул, что фольклорная традиция в отличие от языковой представляет собой трансмиссию не только способов и средств воспроизведения текстов, но и самих текстов. В связи с этим были проанализированы закономерности стабилизации и вариантности составных членов коммуникативной триады — исполнитель — текст — воспринимающий, специфических для разных жанров.

И. И. Земцовский (Ленинград) в докладе «Проблема вариантности в свете музыкальной типологии (Опыт этномузыковедческой постановки вопроса)» отметил многозначность и условность термина «вариант» в фольклористике. По мнению докладчика, за вариантностью всегда стоит традиционная канонизация устного творчества, которую можно осмыслить в аспекте типологии; однако умозаключения от реконструированных инвариантов к конкретным исполнительским вариантам являются, на его взгляд, малопродуктивными. Докладчик рассматривает вариант как показатель и обновляющих, и консервативных традиций, а суть вариантности видит в диалектической коррелятивности изменчивости и стабильности; он предлагает различать вариантность сознательную и бессознательную и дифференцировать термины «вариант» и «вариантность», с их особыми коррелятивными парами: вариантность — стабильность, вариант — мелодический тип.

В докладе Н. И. Савушкиной (Москва) была уточнена формула взаимодействия варьирования и импровизации в русской народной драме. Пересмотрев границы действия каждого из названных законов исполнения текста, Н. И. Савушкина отметила ограниченность импровизационного начала в народной драме — произведении достаточно цельном.

В. В. Сенкевич-Гудкова (Ленинград) в сообщении «О специфике импровизации в песенном фольклоре народов Севера» охарактеризовала совокупность дифференцирующих признаков, отличающих импровизацию саамов, ненцев и хантов: исполнение и сочинение импровизации для самого себя, выполнение ею функции внутренней речи, неполнота информации в тексте импровизации и ряд других признаков. Наиболее детально были раскрыты архитектурные принципы, специфичные для разных типов импровизации.

Выступление Л. Н. Виноградовой (Москва) было посвящено проблеме «устойчивых формул» и их значению в обрядовом фольклоре. Отмечая своеобразие коммуникативной функции устойчивых формул в фольклоре, докладчица специально остановилась на объеме фольклорной формулы (в сравнении с речевой) и определила ее верхнюю и нижнюю границы.

Особую группу составили доклады, посвященные специфике творческого процесса в фольклоре и восприятию народного творчества. С. Н. Азбелев (Ленинград) попытался охарактеризовать своеобразие фольклорного творческого процесса путем сравнения его с аналогичным процессом в литературе. Специфична, как считает докладчик, фиксация творческих этапов, происходящая в фольклоре за счет памяти автора: здесь нет характерного для литературы взаимодействия между авторским сознанием и материально существующим вне него произведением предшествующего творчества.

* О Чтениях см.: «Сов. этнография», 1974, № 3; 1975, № 6.

Отталкиваясь от соответствующих теорий в эстетике и психологии, В. Е. Гусев рассмотрел две проблемы: особенности восприятия фольклора, обусловленные его полиэлементностью, и коллективное восприятие произведений фольклора, качественно отличное от восприятия искусства отдельной личностью. Докладчик затронул также проблему самовосприятия, актуальную для народного исполнителя, и показал взаимодельствие процессов исполнения и восприятия.

В докладе Л. Е. Генина (Ленинград) «Отражение специфики фольклора в библиотечно-библиографических классификациях (ББК)» было подчеркнуто, что советская ББК отстает от уровня современной фольклористики, выдвинувшей задачи комплексного изучения народного творчества и раскрытия специфики отдельных видов и жанров. На основе специального анализа 5000 документов (книг и статей за 1970—1974 гг.) докладчик пришел к выводу о целесообразности классификации фольклора по тем устойчивым формам (песенные, сказовые, речевые, зрелищные), в которых он существует в народной среде и которым соответствует определенный набор жанров, с дальнейшей детализацией этих делений по ряду признаков.

Общие вопросы специфики фольклора оказались в центре внимания еще двух докладов. Проблема межэтнической проницаемости народного искусства в связи с его вариативной природой и «бродячестью» была поставлена в докладе Э. В. Померанцевой (Москва). Рассматривая роль фольклора в современных этнических процессах, она констатировала различную степень межэтнической проницаемости для разных типов культуры и разных жанров.

Доклад Д. М. Балашова (Петрозаводск) «Специфика фольклора и методика записи свадебного обряда» был посвящен коллективности как важнейшей отличительной черте фольклора, влекущей за собой особую методику собирательской работы. Докладчик попытался вскрыть ряд типичных принципиальных ошибок в фиксации обрядового фольклора, подчеркнув, что точность записи составляет основу фольклористики. Для получения точной записи обрядового фольклора Д. М. Балашов считает необходимым собирать сведения от коллектива (группы лиц), не ограничиваясь при этом пересказом, подтверждать записанный факт другими фактами, а также выявлять границы («кусты») отдельных местных традиций.

Третью группу составили доклады, в которых была предпринята попытка выявить специфику некоторых жанров и объяснить отдельные явления народного творчества спецификой фольклора в целом. Анализируя роль дружки в русском свадебном обряде, К. Е. Корепова (Горький) отметила ведущую, по ее мнению, специфическую черту фольклора — его принадлежность быту и искусству одновременно, которая требует от исследователей комплексного подхода к любому явлению народного творчества. В свете этих представлений К. Е. Корепова рассмотрела приговоры дружки, во многом близкие зрелищному фольклору.

В докладе Е. Е. Васильевой (Ленинград) «Духовный стих как специфическое явление русского фольклора» было отмечено, что этот стих представляет своеобразную параллель виду песенно-повествовательного фольклора в целом, будучи крайним выражением таких отличительных черт песенно-повествовательного фольклора, как неоднородность, заимствования из других жанров, относительная свобода образования и пр. Специфика также связь духовного стиха с письменной культурой.

Доклад И. В. Мациевского (Ленинград) был посвящен народным музыкальным инструментам как особому феномену народного творчества. Докладчик отметил, что в народном инструменте сочетаются явления материальной и духовной культуры, а на формировании его сказываются как специфика образности и стилистики инструментальной музыки, так и особенности верований, народно-песенной культуры, хореографии, народного изобразительного искусства и архитектуры. И. В. Мациевский подчеркнул, что изучение музыкальных инструментов народа должно стать комплексным.

В сообщении Т. Г. Булака (Москва) «Специфика народной рекламы» особое внимание было уделено утилитарности рекламы как ее главной функции, были рассмотрены некоторые особенности поэтики этого жанра, намечены отдельные проблемы взаимосвязи рекламы и малых фольклорных жанров.

Характеризуя специфику исторической проблематики бытовых сказок, Ю. И. Юдин (Курск) исходил из сложной природы отношений бытовой сказки к действительности, что было интересно проиллюстрировано анализом ряда сказочных сюжетов, в которых своеобразно актуализируются доисторические воззрения, верования, психологические навыки.

В работе конференции приняла участие известная чехословацкая фольклористка В. Гаширикова (Братислава), выступившая с докладом «Традиции разбойничьего фольклора как этническая, интерэтническая и типологическая проблема». Она рассмотрела названный круг вопросов на материале словацкой «збойничьей» традиции, особое внимание уделив как дифференциации трех перечисленных в заглавии аспектов, так и диалектике связей между ними.

Завершающим на конференции был доклад [А. Н. Сохора] (Ленинград), «Молодежь и музыкальный фольклор (некоторые социологические проблемы)». Докладчик на основе личных впечатлений сделал обзор современного состояния фольклорной традиции в Болгарии.

В большинстве выступлений по докладам (В. Е. Гусев, В. А. Лапин, И. В. Мациевский, Э. В. Померанцева, В. В. Сенкевич-Гудкова, К. В. Чистов, И. М. Шептунов

и др.) отмечалось, что обращение к теме «Специфика фольклора» позволило отразить достижения фольклористики последних лет и определить задачи фольклористов на будущее. Подводя итоги конференции, В. Е. Гусев отметил преобладающий интерес докладчиков к проблеме варианта и вариантности как показателя возвращения фольклористики на путь реальности, а также подчеркнул, что Чтения не столько решили поставленные проблемы, сколько стали стимулом для дальнейшей работы над этой темой.

* * *

Пятые Чтения памяти П. Г. Богатырева, состоявшиеся 27—28 октября 1976 г., были посвящены проблеме «Стилистика фольклора». Конференция открылась докладом В. Е. Гусева «О понятиях „стиль“ и „стилистика“ фольклора», в котором было предложено обоснование фольклористической стилистики как специальной и самостоятельной научной дисциплины, по предмету и методу отличной от стилистики и лингвистической, и литературоведческой. Характерные для фольклора полиэлементность выразительных средств и полифункциональность позволяют, по мнению докладчика, анализировать стиль фольклора как сложную систему специфических форм функционально-художественной образности. В. Е. Гусев подчеркнул, что задачи фольклористической стилистики не сводимы к изучению поэтики народного творчества, а предполагают комплексное исследование всей совокупности его стиливых средств.

Включенные в программу Чтений доклады в значительной степени развивали основные положения выступления В. Е. Гусева. Одни доклады представляли собой опыт изучения как отдельных стилистических приемов, так и поэтики определенного жанра, другие были связаны с выявлением более общих стилистических закономерностей в фольклоре; в целом же они создали представление о современном уровне фольклористической стилистики и ее перспективах.

Ряд докладов был объединен постановкой проблем стилистики фольклора в теоретическом аспекте. Так, например, в докладе С. Г. Лазутина (Воронеж) «О взаимосвязи стилистических средств и композиционных приемов в произведениях фольклора» был выдвинут тезис о взаимодействии отдельных компонентов содержания фольклорных текстов (тема, идея, образ) и их формы (поэтический стиль, композиция, стих, мелодия). Докладчик проиллюстрировал это положение на материале разных жанров, для композиции которых характерны специфические доминантные стилиобразующие компоненты (в заговорах — сравнения, в загадках — метафоры, в лирических песнях — символы) и высказал предположение о том, что принципы композиции наиболее древних жанров фольклора формировались под влиянием языковых стилистических средств.

Воздействие хореографического элемента на стиливые особенности напева было прослежено в докладе Н. М. Владыкиной-Бачинской (Москва) путем сопоставления песен, сопровождаемых движением, и протяжных песен. На примере хородовых, «ходовых» и плясовых песен было показано, как различные по темпу и характеру движения создают разное соотношение частей напева, характеризующееся, однако, во всех названных случаях строгой ритмической упорядоченностью — в отличие от нерегулированной временной протяженности музыкальных фраз в протяжных песнях, не сопровождаемых движением.

Э. В. Померанцева выступила с докладом «К вопросу о смене жанров в фольклоре», где она рассмотрела смену жанров как типологическое явление, не тождественное процессу трансформации жанра и связанное прежде всего с потребностью народа в новой тематике, сюжетике, новом содержании и стиле, — при обязательном сохранении функции исчезающего жанра. Изучение типологии смены жанров представляется Э. В. Померанцевой крайне важным для воссоздания подлинной истории фольклора — при условии учета двух сторон этого процесса, т. е. и стабильных, и мобильных его моментов.

В докладе Ю. И. Шейкина (Владивосток) «Музыкальный язык жанра „ейни“ в фольклоре удэ» на этнически ограниченном материале была поставлена проблема эволюции звуковысотных норм музыкального мышления в шаманском напеве-формуле, рассмотренная в связи со сменой жанровой структуры: «ейни» (ритуальные вокализации шамана, сопровождаемые ударами в бубен и танцевально-мимическими движениями) — «тэлюнгу» (неритуальный памятный напев о шамане) — «явоный» (имитация шаманского напева в сказке). Анализ обширного материала, представляющего стадийно разные жанровые образования, позволил автору говорить о жанре как о системе, организующей и определяющей границы и эволюцию стиля.

Большинство докладов конференции было связано с характеристикой жанровых различий в фольклоре в свете стилистики или посвящено функционированию фольклорных стилистических приемов в художественной литературе.

Н. И. Савушкина выступила с докладом «Некоторые особенности стиля русской народной драмы», в котором драма была представлена как стилистически сложный организм, соединяющий стихотворное и прозаическое начала, «высокий» и «низкий» стили и пр. Особое внимание она уделила характеристике «высокого» стиля народной драмы, сформировавшегося в значительной степени под влиянием ранней русской драматургии.

В докладе А. Ф. Некрыловой (Ленинград) рассматривались некоторые особенности стиля городских ярмарочных увеселений. А. Ф. Некрылова выявила единые законы и принципы, подчиняющие себе городскую площадь во время гуляния, что позволило ей охарактеризовать стиль ярмарочных увеселений как особый эстетический стереотип, специально остановиться на отдельных признаках данного стиля в их исторической обусловленности, вскрыть коренное отличие русской ярмарки от западноевропейского карнавала.

Доклад Я. Ягелло (Варшава) был посвящен композиции баллады как специфическому процессу развития действия и протекания времени. К основным композиционным элементам баллады автор относит действие-поступок и словесное действие с потенциалом действия фактического. Особую роль докладчик отводит таким морфологическим элементам баллады, как персонаж, место его нахождения, действие персонажа, имеющим существенное значение для пространственно-временной динамики в произведениях данного жанра и своим соотношением создающим определенный механизм движения.

В сообщении И. М. Колесницкой (Ленинград) «Лирические (элегические) песни в русском свадебном фольклоре» были охарактеризованы поэтические признаки этого вида свадебной лирики, позволяющие отграничить его от свадебных причетов и лирических песен мажорного склада.

В докладе Р. Ивановой (София) «Поэтика болгарских величальных свадебных песен» рассматривался комплекс художественных средств, связанных с ритуальным величанием центральных обрядовых лиц, а также обрядовых предметов во время их приготовлений: положительные и отрицательные сравнения, вопросительная форма отрицательного сравнения (сопоставление с небесными светилами, предметами и явлениями природы), описание внешних признаков воспеваемого персонажа. Р. Иванова выделяла и специально прокомментировала особую роль кума в оформлении величальной свадебной поэзии, связанную с приписываемыми ему народом сверхъестественными свойствами. Величальные песни, по мнению Р. Ивановой, расширяют семантику свадебного обряда и в целом создают единый художественный образ.

Ю. И. Юдины были продемонстрированы разные случаи использования метафоры в бытовой сказке. Основное внимание докладчик уделил возникновению сказочного сюжета вследствие реализации общеупотребительной метафоры-прозвища (поп — жеребец, поп — старый черт и т. п.). Кроме того, были рассмотрены случаи иноназывания, использованные смеховым сюжетом в форме шутовского инобытия. В сравнении с бытовой метафорой-прозвищем, развернутой сюжетно, метафора второго типа подчас не улавливается в одном слове или понятии и отличается, как подчеркнул Ю. И. Юдин, более многообразным символическим значением.

В сообщении Р. А. Богомольной (Кишинев) на большом конкретном материале было прослежено использование эпитета в молдавском фольклоре, функционально очень многообразное.

Сопоставление стилистических особенностей фольклорных повествований о деятельности Олега, Игоря, Ольги и Святослава в русской летописи с особенностями islandских родовых саг позволило С. Н. Азбелеву в докладе «Сравнительный анализ стиля как одно из средств определения жанра (на материале несказочной прозы)» сделать вывод о типологическом тождестве материала разных народов, отразившего сходные исторические условия в жанре «устного хрониката».

Выступление Л. С. Шелтаева (Ленинград) «Фольклорные истоки иронии в творчестве демократов-шестидесятников» явилось попыткой рассмотреть творчество А. И. Левитова с точки зрения принципиально нового отношения писателей-шестидесятников к фольклору, далеко выходящего за рамки чисто этнографических задач.

В докладе Н. И. Копыловой (Воронеж) «Функционирование фольклорного эпитета в стиле русских романтических баллад и поэм первой трети XIX в.» идеализация, драматизация и контрастность рассматривались как основные функции фольклорного эпитета в произведениях русских романтиков. Это позволило докладчику показать ограниченность представлений об исключительно реалистических целях использования фольклора в литературе.

В. В. Сенкевич-Гудкова в сообщении «Жанровые стилистические признаки фольклора» сопоставила стилистические признаки двух музыкально-поэтических жанров хантыйского фольклора: ритуальных песен медвежьего праздника и женских лирических песен. Названные жанры, обладая рядом общих стилистических средств, имеют, как было показано в докладе, существенные различия, связанные и с отражением в их структуре принципиально разных художественных моделей мира, известных фольклору, и с функциональными особенностями стиля в каждом случае.

В заключительном слове В. Е. Гусев отметил, что на конференции были заслушаны доклады, посвященные и собственно стилям фольклора, и его поэтике. Эти две тенденции в трактовке понятия «стиль» не следует рассматривать как противоречащие друг другу — при условии, что поэтика фольклора предстает в свете его специфики. В целом В. Е. Гусев оценил пятые Чтения памяти П. Г. Богатырева как шаг вперед в постановке и разработке обсуждавшейся проблемы, подчеркнув, что они открыли новые перспективы в изучении взаимосвязей содержания и формы народного искусства.

Л. М. Излева-

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ФОЛЬКЛОРА ЛГИТМИК, ПОСВЯЩЕННОЕ 50-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА

В июне 1926 г. сотрудники секции крестьянского искусства Ленинградского государственного института истории искусств (ныне Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии — ЛГИТМиК) выехали в первую экспедицию, посвященную изучению русской традиционной культуры¹.

С тех пор прошло полвека, и сейчас можно с уверенностью сказать, что для советской фольклористики событие это оказалось чрезвычайно важным: экспедиция положила начало ряду коллективных и индивидуальных поездок на Русский Север, систематическое обследование которого не прекращается до сего времени. В ходе полевой работы ленинградских фольклористов 1920-х гг. выработались основные направления, методика сбора и обработки материала, был выдвинут принцип комплексного изучения фольклора. В 1926 г. впервые за всю историю русской и советской фольклористики обследование материала на месте проводилось одновременно специалистами разных профилей; здесь закладывались основы полевой работы, воспитывались кадры будущих крупнейших исследователей народного искусства, изучающих его в живом бытовании.

50-летию первой комплексной экспедиции Института и было посвящено открытое заседание секции фольклора ЛГИТМиК, которое состоялось в октябре 1976 г. На заседании выступили участники первой экспедиции 1926 г. в район Заснежья — Н. П. Колпакова (Ленинград) и Е. В. Гиппиус (Москва). Вступительное слово произнес В. Е. Гусев (Ленинград).

Н. П. Колпакова поделилась воспоминаниями о работе секции крестьянского искусства, о подготовке первой экспедиции, о наиболее ярких моментах экспедиций 1920-х гг. на Север, о людях — собирателях и исполнителях, рассказала о судьбе того огромного и интереснейшего материала, который был в то время собран. На заседании присутствовало много студентов, аспирантов, молодых исследователей фольклора, к которым Н. П. Колпакова обратилась с призывом активно продолжать полевую работу, собирать живой фольклор, включиться в нужное и интересное дело, которое было начато старшим поколением советских фольклористов.

Теоретическому осмыслению опыта первых экспедиций посвятил выступление Е. В. Гиппиус. Он ввел слушателей в круг споров, шедших при подготовке к экспедиции 1926 г. и обсуждении ее результатов. Е. В. Гиппиус также познакомил собравшихся с поисками, находками и экспериментами в ходе экспедиций 1920-х гг., в результате которых выработалась определенная, оправдавшая себя методика записи и изучения музыкального фольклора, позволившая тогда же начать изучение типологии структур.

С докладом о комплексном изучении фольклора на современном этапе выступил И. В. Мациевский (Ленинград). Он рассказал об экспедиционной работе секции фольклора ЛГИТМиК за последние годы, о собранных материалах, о том, как ощущая себя наследницей традиций секции крестьянского искусства, нынешняя секция фольклора Института по-новому освещает и разрабатывает идею комплексности. В этой связи докладчик поделился опытом осуществления партитурной записи, которая впервые была проведена в 1974 г. в Ленинградской области экспедицией под его руководством.

Большой интерес вызвала юбилейная выставка, развернутая в зале, где проходило заседание. Выставка отражала, два этапа экспедиционной работы фольклористов Института. На ней были представлены материалы первых экспедиций из собрания Н. П. Колпаковой: альбомы, дневники, фотографии, зарисовки, одежда и предметы быта, а также музыкальные инструменты, привезенные из экспедиций последних лет, образцы партитурной записи произведений фольклора, большое число фотографий, рассказывающих о работе секции фольклора в наши дни.

В перерывах между докладами и выступлениями звучали записи народных песен, наигрышей, частушек, сделанные сотрудниками секции во время поездок в разные районы страны, начиная с 1969 г.

Перед участниками заседания выступил фольклорный коллектив деревни Березняк Киришского района Ленинградской области, созданный с помощью секции фольклора ЛГИТМиК.

Завершилось заседание просмотром любительского кинофильма «Живые страницы», снятого во время экспедиции в Тихвинский район Ленинградской области в 1975 г.

А. Ф. Некрылова

¹ Подробно об этой и последующих экспедициях ленинградских фольклористов на Север см. в кн.: Н. П. Колпакова. У золотых родников. Записки фольклориста. Л., 1975.

ВЫСТАВКА «ЖОСТОВСКИЙ РАСПИСНОЙ ПОДНОС»

(К 150-ЛЕТИЮ ПРОМЫСЛА)

С июня по ноябрь 1976 г. в помещении Музея народного искусства в Москве экспонировались лучшие образцы жостовских расписных подносов (более 200 экспонатов), хранящиеся в Музее народного искусства, в отделе международных выставок Научно-исследовательского института художественной промышленности, в Московском областном краеведческом музее, а также в фондах Жостовской фабрики декоративной росписи. Выставка была посвящена 150-летию юбилею промысла.

Временем возникновения промысла принято считать 1825 г. — дату основания О. Ф. Вишняковым мастерской по выпуску лаковых изделий в с. Жостове Троицкой волости Московской губернии. Мастерская Вишняковых вначале изготавливала различные бытовые предметы из папье-маше, сходные с изделиями фабрики Лукутина. Затем здесь стали специализироваться на производстве подносов из папье-маше, а с середины XIX в. — из железа, покрывавшегося олифой и лаком, с последующим прогреванием изделий в специальных печах.

В России существовали два центра по изготовлению лаковых подносов — в Жостове и возникший на сто лет раньше промысел в Нижне-Тагильском горнозаводском округе, где делались подносы не только для переноски пищи и посуды, но и для украшения столов и угловых столиков («угловиков») вместо скатертей и салфеток.

Жостовские подносы предназначались лишь для подачи еды и напитков к столу, а также использовались в тех случаях, когда гостей «обносили» вином или угощением. Это определило их небольшие, удобные для пользования размеры. По форме же они были разными (прямоугольными, круглыми, овальными, гитарообразными).

Искусство росписи в жостовском промысле основано на традициях крестьянского изобразительного творчества. Очевидно, на его формирование повлияла также в известной мере роспись нижнетагильских подносов и многие элементы русской художественной культуры XVIII—XIX вв. (в частности, декоративного искусства). Для жостовских подносов наиболее характерна традиционная цветочная роспись, хотя встречаются натюрморт, пейзаж, в том числе архитектурный, а также жанровые сцены.

Роспись жостовских подносов постоянно совершенствовалась в своем развитии, и выставка позволяет проследить этот процесс.

Экспозиция построена по хронологическому принципу. Зритель в исторической последовательности знакомится с развитием промысла и творчеством его выдающихся мастеров. В нескольких витринах экспонировались изделия, относящиеся к дореволюционному времени.

На выставке среди ранних жостовских подносов экспонировались овальный поднос со сценой чаепития (1882—1887 г., черный фон — мастерская В. О. Вишнякова), фигурный поднос с изображением фруктов (1880—1890 гг., красный фон — мастерская Л. Ф. Вишнякова), фигурная сушарница (середина XIX в. — мастерская Вишняковых), поднос с изображением пейзажа и другие изделия, в которых прослеживаются различные направления развития искусства росписи подносов.

В ранних работах наблюдается разнообразие композиционных и колористических решений. Цветочная роспись представлена букетами, цветами или же традиционной композицией цветов в вазоне. Еще большее разнообразие наблюдается в колорите, в частности в фоне, для чего использованы черные, вишневые, алые, зеленые, белые и золотистые тона. Переходя от стенда к стенду, зритель получал представление о том, как складывалась своеобразная жостовская манера росписи, как совершенствовалась ее техника. Мазок становился мягче и выразительнее, фон — глубже.

Особенно богато были представлены на выставке работы мастеров советского времени, основателей современной школы: А. П. Голина, И. С. Лезнева, М. Р. Митрофанова, Д. С. Кледова и др.

Очень интересен раздел выставки, в котором показаны произведения экспериментально-творческой группы художников-профессионалов, работавших для Жостова в 1920—1930 гг. Некоторые подносы этого времени имеют сходство с натюрмортами, например «Цветы в корзине» Рябкова. Обращают на себя внимание подносы А. И. Лезнева, созданные в содружестве с художником П. П. Кончаловским (корзина с фруктами и парящей над ней птицей и др.). В этом разделе выставлены также эскизы, разработанные П. П. Кончаловским, и подносы, выполненные А. И. Лезневым. Цветы в букетах этого мастера выглядят живыми и свежими, они как бы пронизаны мягким светом.

Подносы Д. С. Кледова написаны в более декоративной манере; мастер включал в композицию наряду с цветами также изображение фруктов и птиц. М. Р. Митрофанов заполнял поле подносов яркими цветами, создавая красочные, как бы ковровые рисунки. Особой лирической мягкостью проникнуты работы заслуженного деятеля искусств РСФСР А. П. Голина. Чрезвычайно впечатляет его поднос, расписанный по инкрустации перламутром и как бы пронизанный серебристым мерцанием.

В настоящее время в Жостове работает большой коллектив, насчитывающий более 200 художников. В связи со 150-летием фабрика была награждена орденом Знак Почета. Трем ведущим художникам — Н. П. Антипову, Б. В. Графову, З. А. Кledo-

вой — было присвоено звание заслуженных художников РСФСР, директор фабрики П. И. Куракин был удостоен звания заслуженного работника культуры.

В последние годы повысилась декоративность подносов; некоторые из них со временем частью утратили свое утилитарное назначение. Это отразилось и в их форме (исчезли ручки); стали больше варьировать размеры (появились, в частности, крупные, выставочные образцы). Черный цвет фона стал теперь преобладающим. Он придает изделиям особую торжественность.

Современные мастера развивают традиции жостовской росписи, но одновременно неуклонно ищут новые художественные решения. Лирические мотивы А. П. Гогина



Расписной поднос работы В. С. Анашкиной

продолжили П. И. Плахов, Б. В. Графов и др. Работам Н. Н. Мажаева свойственна эмоциональная насыщенность. Этот художник обратился также и к тематическим сюжетам. Инкрустацию по перламутру, применявшуюся А. П. Гогиним, в наши дни используют Н. П. Антипов, Е. П. Лапшин и др. Молодые художники разнообразят традиционный букет, вводя в роспись новые цветы: астры, лилии, тюльпаны и др. В поисках новых оттенков звучания росписи вновь стали использоваться цветные фоны (красный, синий).

* * *

13 октября 1976 г. состоялось обсуждение выставки, организованное Министерством местной промышленности РСФСР, Союзом художников РСФСР, Научно-исследовательским институтом художественной промышленности, Музеем народного искусства. Во вступительном слове директор музея Л. К. Розова отметила большой интерес, который выставка вызвала не только у специалистов, но и у широких масс, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы посетителей.

Искусствовед Б. П. Коромыслов охарактеризовал различные русские народные промыслы, элементы художественных традиций которых легли в основу жостовской росписи. Цветочный узор — излюбленный мотив росписи на подносах, он связан с народными художественными традициями Центральной России, в частности с узорами ивановских ситцев, павловских платков, курских ковров. Б. П. Коромыслов проследил также связь жостовского промысла с существовавшим короткое время в XIX в. производством подносов в Петербурге (мотив ветки, букет враскидку, гитаровидная форма и т. п.), с подносным промыслом в Нижнем Тагиле (совпадение фона, однако в жостовских изделиях он глубже), с федоскинскими промыслами (включение перламутра и др.). Он показал влияние природной среды на творчество мастеров.

Однако это влияние опосредованное, поскольку художники не рисуют цветы с натуры, а дают их декоративно, обобщенно, в соответствии со сложившейся художественной традицией. Б. П. Коромыслов проанализировал историю совместной работы мастеров промысла с художниками-профессионалами, отметив, что благодаря этому содружеству натюрморт на жостовских подносах приобрел особое декоративное звучание.

В. М. Василенко говорил о том, что жостовский промысел включил в себя: 1) древние традиции крестьянского искусства, уходящие корнями в далекое прошлое и вместе с тем ощущаемые каждым мастером как явление сегодняшнего дня, созвучное современности; 2) художественные традиции XVIII—XIX в. Он подчеркнул, что в процессе становления и развития производства выработались характерные черты творческой манеры мастеров промысла; skorolixis свободного кистевого мазка, некоторая упрощенность рисунка, основной сюжетный мотив (букет, венок, гирлянда цветов). Все это в целом приобрело законченность в форме и цветовом решении и составило неповторимое своеобразие жостовской росписи.

В. М. Вишнева отметила связь художественной традиции жостовских мастеров с народной художественной культурой, в особенности с традициями народных ремесел Подмосковья, на которые в известной мере воздействовала творческая манера столичных художников-профессионалов. Современные мастера не только сохраняют традиции народного декоративного искусства, но и развивают их.

В обсуждении выставки приняли участие и мастера жостовской фабрики. Б. В. Графов (художественный руководитель промысла) обратил внимание на рост популярности жостовских подносов. Он считает, что успешному развитию промысла способствовала связь мастеров с жизнью. Свидетельством успеха мастеров промысла является то, что их искусство в свою очередь вдохновляло художников-профессионалов.

Выступили также мастера Н. П. Антипов, А. П. Кледов, А. П. Гончаров, Н. Н. Мажаев.

Молодой художник Н. Н. Мажаев в интересном и развернутом сообщении коснулся некоторых сторон развития производства в последние годы и проанализировал художественную манеру отдельных мастеров. В частности, он рассмотрел вопрос о соотношении индивидуального и коллективного творчества. Сохранение и развитие народной традиции — процессы неразделимые. Искусство связано с жизнью народа, поэтому художники непрерывно переосмысливают старое и вносят в свои работы новое, причем лучшее органически закрепляется в традиции.

Все выступавшие художники отметили, что юбилейная выставка, впервые представившая производство в развитии, несомненно послужит творческим импульсом в дальнейшей работе.

После закрытия в Москве в ноябре 1976 г. выставка экспонировалась в Ленинграде в Государственном Русском музее (до февраля 1977 г.). В 1977 г. она экспонируется также в СССР.

В. А. Липинская, С. Б. Рождественская

ВЫСТАВКА РАБОТ СТЕФАНИИ КУЛЬЧИЦКОЙ «НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЕ И ВЫШИВКЕ»

С 24 декабря 1976 г. по 13 февраля 1977 г. в Москве в выставочном зале Советского района экспонировались работы члена секции декоративно-прикладного искусства Союза художников УССР Стефании Васильевны Кульчицкой — одного из наиболее интересных мастеров этого вида искусства.

Впервые работы Стефании Кульчицкой экспонировались в 1962 г. на Львовской областной выставке прикладного и декоративного искусства, и затем она ежегодно участвовала в областных выставках с новыми своими работами. В 1973 г. работы художницы были представлены и за границей (в городе Загреб, СФРЮ).

С. В. Кульчицкая, используя народные традиции кроя и отделки, создала более 300 оригинальных современных образов одежды, «рушников», салфеток, подушек.

Персональные выставки работ художницы проводились во Львове, Киеве, Ивано-Франковске, Суздале, Риге и Ленинграде — и всюду ее работы получали высокую оценку.

Стефания Васильевна родилась в 1912 г. в Житомирской области. Детство и юность ее прошли в те годы, когда еще широко бытовал на Украине народный костюм. Многие народные мотивы в вышивке, росписи и других видах искусства нашли отражение в ее работах над костюмами и предметами убранства жилища. Художница, с раннего детства увлекавшаяся вышивкой, аппликацией, кроем, создает модельную одежду и вышивку, используя принципы народного искусства. Ненсчерпаемая фантазия позволяет

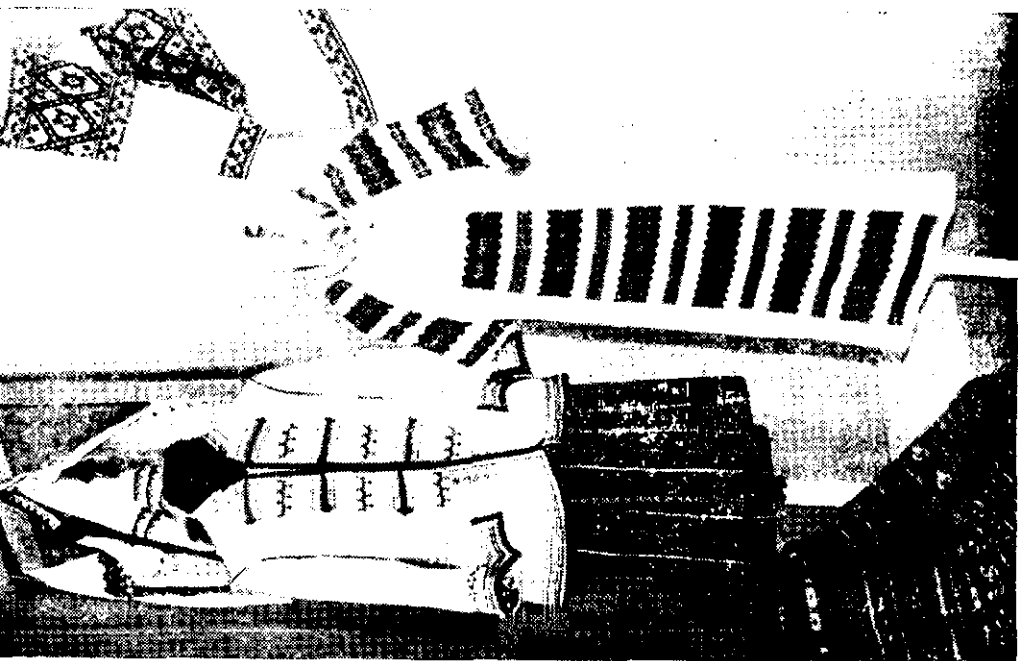


Рис. 1. Женский костюм «Роксолана» и женское платье, вышитое по гудульским мотивам

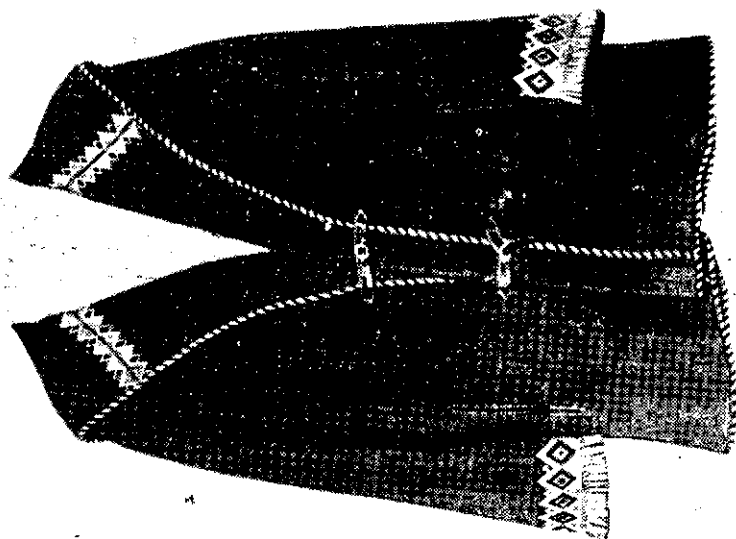


Рис. 2. Мужская верхняя одежда, выполненная по мотивам лемковской «чугани»

ей с помощью цветных ниток и аппликации создавать красивые платья, блузы, «рушники», подушки для диванов, комплекты столовых салфеток; умело выкраивать оригинальные гуцульские «сердаки», «свиты», украшая их кожей, бисером, металлом, шерстью. С. Кульчицкая прекрасно чувствует материал и очень удачно применяет отделку, что привносит современный колорит в такие традиционные виды одежды, как «гүня», «сердаки» и «свиты».

Природный вкус, глубокое чувство композиции позволяют Стефании Васильевне придавать своим работам особую красоту, изысканность. Работы художницы восхищают тонким подбором цветов и современной композицией. Вместе с тем в них верно переданы этнографические особенности различных регионов Украины. Детали одежды, отдельные ее предметы, ансамбли и предметы убранства жилища выполнены по черниговским, подольским, полтавским, яворовским и гуцульским мотивам.



Рис. 3. Женское пальто «Нева»

Талантливые произведения Стефании Кульчицкой стали ценным достоянием нашей социалистической культуры. Ее лучшие работы заслуженно занимают почетное место в музеях Украины и могут быть использованы художниками и модельерами как образцы при изготовлении массовой одежды по народным мотивам.

200 предметов, экспонировавшиеся на выставке в Москве, являются собственностью Музея народной архитектуры и быта Украинской ССР (Киев). Некоторые предметы декоративно-прикладного искусства, созданные искусными руками и фантазией художницы, хранятся в Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, в Лит.-художеств. музее Т. Г. Шевченко (Киев), в Музее этнографии и художественного промысла АН УССР (Львов), в Историческом музее (Львов), в Музее украинского искусства (Львов), в Областном Ивано-Франковском краеведческом музее, в Государственном музее этнографии народов СССР (Ленинград), и в Латвийском этнографическом музее (Рига). Следует отметить, что для Гос. музея этнографии народов СССР художница выполнила женский кафтан «Нева» в традициях русского кроя и отделки, а для латвийского музея комплекты мужской (сорочка, брюки, кафтан, пояс) и женской (сорочка, юбка, лиф, вышитое шерстяное наплечное покрывало — «вилайне») одежды, выполненные в латвийской национальной традиции.

Над каждым задуманным предметом Стефания Васильевна работает увлеченно, самозабвенно. Когда работа продумана и все материалы рядом, она работает по 16—18 часов в сутки.

Хочется отметить, что созданные художницей костюмы находятся не только в музеях. Они имеются у некоторых деятелей украинской культуры, которые надевают их во время публичных выступлений.

В одежде, выполняемой С. В. Кульчицкой, удачно сочетаются старинные народные линии кроя и характер отделки с современным силуэтом, что отвечает требованиям современной моды.

Экспонаты выставки «Народные традиции в современной одежде и вышивке» еще раз подтверждают, что в декоративно-прикладном искусстве плодотворными являются не просто копирование и стилизация, а определенная система образного мышления на основе изучения народного искусства.

Яркая индивидуальность творчества С. В. Кульчицкой отразилась и в названиях созданных ею предметов — «Днепровская русалка», «Чары ночи», «Эдельвейс» и др.

Большая любовь художницы к произведениям Т. Г. Шевченко выразилась в том, что по темам его произведений она выполнила одежду, «рушники». В работах шевченковской тематики (детская «свита» «Мне 13 лет минуло», детский «книтарик» «Вивчарик», мужская «свита» «Батько Шевченко», женская «свита» «Топілля», женский «книтарь» «Огонь горит, музыка играет» и др.) тонкий подбор цветов и композиционное ре-

шение помогают художнице выразить настроение героев произведений Т. Г. Шевченко. Рушник, выполненный С. Кульчицкой, стал первым экспонатом будущего музея Т. Г. Шевченко в городе Шалетт (Франция). Он украшал памятник Т. Г. Шевченко в г. Шалетт во время церемонии открытия.

Стефания Васильевна Кульчицкая свои знания и опыт моделирования, вышивки, аппликации активно передает другим. Она 20 лет преподавала на Высших курсах прикладного искусства во Львове, а затем вела уроки трудового воспитания в одной из средних школ Львова.

Выйдя на пенсию, Стефания Васильевна продолжает активно трудиться над новыми работами. Она полна больших творческих планов.

А. А. Лебедева, М. Н. Шмелева

«ВЗАИМОСВЯЗИ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РСФСР»

(МУЗЫКАЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ)

Вот уже девять лет ежегодно, в начале зимы, Фольклорная комиссия Союза композиторов РСФСР и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры проводят музыкально-этнографические концерты, организуемые по тематическому принципу. В декабре 1976 г. концерты, прошедшие в Доме композитора и в Доме художника, были посвящены теме «Взаимосвязи музыкальных культур народов РСФСР».

Постановка этой темы, несомненно, важна и своевременна. Современные этнические процессы, характеризующиеся дальнейшим развитием и сближением всех народов нашей многонациональной страны, находят свое выражение во всех областях духовной культуры. Интенсивность современных межэтнических фольклорных связей заставляет исследователей выделить в качестве важнейшей задачи изучение современных проблем взаимодействия и взаимообмена традиционных музыкальных культур.

Открывая концерт в Доме композитора, научный консультант фольклорной комиссии Е. В. Гиппиус подчеркнул, что фольклор в наши дни продолжает развиваться, примером чему может служить современное народное песенное творчество. Выступления коллективов, продемонстрировавших песни различных стилевых типов, ярко подтвердили эту мысль.

Первое отделение концерта открыл женский ансамбль из дер. Ляховка Городовского района Витебской области, продемонстрировавший западнорусский стиль пения. Думается, подбор песен, исполненных ансамблем, был не случаен. В концерте прозвучали календарные песни: юрьевская «У нас сегодня Юрьев день», купальская «Пойдем, девки, логом!», обжиночная «Как на нашей нивке», а также свадебные: «Не куй, Ванечка, столового ножа» (исполнялась в доме жениха перед его поездкой за невестой), величальная «Беленький, кудрявенький Ванечка» и связанная с ней тематически «Будь доволен, Иванушка».

Промежуточный между западнорусским и южнорусским тип пения был представлен певцами из Брянской области, выступившими с календарными (покосной «А что ж ты, наш гулюшка», масленичной «Лес ты, мой лес лебединый»), свадебными («Батюшка ты мой родимый» — пелась перед отъездом невесты к венцу во время благословения отца, «Ох, звон звенит» — песня свадебного поезда) и хороводными песнями («Ой, вы кумки!», «Егор, ты Егорушка», «Ой, под белую березою»).

Песенные традиции трех финно-угорских народов — коми, вепсов, мордвы, представители которых приняли участие в концерте, издавна развивались в тесном взаимодействии с песенным творчеством русского и соседних народов, живших бок о бок с ними в течение ряда столетий. Эти взаимосвязи проявляются в тематике песен, в схожести их мелодического строя, в близости мотивов, сюжетов, образов.

Многообразные контакты коми и русских имеют давнюю историю. Русское влияние на многоголосную песенную культуру коми обнаруживается в бытовании многочисленных переделок и переводов русских песен на язык коми. Так, ансамблем чипсанисток¹ из Коми АССР (Прилузский район, село Черныш) были исполнены местные варианты русских протяжных песен «Стена, стена», «За Невагой», «Юсь (лебедь) по морю» (модификация русской песни «Как по морю»). Этот вокально-инструментальный ансамбль, вот уже 20 лет выступающий в селах и поселках республики, и прежде выступал в Москве на этнографическом концерте Международного музыкального конгресса и стал лауреатом Всероссийского смотра. И на этот раз он порадовал зрителей своим

¹ Чипсан — древнейший народный музыкальный инструмент коми, разновидность многостольной флейты «Пана».

искусством, исполнив на чипсах наигрыши программного характера «Катанье, катанье с горочки», «Сорока», «Кукушка».

Песенная культура вепсов в концерте была представлена выступлением хора села Шелтозеры (Карельская АССР), исполнившим разнообразные по жанру песни как на русском, так и на вепском языках: лирические, кадильные, шуточные. Тема взаимовлияния песенных традиций русского и вепского народов в выступлении этого коллектива была раскрыта весьма наглядно: наряду с традиционной вепской песней «Ну-уза-нууза» прозвучали русская песня «Распривольное девушкам житье» и модификация русской народной песни «Чернобровый мой, черноглазый» («Мустад кумад»).

Мордовское народное песенное творчество издавна привлекает внимание исследователей. Давно известно им песенное творчество жителей села Левжа Рузаевского района (мордва-мокша). На этот раз в их исполнении прозвучали лирическая песня «Эрзянь Иванянь», содержащая характерный и для русских, и для мокшанских песен сюжет о вечном сие, и песня о девушке-рукодельнице «Романь Аксись», исполненная в двух вариантах: более древнем, мокшанском, и заимствованном у русских «молодежном». В репертуаре этого коллектива широко представлены обрядовые песни: исполнявшаяся перед пасхой песня-заклинание «Гора, гора», («Роштувань кудса»), песня, которую пела молодежь в зимний праздник, — «Рождественский дом», а также сюита свадебных песен («Причет невесты», «Величание невесты», «Плясовая под язык» и «Песня-благословение»).

В исполнении группы певцов из дер. Лебская Лешуконского района Архангельской области прозвучали песни традиционного северорусского стиля: «За Невагой», «Кого нету, того жаль», а также свадебная величальная «Что хитер, то мудер» и традиционный причет невесты — «голосянка» «Я люблю, низко поклоняюсь». Очень интересно художественное оформление хороводных песен этого ансамбля. Игровая природа их не забыта. Не случайно на Севере вместо «водить хоровод» говорят «играть песню». Хороводные песни отличаются типом движения: «стенка на стенку», «кривульки» и т. п., но всем им присущ светлый, жизнерадостный напев.

Песенная культура русского населения Сибири была представлена в концерте ансамблем села Ушарово Тюменской области, исполнившим традиционные русские и украинские песни.

В песенном творчестве донских казаков, живущих на границе с Украиной, причудливо переплетаются украинские и русские песенные традиции. Это нашло отражение в репертуаре певцов хутора Нижний Ерохин Ростовской области, выступивших на концерте. Интересно прозвучали в исполнении этого женского ансамбля песни, исполненные в мужской казачьей традиции, с «дишконтом»: «Ой, да на восходе было солнце ясное», старая казачья песня с протяжным распевом «Какие вы старые люди», украинская протяжная песня, распетая в старой казачьей манере, «По-над гаєм зеленым».

Жители старинного кубанского хутора Туркино (Краснодарский край) познакомили зрителей с богатым песенным творчеством кубанских казаков. И хотя население хутора говорит на украинском языке, в его песенном репертуаре есть традиционные русские лирические песни; в свадебном обряде кубанских казаков также присутствуют как украинские, так и русские песни, что еще раз подтверждает тот факт, что русская и украинская культура и в прошлом развивались, не только постоянно обогащая, но и взаимно дополняя друг друга.

Большой известностью пользуется у москвичей Афанасьевский народный хор Алексеевского района Белгородской области, неоднократно выступавший в Москве с разнообразными программами. На этот раз белгородцы исполнили украинские народные песни в своей обработке. Участники ансамбля выступали в старинных национальных костюмах: расшитых орнаментом безрукавках — «холодайках», в блестящих, украшенных позументами «сороках». Костюмы всех участников концерта придавали ему особенное, праздничное настроение.

Безусловно, для этнографов, фольклористов, музыковедов, для всех исследователей народного творчества подобные концерты представляют огромный интерес. Это та редкая возможность, когда, не снаряжая экспедиции, специалисты могут встретиться с исполнителями народных песен, приехавшими из разных уголков страны. Хочется выразить большую благодарность организаторам музыкально-этнографического концерта, превратившим его в праздник песни и доказавшим, что взаимодействие народных культур является активным творческим процессом.

Г. А. Комарова

В июле — августе 1976 г. состоялась экспедиция сотрудников Отдела русской этнографии Государственного музея этнографии народов СССР в Алтайский край РСФСР и Восточно-Казахстанскую область Казахской ССР. Основная цель поездки — сбор вещевого материала по традиционному быту и культуре русского старожильского населения долины реки Алей и междуречья Убы и Ульбы.

Участниками экспедиции была обследована одна из интереснейших групп русского населения Алтая, так называемые «поляки». Предками их были русские старообрядцы, выселенные в 1763—1765 гг. на Алтай из юго-западных, пограничных с Польшей, районов России с острова Ветки (Гомельский уезд Могилевской губернии) и из Стародубья (Стародубский уезд Черниговской губернии). «Поляки» до 1920 гг. сохранили очень интересную и своеобразную культуру, отличающуюся от культуры других групп русского населения. Изучением ее занимались как дореволюционные, так и советские историки и этнографы. Однако в музеях страны хранится очень мало вещей, характеризующих основные и подсобные занятия, промыслы, одежду, жилище, прикладное искусство «поляков». В Государственном музее этнографии народов СССР — крупнейшем этнографическом музее страны, имеется всего 85 предметов, дающих представление, главным образом, об одежде старообрядцев междуречья Убы и Ульбы.

Наша работа по сбору вещевого материала проходила в «поляцких» селах: Екатериновка, Шипуниха, Староалейское, Новоалейское и в деревнях: Лопатинка, Камышинка, Плоское (Третьяковский район Алтайского края), в селах Шемонаиха и Верх-Уба Шемонаихинского района; в селе Секисовское и в деревнях Малоубинка и Быструха Глубоковского района Восточно-Казахстанской области. Большинство перечисленных сел были основаны в конце 60-х — начале 70-х годов XVIII в., то есть сразу же после прибытия ссыльных старообрядцев на новое место жительства. Обследование вышеуказанных поселений дает возможность говорить о том, что в настоящее время традиционно-бытовой слой культуры этой этнографической группы русского народа почти полностью разрушен. Все вещи, характеризующие

специфический быт «поляков», в повседневной жизни не употребляются. Они хранятся в домах как память о прошлом.

Предметы крестьянского быта, приобретенные для музея, сравнительно поздние и дают представление о бытовой культуре «поляков» 1900—1920-х гг. Лишь несколько вещей можно датировать 80—90-ми годами XIX века. Почти полностью утрачены предметы, связанные с основными занятиями русского населения Алтая: земледелием и скотоводством. Нами было обнаружено лишь решето для веяния зерна. Вместе с тем, довольно полно сохранилась утварь, использовавшаяся в таком важном подсобном занятии, как пчеловодство. Для музея были приобретены глиняные корчаги для вытапливания воска, выдолбленные из дерева чаши, в которые стекал воск, кормушки для пчел, долбленные бадейки для меда, сот, воска. В деревне Малоубинка удалось обнаружить колодный улей, выделанный из пихты.

У русских Алтая также широко, как пчеловодство, было распространено рыболовство. Во время экспедиции нами были сфотографированы наиболее типичные для населения обследованных сел орудия лова рыбы: сети и плетеные из краснотала ловушки (большинство этих вещей изготовлено в последние 10—15 лет, однако они повторяют собой орудия начала XX века); собраны вещи, характеризующие пимокатный, сапожный, кожевенный промыслы.

Если вещей, связанных с традиционным хозяйственным бытом сохранилось сравнительно мало, то предметов народной одежды, образцов ткачества и вышивки дошло до наших дней довольно много. Для музея была приобретена большая коллекция женской одежды — комплекс вещей, составляющих женский народный костюм начала XX в. Мы привезли комплексы одежды с сарафаном (бесполиковая, или рубаха на кокетке, косоклиный распахной и круглый сарафаны, тканый или плетеный пояс) и комплекс одежды с юбкой (городского образца кофта, длинная со сборками юбка и кушак на твердой основе). Вся одежда изготовлена из ткани фабричного производства: сатина, батиста, кумача, шерсти. В ее цветовой гамме преобладают красный и синий цвета. Старинные девичьи и женские голов-

ные уборы в селах, где проходила наша работа, не сохранились. Лишь в деревне Быструха удалось приобрести женский головной убор, состоящий из чепца-самшур, вышитого металлической нитью, зеленого бархатного кокошника, позатыльника, украшенного бисером и стеклярусом, и кашемирового красного «подшалака». Для музея были куплены и отдельные предметы верхней одежды: шубы и рукавицы из собачьего меха, сермяги, шерстяные зипуны. Наиболее интересной находкой была погребальная, по-местному «смеретяная», одежда старообрядки (рубашка на кокетке, косоклинный сарафан и саван, сшитые на руках из белого холста домашнего изготовления). Одежда, обнаруженная в деревне Малоубинка сшита «на смерть» в конце 1930-х годов.

Мы приобрели также значительное количество полотенец и поясов. Эти предметы до сих пор используются во время свадеб, похорон и на праздниках. Большинство полотенец и поясов изготовлено в самом начале XX века и лишь четыре полотенца и пять поясов сделаны в 1920-е годы. «Поляцкие» пояса разнообразны по материалу, технике исполнения, цветовой гамме. Орнамент поясов — ромбы, ромбы с крючками, свастика, которую здесь называют «дурной крюк». Полотенца, называемые на этой территории «рукотерт», «рушник», «стенной плат», в «поляцких» селах делались очень длинными (до 350 см.) и нарядными. Их изготавливали обычно из белой льняной ткани или кумача, концы (70—80 см.) украшали вышивкой, полосами браного ткачества, кумача, бархата, гарусной плетеной «расшивкой». Полотенца, скатерти, пояса — прекрасные образцы декоративно-прикладного искусства русского населения Алтая.

Другим распространенным здесь видом прикладного искусства была роспись по дереву. К сожалению, вещи, украшенные росписью, сейчас почти полностью утрачены. Нам удалось привезти в музей только несколько расписных предметов: двери, навесной шкафчик, стол и небольшую коллекцию прялок.

Все собранные вещи сданы в фонды отдела русской этнографии, цветные диапозитивы и черно-белые фотолянки — в фототеку музея.

И. И. Шангина

* * *

В июне и июле 1976 г. этнографическая экспедиция Удмуртского республиканского краеведческого музея продолжила работу по изучению материальной и духовной культуры удмуртского народа.

Экспедиция работала в населенных пунктах Кизнерского и Граховского районов Удмуртской АССР, Кукморского и Елабужского районов Татарской АССР.

Экспедиция в составе семи человек (студенты Удмуртского государственного университета имени 50-летия СССР), возглавляемая С. Х. Лебедевой, заведующей до советского отдела Удмуртского республиканского краеведческого музея, обследовала 25 населенных пунктов. Сделаны 35 черно-белых фотоснимков, 50 рисунков тушью (отдельные постройки, элементы одежды, бытовые предметы, сельскохозяйственные орудия труда, национальная одежда), приобретены для музея 102 экспоната (комплексы национальной женской одежды, нагрудные украшения, орудия труда для бортничества). В лесах Кизнерского района Удмуртской АССР найдена сосна с бортью XVIII в. Заполнены 18 анкет по истории населенных пунктов, получены материалы от народных умельцев, записаны 25 обрядовых песен (свадебные, исполняемые при проводах в армию, песни «первой борозды», окончания сева).

Интересную работу провела экспедиция в Кукморском и Елабужском районах Татарской АССР, где обследованы удмуртские деревни: Лельвиж, Средний, Нижний и Верхний Кукмор, Старая и Верхняя Юмья, Оштормо-Юмья, и Старый Канисар, Монашево и Енабердино.

Приобретена коллекция женских головных уборов: платки-покрывала (*сюлык*) и головные полотенца (20 штук). В настоящее время сюлык и головные полотенца уже вышли из употребления, иногда сюльки одевают во время свадеб, головные же полотенца используют для украшения интерьера избы. Сюлык накидывается на высокий, с твердой берестяной основой головной убор (*айшон*) замужней женщины. Айшон с сюлыком еще в XIX в. бывал среди удмуртских женщин почти во всех уездах Вятской губернии, в настоящее время он иногда встречается у удмуртов, проживающих на территории Татарской и Марийской АССР.

Нами приобретены сюльки двух видов: свадебные и повседневные. Свадебный сюлык называют черный сюлык (*сәддә сюлык*) по цвету украшающей его вышивки, исполненной черной крученой шерстью. По краям сюлык отделан массивной бахромой из шелковых бордовых ниток. Он украшен геометрическими фигурами из позумента, кисти, шелковых и шерстяных ниток и лент, бисера, серебряных монет.

Черный сюлык надевают в день свадьбы и носят до рождения первого ребенка, в случае бездетности — три года. Записаны обряды одевания сюлыка.

Повседневный сюлык красный (*горд сюлык*). На холщовую или матерчатую основу его нашиты кусочки кумача или красного сатина геометрической формы, на них — украшения из шелковой тесьмы, ниток, геометрические фигуры из позумента, бисера, серебряных монет, по краям — массивные бордовые кисти. Красный сюлык женщина носила до окончания периода деторождения.

В состав головного убора замужней женщины входили и головные полотенца с вышитыми или ткаными концами. Местное название головного полотенца в Кукморском районе Татарской АССР «*дәйыр кышет*». Вышивка выполнена на кумаче разноцветными шелковыми и шерстяными нитками.

Головные полотенца одевают вместе с сюлыком.

Для музея приобретены отдельные предметы удмуртской одежды. Вышитый свадебный пояс (*зар*), бытовавший в XVIII в. (в XIX в. он почти не встречается), подарен нам М. Ш. Шакировой, жительницей села Оштормо-Юмья Кукморского района Татарской АССР. Вышивка на поясе сплошная — двусторонняя счетная гладь, настил из мелких треугольников правильной формы, на темно-красном фоне черным контуром очерчен древовидный рисунок. У М. Ш. Шакировой приобретены также свадебный кафтан с отложным воротником, с длинными откидными рукавами, кафтан летний, сшитый из белой льняной домотканины, и кафтан зимний из красной шерстяной домотканины.

Членами экспедиции зафиксированы специфические особенности удмуртских деревень, размеры и формы поселений, расположение построек на усадьбе, разнообразия форм дворов, типы заборов и ворот, а также типы жилищ, их архитектура, внутренняя планировка и убранство.

Материал обработан и сдан в фонды Удмуртского республиканского краеведческого музея.

С. Х. Лебедева

* * *

В июне — августе 1976 г. Западносибирская историко-этнографическая экспедиция Омского государственного университета провела свой второй полевой сезон. В состав экспедиции (руководитель — Н. А. Томилов) входило свыше 40 человек, в основном это студенты историко-филологического факультета Омского университета. Они работали несколькими отрядами под руководством научного сотрудника В. Б. Богомолова, лаборантов Н. В. Кузнецовой и Н. А. Спиридоновой. Участники экспедиции собирали материалы в Омской области среди тарско-тевризских татар, казахов и украинцев, в Тюменской — среди тобольских, тюменских и заболотных татар, в Томской — среди томских татар, в Кемеровской — среди шорцев.

Цель экспедиции — исследования этнического состава и этнокультурных явлений, сбор материалов по современным этническим процессам и этнографическим коллекциям у названных народов и их групп.

Среди сибирских татар продолжались работы по составлению генеалогических схем, начатые еще в 1970 г. в семьях тарских, теvризских, тобольских и заболотных татар. Они содержат ценные сведения о разных поколениях и помогают раскрывать этническую историю этих групп татар. Судя по полевым материалам, такая работа может считаться завершенной у тарских татар. Среди тобольско-иртышской группировки сибирских татар намечается осуществить сбор генеалогических данных в ближайшие годы. Генеалогии составлялись в этом сезоне также среди казахских семей юга Омской области.

Собирались данные по традиционным и современным видам хозяйства, материальной и духовной культуре, по семейному и общественному быту среди теvризских и тобольских татар и казахов, у шорцев, тарских и заболотных татар, украинцев. Материалы отражены в записях, рисунках и схемах, в фотопленках (свыше 70 штук), кинопленках (около 600 м) и магнитофонных записях.

С целью изучения современных этнических процессов у ряда народов южной и

средней полосы Западной Сибири заполнялись специальные опросные листы двух вариантов — с 24 или 70 вопросами, характеризующими этнолингвистические процессы, изменения в культуре и быте, национальные установки. Эти листы заполнены у казахов и украинцев южных районов, частично — среди шорцев. С заполнением серии опросных листов среди тевризско-тарских татар закончен сбор полевых материалов, характеризующих современные этнические процессы во всех группах сибирских татар.

В прошедшем полевом сезоне было выполнено около трех тысяч опросных листов, получен различный статистический материал: выписки из похозяйственных книг сельсоветов и из формы 1 в паспортном столе Таштагольского районного отделения милиции, данные о сельских библиотеках, школах, клубах и т. п. Ранее в архивах загса Кемеровской и Омской областей были сделаны подробные выписки об однопациональных и национально-

смешанных браках за все годы Советской власти.

Экспедиционные группы приобрели для созданного в 1974 г. при Омском университете музея археологии и этнографии 448 предметов культуры и быта сибирских татар, шорцев, казахов и украинцев. Число этнографических экспонатов музея увеличилось до 800 предметов. Коллекция по народному быту сибирских татар (550 предметов) — одна из крупнейших по этому народу в музеях нашей страны. В музей сданы и все полевые материалы экспедиции.

Одной из задач экспедиции являлся сбор антропологических данных. Было взято несколько дерматоглифических серий среди сибирских татар (тевризская, тобольская, заболотная и тюменская группы), казахов Омской области и мрасских шорцев. Все серии поступили в отдел антропологии Института этнографии АН СССР для научной обработки.

Н. А. Томилов

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

Л. Е. Кубель

ДОКОЛОНИАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ АФРИКИ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЭТНОГРАФИИ *

Задача настоящего сообщения — кратко обрисовать ведущие тенденции, проявляющиеся при изучении доколониальных политических структур Тропической Африки в западноевропейской немарксистской этнологии и проследить их эволюцию во времени, начиная с тех работ, которые, по мнению большинства авторов, положили начало «политической антропологии», т. е. изучению институтов власти и управления как особой отрасли этнографической науки. Выбор западноевропейских, преимущественно британских и французских, исследований вовсе не означает, что это направление в западной науке ограничивается лишь странами Западной Европы. Наоборот, американская культурная антропология с 60-х годов нашего столетия все более широко обращается к рассмотрению политической организации «доиндустриальных», по преобладающему на Западе обозначению, обществ и в этой связи — и к африканскому материалу. Становление и развитие исследований в этом направлении происходило в США под сильным воздействием взглядов и традиций западноевропейской науки — хотя бы в силу того обстоятельства, что за последние полтора десятилетия некоторые виднейшие ее представители, в частности африканисты Я. Вансина, Дж. Миддлтон, Э. Саутхолл, переехали для работы в американские университеты. Это само по себе подчеркивает важность первоочередного изучения западноевропейских работ. Более существенно, однако, то, что к настоящему времени в США сложилась уже вполне самостоятельная и к тому же довольно заметно отличающаяся как от британской, так и от французской традиция изучения политических структур. Она заслуживает специального рассмотрения, которое не может быть предпринято в рамках настоящей работы.

Политическая антропология возникла в европейской науке на рубеже 40-х годов как ответ на практические потребности колониального управления в африканских колониях европейских держав. Этнографические исследования в целом вплоть до начала 50-х годов носили в основном прикладной характер: преимущественный интерес вызывали аспекты жизни изучаемого общества, могущие иметь прямое отношение к практике колониальной администрации. Существовали определенные нюансы в подходе к выбору объектов исследования: французам при их системе прямого управления и сохранении ориентированного на монокультуру африканского крестьянского хозяйства поневоле приходилось в той или иной степени интересоваться производственными, в частности поземельными, отношениями, тогда как британских антропологов занимали в первую очередь явления и институты, важные для осуществления преобладавшей в британских владениях политики «непрямого управления». Другими словами, для британских исследователей главный интерес представляли как раз политические структуры народов колоний. Этим и объясняется, что именно британские ученые стали создателями

* В обзоре термины «этнография», «этнология» и «социальная антропология» употребляются как синонимы.

специализированной области «социальной антропологии» — политической антропологии (впрочем, самое это название утвердилось гораздо позднее, уже в 60-х годах). И первым опытом анализа традиционных политических структур и институтов в Африке из материала, более широком, нежели какая-то одна этническая общность, стал сборник «Африканские политические системы», увидевший свет в 1940 г.¹ Он включил исследования по восьми народам тогдашних африканских владений Великобритании, выполненные такими видными специалистами, как М. Форте, М. Глукман, И. Шапера, О. Ричардс и др. С этого сборника и ведется, как правило, история политической антропологии².

Однако до того как приступить к анализу концепций западноевропейской политической антропологии, необходимо остановиться на весьма важном принципиальном различии, существующем между взглядами ученых-марксистов и буржуазных исследователей в этой области. Дело в том, что для последних государство и государственность — вовсе не институт, характерный для определенной стадии общественного развития, именно — для общества с антагонистическими классами, каким считают его марксисты, а всего только ступень в эволюции политической системы, т. е. установлений и институтов, осуществляющих функции управления обществом и отправления власти в нем. При этом речь идет о любом обществе — от первобытного до «постиндустриального». Ясно, что такой подход попросту игнорирует стадиальные различия между обществами разных уровней развития. В конкретных же условиях исследования африканских политических образований доколониального времени он приводит во многих случаях к неоправданному «завышению» представлений об уровне их общественно-экономического развития. Этому способствует еще и довольно распространенное (и, к сожалению, не только в западной литературе, но и у африканистов социалистических стран) некритическое применение привычной нам терминологии, отражающей политические явления и институты, возникшие в совершенно иной исторической обстановке, нежели та, в какой сложились и функционировали социальные организмы доколониальной Африки. Проблема эта в советской африканистике рассматривалась Д. А. Ольдерогге и О. С. Томановской³; в обзоре она затронута единственно для того, чтобы подчеркнуть необходимость осторожности при обращении к трудам западных этнологов.

Точно так же существует довольно заметное различие в понимании самых терминов «политика» и «политическое», общепринятом у нас и в буржуазной науке. Для марксистов политическими могут считаться, строго говоря, лишь отношения, характерные для общества с антагонистическими классами, т. е. для «государственного» общества⁴. Это, однако, ни в коей мере не отрицает того, что марксистская наука признает существование каких-то органов и механизмов управления и в доклассовом обществе. Именно для того, чтобы разграничить эти явления, и было предложено Ю. В. Бромлеем определение «потестарный» для обозначения отношений власти и властвования в обществах с еще не сложившейся классовой структурой⁵. Для исследователя же немарксиста политическими оказываются и отношения внутри обществ, никогда не

¹ «African political systems. Ed. by M. Fortes and E. E. Evans-Pritchard». London, 1940.

² См.: M. Gluckman and F. Eggan. Introduction.—In: «Political systems and the distribution of power». London, 1965, p. XX; G. Balandier. *Anthropologie politique*. Paris, 1967, p. 5—27.

³ Д. А. Ольдерогге. Проблемы происхождения государства (по африканским материалам). Доклад, прочитанный в Ленинградских отделениях институтов этнографии и востоковедения Академии наук СССР. Л., 1970; О. С. Томановская. Опыт отображения на исторических картах политических образований Западной и Центральной Африки.— В кн.: «Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР», Л., 1972, с. 51; *ее же*. Изучение проблемы генезиса государства на африканском материале.— В кн.: «Основные проблемы африканистики. Этнография. История. Филология. К 70-летию члена-корреспондента АН СССР Д. А. Ольдерогге». М., 1973, с. 269—272.

⁴ См., например, определение Ф. М. Бурлацкого: «Политика — это форма взаимоотношений между классами, социальными группами, нациями, связанная прямо или косвенно с проявлениями власти и деятельностью властвования, понимаемой как способность принудить большие массы людей к выполнению тех или иных задач и решений» (Ф. М. Бурлацкий. Ленин. Государство. Политика. М., 1970, с. 47, 48).

⁵ Ю. В. Бромлей. Опыт типологизации этнических общностей.— «Сов. этнография», 1972, № 5, с. 63.

имевших государственности, например, у тив и в высокоразвитых феодальных государствах Северной Нигерии.

Определения содержания понятия «политическое», даваемые в трудах западноевропейских ученых, отличается чисто формальный подход, причем характерно, что он сохраняется на протяжении многих лет. Для сравнения полезно привести несколько таких дефиниций, начиная с самой первой в политической антропологии, принадлежащей А. Рэдклифф-Брауну. Она гласит: «Политическая организация общества — та часть всеобщей его организации, которая занимается контролем и регулированием применения силы»⁶.

Аналогичное определение дает и Л. Фоллерс: «Политические институты — это правила, руководящие законным применением силы, но не социальные единицы, к которым эти правила прилагаются»⁷.

Недостаточность такого ограничения содержания «политического» одним только организованным применением силы довольно рано стала беспокоить самих западноевропейских исследователей. Поэтому в конце 50-х годов Дж. Миддлтон и Д. Тэйт предложили определение более широкое и в большей степени учитывающее реальное положение дел. По их мнению, «политические отношения — это те отношения, в которых лица или группы осуществляют власть и авторитет ради поддержания социального порядка в рамках некой территории»⁸.

Но самые широкие определения принадлежат Ж. Макэ и И. Шаперу. Первый из них полагает, что политическое — это «совокупность всех отношений между управляемыми и управляющими»⁹. Конечно, этой дефиниции нельзя отказать в широте. Но в ней, во-первых, совершенно исчезает представление о цели таких отношений, во-вторых, не принято во внимание, что отношения между управляемыми и управляющими включают, скажем, и такие отношения, как экономические, которые не сводятся только к политическому аспекту; и в-третьих, забыто то, что и взаимоотношения между разными группами среди и управляющих и управляемых тоже не могут быть исключены из категории «политического».

Более интересно определение И. Шаперы; оно было выдвинуто им в противовес цитированному выше определению Рэдклифф-Брауна и потому выглядит прежде всего как определенное уточнение формулировки, принадлежащей последнему. Политическая организация, говорит Шапера, это «та часть всеобщей организации, которая занимается установлением и поддержанием внутренней кооперации и внешней независимости»¹⁰. Здесь мы впервые встречаем упоминание о «внутренней кооперации», т. е. в конечном счете — о политических отношениях как средстве обеспечить функционирование общества как целостного народнохозяйственного организма. Это, безусловно, выгодно отличает точку зрения Шаперы от взглядов большинства остальных авторов. Но в то же время нельзя не обратить внимание на то, что в этом определении смешаны критерии разных уровней: если внутренняя кооперация охватывает всю совокупность функционирования общества, то внешняя независимость — всего лишь одна из сторон такого функционирования.

Впрочем, такое смешение у Шаперы не случайно. Именно независимость от внешних влияний становится у него важнейшим, определяющим фактором понятия «политической общины» (political community): «Под политической общиной я разумею группу людей, организованную в единое целое, управляющее своими делами независимо от внешнего контроля»¹¹. И именно основываясь на этом признаке, Шапера выдвигает тезис о том, что можно-де рассматривать как сходные единицы локальную группу горных дамара и огромную в сравнении с нею народность суто, невзирая на различия в

⁶ A. R. Radcliffe-Brown. Preface.— In: «African political systems», p. XXIII.

⁷ L. A. Fallers. Bantu bureaucracy. A study of integration and conflict in the political institutions of an East African people. Cambridge, 1956, p. 5.

⁸ «Tribes without rulers. Studies in African segmentary systems. Ed. by J. Middleton and D. Tait». London, 1958, p. 1.

⁹ J. Maquet. Une hypothèse pour l'étude des féodalités africaines.— «Cahiers d'Etudes Africaines», v. II, 1960, № 6, p. 295.

¹⁰ J. Schapera. Government and politics in tribal society. Josiah Mason lectures delivered at the University of Birmingham. London, 1956, p. 218.

¹¹ I. Schapera. Указ. раб., с. 8.

размерах и даже сложности общественного устройства и организации¹². Перед нами — чистейший пример формального подхода к оценке общественных организмов, совершенно не принимающего во внимание разницу в уровне развития того или иного из них. Кроме того, если принять эту точку зрения, то оказывается невозможным отнести к политическим отношениям между данниками и получателями дани (хотя, понятно, эти отношения, не чисто политические и даже не главным образом политические). Видимо, Шапера сам чувствовал уязвимость своего критерия; поэтому он оговорил, что не имеет в виду, скажем, взаимоотношения между колониальной администрацией и «туземными властями». Однако и эта оговорка подверглась критике со стороны Э. Саутхолла на том справедливом основании, что таким образом определение лишается важнейшей черты любого определения — всеобщности¹³.

Небезынтересно заметить, что формалистский подход Шаперы возник как реакция на не менее формальный подход к анализу африканских доколониальных политических структур, проявившийся в упоминавшемся уже сборнике «Африканские политические системы», в особенности в предисловии А. Рэдклифф-Брауна и во введении, написанном М. Фортезом и Э. Ивенс-Притчардом. Авторы введения утверждали, что никакая «политическая философия» не применима при осмыслении традиционных африканских обществ. Восстановить историческое развитие изучаемых институтов невозможно, да, собственно, и ни к чему: единственная цель исследования — объяснить черты сходства между разными обществами, а внутри этих обществ — взаимозависимость данных институтов с прочими чертами социальной организации¹⁴. Исходя из таких посылок, выбирается и принцип классификации традиционных обществ: наличие или отсутствие правительственной власти и соответственно разрывов в статусе, богатстве и привилегиях между членами общества (притом второе мыслится производным от первого); эти типы общества получили обозначения «А» и «В».

Легко видеть, что эти группы «А» и «В» не просто различаются по уровню политической организации. Речь идет фактически о стадийно разных уровнях социально-экономического развития, и чисто формальный принцип разграничения — *primitive state* и *stateless society* — не отражает принципиального различия между этими уровнями. Проще говоря, сравниваются вещи, по существу несравнимые. Тип политической организации соотнесен лишь с численностью населения: чем она больше, говорят Фортез и Ивенс-Притчард, тем выше тип политической системы. Это справедливо в том отношении, что увеличение численности группы, конечно, усложняет управление ею; но численность населения берется здесь вне связи с уровнем экономического развития, который в конечном счете как раз и определяет ее. И хотя признается, что формы хозяйства (*modes of livelihood*) воздействуют на социальную и политическую организацию, остается неясным, чем объяснять различия в таковых при совпадении этих форм.

Точно так же, несмотря на признание наличия в обществах типа «А» экономических привилегий меньшинства, даже не ставится вопрос о возможности каких-то форм эксплуатации соплеменника (хотя в этой же книге К. Оберг, описывая государство Анколе, прямо говорил об эксплуататорской сущности «несбалансированных», по его определению, отношений между хима и иру вместе с другими, «промежуточными» социальными группами¹⁵). И в конце концов, основное различие между «пирамидальными» А-системами и «сегментными» В-системами оказывается, по Фортезу и Ивенс-Притчарду, целиком лежащим в сфере применения и функций организованного насилия¹⁶.

Конечно, признание существования экономических привилегий уже предполагает и допущение возможности какого-то общественного недовольства и попыток против таких привилегий бороться. На это, собственно, обращали внимание и К. Оберг, и М. Глукман уже в «Африканских политических системах»¹⁷. Не могли обойти эту проб-

¹² I. Schapera. Указ. паб., с. 8.

¹³ A. W. Southall. A critique of the typology of states and political systems.— In: «Political systems and the distribution of power», p. 135.

¹⁴ M. Fortes and E. E. Evans-Pritchard. Introduction.— In: «African political systems», p. 4, 5.

¹⁵ K. Oberg. The kingdom of Ankole in Uganda.— In: «African political systems», p. 131—133, 145—150.

¹⁶ M. Fortes and E. E. Evans-Pritchard. Указ. паб., с. 7—9, 11, 12, 14, 20.

¹⁷ K. Oberg. Указ. паб., с. 149, 150; M. Gluckman. The kingdom of Zulu in South Africa.— In: «African political systems», p. 44, 45.

лему и более поздние авторы. Из британских исследователей первым затронул ее И. Шапера. Его точка зрения сводится к тому, что вовсе не обязательно принять марксистскую концепцию классовой борьбы, чтобы признать, что в более сложных, по его справедливому определению, нежели общества бушменов и горных дамара, общества готтентотов и южноафриканских банту могут быть какие-то общественные группы, недовольные своим приниженным социальным статусом, или бывшие независимые, утратившие эту свою независимость и желающие ее вернуть (характерно, что Шапера здесь старается обойтись без упоминания экономических факторов, сводя дело в основном к престижным соображениям). И потому-де нужно установить, в какой мере вождь отождествляет себя с тем или иным классом (понятно, что этим словом обозначается отнюдь не класс в марксистском смысле, а скорее группа равного статуса) и как это влияет на его личную власть. Здесь Шапера снова смешивает разные аспекты вопроса: то, что вождь поддерживает привилегии своего социального *stratum'a*, т. е. отношения неравенства в обществе, касается всего общественного организма в целом. Соперничество же за пост вождя или за распределение его имущественных и престижных милостей происходит в рамках ограниченной, по сути своей элитарной группы, а не на уровне всего общества¹⁸. Таким образом, попытка показать «ненужность» марксистской точки зрения оказывается несостоятельной.

Впрочем, вопрос существования неравенства и эксплуатации в традиционных африканских обществах в британских работах затрагивался сравнительно редко. Хотя надо сказать, что как раз в монографии одного из самых авторитетных англоязычных авторов — Я. Наделя — о государстве Нупе в Центральной Нигерии, пожалуй, с полной определенностью говорится об эксплуатации — как в форме экономических привилегий трех последовательно друг друга сменявших династических групп фульбской знати, так и в виде использования в качестве орудий эксплуатации традиционных общественных институтов (например, общества по борьбе с ведьмами), равно как и о возрастании роли богатства как дифференцирующего социального фактора¹⁹.

Заслуживает быть отмеченным и то, что как раз Надель был в британской антропологической литературе первым, кто применил к доколониальному африканскому обществу понятие «классовое». Конечно, и его определение класса имеет мало общего с марксистским, хотя оно и более широко и более объективно, чем то, какое давал впоследствии Шапера (см. выше). По Наделю, «социальный класс — это сложный феномен, результирующая многих факторов, главным образом политических, экономических, профессиональных и образовательных... Мы должны рассматривать социальный класс в двух аспектах. Первый — это твердо установленные и сравнительно постоянные различия в действительном поведении — разница в жизненном стандарте, обычном поведении, занятиях и моральных ценностях. Второй — аспект социальной деятельности, который закрепляет за этими различиями в поведении определители „высший“ или „низший“ и заставляет их отражать разные ступени общей шкалы ценностей»²⁰. Таким образом, хотя исследователь и включил экономические категории в условия сложения класса, само это понятие в его трактовке оказалось, однако, чисто поведенческим и культурным. И именно наделевское определение легло в основу почти всех последующих трудов тех британских политических антропологов, которые признавали в той или иной форме существование в доколониальных африканских обществах социальных классов.

Точно так же велико было влияние Наделя и на определение того, что такое государство. Надель считал государством политическую систему, отвечающую трем главным критериям: территориального суверенитета; наличия централизованного аппарата власти, обеспечивающего поддержание закона и порядка; существования особой привилегированной группы, или «класса», коллективно монополизирующей осуществление политического контроля²¹. Практически большинство позднейших британских исследователей принимают эти критерии за исходные даже тогда, когда от них отталки-

¹⁸ I. Schapera. Указ. раб., с. 135, 136.

¹⁹ S. F. Nadel. A Black Byzantium. The kingdom of Nupe in Nigeria. London — New York — Toronto, 1942, p. 90, 98, 142.

²⁰ S. F. Nadel. Указ. раб., с. 127, 128.

²¹ Там же, с. 69.

ваются: дискуссия рано или поздно сводилась к обсуждению степени централизованности того или иного политического образования.

Тем не менее при всем авторитете, каким пользовались у британских антропологов «Африканские политические системы» и «Черная Византия» Наделя, недостаточность предлагаемых этими работами признаков классификации стала очевидна уже к началу 50-х годов. Существо вопроса довольно точно определил уже значительно позднее сенегальский ученый П. Диань, менее связанный уважением к традиции британской политической антропологии, чем сами британцы. В книге, изданной Фортесом и Ивенс-Притчардом, отметил он, «конкретный социальный опыт, выраженный в социальных и экономических структурах, которые обуславливают политическую организацию, упоминается, но ни разу не ведет к определению таких критериев, какие наверняка способствовали бы приданию этой типологии более богатого содержания»²². Здесь следует также сказать, что помимо логики развития самой науки, на что вполне справедливо указывают и некоторые западные исследователи, к уточнению знаний об африканских политических институтах толкали и практические нужды неокOLONIALИСТСКОЙ по своей сути британской политики в обстановке кануна ликвидации колониальной системы²³.

Однако до того как выяснилось, что необходима новая система критериев, британские исследователи попробовали разрешить возникавшие трудности путем уточнения типологии, предложенной в «Африканских политических системах». Первой такой попыткой стала работа Дж. Барнса о политических отношениях в одной из групп нгони на территории тогдашнего Ньясаленда (Малави), увидевшая свет в 1954 г. Барнс задался вопросом: не может ли сегментная организация сочетаться с государственной — и дал на него утвердительный ответ²⁴. Следующим этапом оказалась вышедшая двумя годами позднее книга Э. Саутхолла об алурах Уганды²⁵.

Понимая, как и Барнс, недостаточность жесткой дихотомии *stateless society* — *primitive state*, Саутхолл предложил ввести в типологию понятие «сегментного государства» (*segmentary state*), расширив употребление понятия «сегментное общество», выработанного Э. Дюркгеймом еще в конце прошлого века²⁶. Надо, правда, оговориться, что совместимость государства и сегментной организации не отрицал и один из создателей типологии «Африканских политических систем» М. Фортес. Но для него речь шла только о возможности сохранения сегментных структур в сравнительно мелких подразделениях, но не в государственном организме в целом²⁷.

По существу, «сегментное государство» Саутхолла — это политическая организация общества, находящегося на стадии перехода от родового строя к классовому. Британский исследователь не был, конечно, знаком с марксистскими работами, рассматривавшими этот этап исторического развития, да и подходил он к вопросу с чисто политической точки зрения. И все же заслугой Саутхолла было то, что он вышел за рамки жесткого функционального подхода и попробовал приложить понятие «сегментного государства» к тем политическим образованиям раннесредневековых Европы и Азии, которые в марксистской историографии определяют как военные демократии, раннефеодальные или варварские королевства²⁸. Притом Саутхолл отметил, что в большинстве случаев такие государства не соответствовали критериям Наделя²⁹. Однако в основе его классификации все же оставался формальный принцип: наличие или отсутствие в «сегментном обществе» специализированных административных

²² P. Diagne. Pouvoir politique traditionnel en Afrique Occidentale. Essais sur les institutions politiques précoloniales. Paris, 1967, p. 16.

²³ J. Lombard. L'anthropologie britannique contemporaine. Paris, 1971, p. 236.

²⁴ J. A. Barnes. Politics in a changing society. A political history of the Fort Jameson Ngoni. Cape Town — London — New York, 1954, p. 47—54.

²⁵ A. W. Southall. Alur society. A study in processes and types of domination. Cambridge, 1956.

²⁶ E. Durkheim. De la division du travail social. Paris, 1893.

²⁷ M. Fortes. The dynamics of clanship among the Tallensi. London, 1945, p. 232, 234.

²⁸ Ср., например: С. П. Толстов. Военная демократия и проблема «генетической революции». — В сб.: «Проблемы истории докапиталистических обществ», 1935, № 11—12; А. И. Неусыхин. Дофеодальный период как переходная стадия от родо-племенного строя к раннефеодальному (на материале истории Западной Европы раннего средневековья). — «Вопросы истории», 1967, № 1.

²⁹ A. W. Southall. Alur society, p. 253.

институтов. Что же касается причин появления такого рода институтов, то Саутхолл сводит их главным образом к необходимости обеспечить определенный минимум безопасности в обществе. Правда, он добавляет к этому и возможность приобретения некоторой магической власти над силами природы, что, в конце концов, можно рассматривать и как скрытую форму заботы об общественном производстве³⁰. При этом, хотя Саутхолл и показывает, что завоевание отнюдь не было типичной формой сложения алурских «кйяжеств», он все же считает единственной формой возникновения государственной организации, так сказать, наложение более развитого общественного организма на менее развитый, пусть даже и мирным путем. Тем самым он остается в рамках преобладающего в британской антропологии взгляда, считающего завоевание единственным путем возникновения государственности. Сомнения в правомерности подобного ограничения возможностей возникновения государственности стали появляться в британской литературе только к середине 60-х годов, да и то в довольно робкой форме. В этом отношении британские антропологи заметно отстали от своих американских коллег, которые уже в 1960 г. предложили достаточно стройную концепцию возникновения государства, пытающуюся связать это явление с уровнем развития хозяйства и производственных отношений в том или ином обществе³¹.

Дальнейшая попытка уточнения типологии Фортеса и Ивенс-Притчарда была сделана в уже упоминавшейся сводной работе, изданной под редакцией Дж. Миддлтона и Д. Тэйта. Здесь на базе рассмотрения институтов управления обществом у шести народов континента, не создавших еще государственной организации, были выделены три типа сегментных систем, различающихся тем, как соотносятся в них между собой и взаимодействуют агнатные линиджи, с одной стороны, и территориальные единицы — с другой³².

Но и в данном случае формальное разделение не учитывает различия в социально-экономическом уровне. Между тем ясно, что нельзя сводить различия между такими народами, как, скажем, мандари и динка, только к большому значению генеалогического принципа у первых. Ведь при этом не принимается во внимание, что динка представляют более высокую ступень хозяйственного и общественного развития, хотя бы уже потому, что у них смогла выделиться определенная прослойка знати, а их племена состоят из кланов, во многих случаях не связанных между собой генеалогическим родством³³. Заслуживает, однако, упоминания и то обстоятельство, что некоторые из ученых, принявших участие в этом сборнике, обратили внимание на то, что применение понятия «политическое» к отдельным сегментным обществам представляет неправомерную экстраполяцию нашей европейской терминологии на совершенно иную среду. Так, Л. Боханнан указывала, что у народа тив нет «ясно ограниченной сферы политических дел» и что «сегментная система этого рода функционирует не вопреки, но благодаря отсутствию туземного понятия политического»³⁴. Иными словами, исследовательница, видимо, чувствовала неточность применения подобного термина к отношениям, свойственным обществам догосударственного (т. е., с нашей точки зрения, доклассового) уровня, о чем говорилось ранее.

Среди британских работ, ставивших своей целью то или иное уточнение типологии, предложенной в «Африканских политических системах», несколько особняком стоит книга Л. Мэр «Первобытное правительство»³⁵. Собственно, название «Primitive government» в данном случае правомерно перевести и как «Примитивное правительство», поскольку речь идет именно о ранних, зачаточных формах государственности у ряда народов Восточной и Северо-Восточной Африки³⁶.

Не отказываясь формально от схемы Фортеса и Ивенс-Притчарда, Мэр фактически ее обходит: на место государства, т. е. определенной формы организации обще-

³⁰ A. W. Southall. Alur society, p. 243, 245, 246.

³¹ Cp.: M. H. Fried. On the evolution of social stratification and the state.— In: «Culture in history. Essays in honor of Paul Radin». N. Y., 1960, p. 713—730.

³² J. Middleton and D. Tait. Introduction.— In: «Tribes without rulers», p. 12—16.

³³ G. Lienhardt. The Western Dinka.— In: «Tribes without rulers», p. 130—132.

³⁴ L. Bohannan. Political aspects of Tiv social organisation.— In: «Tribes without rulers», p. 65.

³⁵ L. Mair. Primitive government. Harmondsworth, 1962.

³⁶ Мэр специально оговаривается, что определение «примитивный» не носит для нее оценочного характера по отношению к исследуемым народам (L. Mair. Указ. раб., с. 8).

ства, ставится правительство, т. е. то, как и кем осуществляется такая организация (здесь, так сказать, в зародыше присутствуют уже позднейшие типологии Ллойда и Саутхолла, о которых пойдет речь далее). Кроме того, и самый подход Мэр к изучению обществ группы «В» по Фортесу и Ивенс-Притчарду, т. е. безгосударственных, существенно отличен от того, что мы видели у ее предшественников. Она справедливо полагает, что невозможно ограничить формы управления безгосударственными обществами одними только взаимоотношениями между линиями и, соответственно, говорит о трех вариантах этих форм.

Прежде всего, действительно, возможно отсутствие какой бы то ни было власти, за исключением авторитета глав линий. Такую форму управления исследовательница обозначает как «удовлетворение за обиды» (redress for wrongs). Речь здесь может идти только о самостоятельных карательных действиях потерпевшего либо о совместной акции его сородичей и сторонников. В такой системе управления видное место принадлежит иногда профессиональным посредникам, занимающимся мирным урегулированием споров и конфликтов; тем не менее, никакой обязательной властью эти лица не обладают³⁷.

Следующую форму управления безгосударственным обществом в своей типологии Мэр именует «минимальным правительством» (minimal government). Смысл его заключен в том, что даже при отсутствии единой власти, способной заставить повиноваться себе, в обществе всегда есть какие-то лидеры, к которым обращаются, когда дело касается решений, затрагивающих значительное число людей³⁸. Особо интересно обнаруживающееся при рассмотрении этого вида правительства сложное диалектическое взаимодействие статуса и богатства, например, у нузоров или лухья³⁹, когда оба эти элемента, усиливая действие друг друга, подготавливают переход к новым принципам социального деления.

Наконец, систему управления в обществах с возрастными классами как основой организационной структуры Мэр определяет термином «рассеянное правительство» (diffused government). Речь идет о правительстве, которое может быть названо состоящим из всего взрослого мужского населения, ибо общественные обязанности в теории в равной степени лежат на всех мужчинах⁴⁰. Исключительную важность в этом случае приобретала фигура идеологического лидера типа масайского laibon'a, тесно связанного с военной верхушкой⁴¹. Иначе говоря, в таких случаях мы имеем дело с начинающейся монополизацией выделившейся функции идеологического руководства обществом.

Если к этому добавить, что исследовательница прекрасно понимает необходимость наличия в распоряжении общества какого-то «избытка богатства» (surplus of wealth), для того чтобы сложилась центральная власть — «королевская власть», kingship, по определению Мэр⁴², то можно сказать, что первая часть книги по существу рассматривает разные стороны и этапы вызревания элементов государственной организации в некогда безгосударственных обществах. Характерно при этом, что если удовлетворение за обиды рассматривается в общем по Рэдклиф-Брауну, т. е. в рамках организованного применения силы⁴³, то при «минимальном правительстве» можно отметить и элементы руководства хозяйственной деятельностью коллектива⁴⁴. Но едва только Мэр начинает рассматривать африканские государства, как сразу же становится на чисто формальную позицию: «сущность государственной системы заключена в делегировании власти правителем, располагающим верховной властью (final authority)»⁴⁵. И точно так же формальны и главные, по ее мнению, характеристики традиционных государственных образований восточно-африканского региона, которые при некотором внешнем сходстве гораздо расплывчатее и неопределеннее приведенных ранее критериев Наделя. На таких позициях Мэр и остается в дальнейшем, несмотря на мно-

³⁷ L. Mair, Указ. раб., с. 36, 41, 48—60.

³⁸ Там же, с. 60.

³⁹ Там же, с. 64—66, 66—67.

⁴⁰ Там же, с. 78.

⁴¹ Там же, с. 85—88.

⁴² Там же, с. 109.

⁴³ Там же, с. 38.

⁴⁴ Там же, с. 65.

⁴⁵ Там же, с. 138.

жество точных наблюдений и характеристик тех или иных сторон исследуемых ею процессов и явлений.

Попытки уточнить типологию Фортеса и Ивенс-Притчарда при всей их полезности в принципе не могли решить задачу, стоявшую перед исследователями. Вместо единой и всеохватывающей типологии постепенно возникала такая дробность, которая угрожала вообще уничтожить возможность всякой типологии. Поэтому в 60-х годах начинаются попытки положить в основу классификации какие-то иные принципы вместо применявшегося до того сравнения уровней централизации власти и наличия специализированного административного аппарата.

Такой принцип, впрочем, найден был не сразу. В предложенной в 1962 г. видным бельгийским африканистом Я. Вансиной классификации африканских «королевств» сохранялся в качестве критерия уровень централизации, однако он дополнялся еще и принципами комплектования местной администрации. Но еще более существенно было то, что Вансина вообще отказался от создания общей типологии, ограничившись только «королевствами», т. е. такими общественными организмами, где уже сложилась та или иная форма специализированной администрации. Кроме того, Вансина отказывается ставить вопрос о происхождении этих «королевств», мимоходом замечая только, что они имели характер «завоевательных государств» (*conquest states*)⁴⁶. Правда, определенно он утверждает только то, что такие «королевства» расширялись военным путем. Истоки же подобной модели политической организации заключены в наследии королевств предшествующих эпох, ибо в Африке «королевства существовали весьма длительное время»⁴⁷.

Применяя двоякий критерий, о котором шла речь выше, Вансина выделяет пять типов государственных образований: королевства деспотические, «царственные» (*regal*), инкорпоративные, аристократические и, наконец, федеративные⁴⁸. Поскольку эту свою типологию бельгийский исследователь рассматривает как «классификацию структурных моделей» — и только, можно, конечно, понять, что он считал себя вправе сравнивать политические структуры таких разных обществ, как, скажем Ашанти или Буганда, с одной стороны, и занде или адур — с другой⁴⁹. Но при такой классификации весьма затруднительно увидеть, чем в конкретных условиях какого-то общества объяснялось появление того или иного типа политической надстройки. Притом в числе «королевств» оказываются также и такие структуры, которые мы никак не можем признать государственными, например, политические образования у шиллуков.

Схематизм и некоторая искусственность типологии Вансины, ее чисто формальный характер были сразу же подмечены многими западноевропейскими исследователями. Британский ученый П. Ллойд отмечает в первую очередь присущую ей, как и всем предшествовавшим ей классификациям, жесткую дихотомию: централизация — сегментация и (или) линидж — государство⁵⁰. Сам Ллойд предлагает иной подход к созданию типологии. По его мнению, акцент должен быть перенесен с административной структуры на процесс принятия решений политического характера. Собственно, в данном случае Ллойд развивает идею разграничения власти и управления, впервые предложенную в зарубежной африканистике М. Смитом еще в 1956 г. и уточненную им в 1960 г., отчасти под влиянием концепции К. Витфогеля⁵¹. А так как политика определяется соперничеством групповых интересов, то требуют выяснения, полагает Ллойд, три вопроса: как эти интересы выражаются и доводятся до сведения правящей элиты; как эта элита комплектуется и в какой мере выражает интересы общества в целом; как она связана с основной массой населения⁵². Поэтому в основе типологии Ллойда оказывается способ рекрутирования носителей административных должностей. Нетруд-

⁴⁶ J. Vansina. A comparison of African Kingdoms.— «Africa», v. 32, 1962, p. 324—335.

⁴⁷ J. Vansina. Указ. раб., с. 329.

⁴⁸ Там же, с. 333.

⁴⁹ Там же, с. 334.

⁵⁰ P. C. Lloyd. The political structure of African kingdoms. An exploratory model.— In: «Political systems and the distribution of power», p. 65.

⁵¹ M. G. Smith. On segmentary lineage systems.— «Journal of the Royal Anthropological Institute», v. 86, pt. 2, 1956, p. 39—80; *его же*. Government in Zazzau, 1800—1950. London — New York — Toronto, 1960, p. 18—20, 22—27.

⁵² P. C. Lloyd. Указ. раб., с. 73, 74.

но увидеть в таком подходе влияние теорий политических ролей, получивших в последние десятилетия заметное распространение в западной буржуазной социологии.

Правда, Ллойд оговаривает, что речь у него идет именно о модели «в математическом смысле — т. е. о совокупности переменных, связанных друг с другом так, что изменение значения одной из них будет связано с изменениями значений других»⁵³. В число переменных входят и такие важные характеристики, как «права на землю»⁵⁴. Но в типологии они остаются именно переменными, притом функцией, а не аргументом. В основу же модели кладутся все-таки три типа «рекрутирования политической элиты»: «представительный» — когда каждая генеалогическая группа населения имеет как таковая право на определенную должность в системе; доступность всех административных постов любому свободному мужчине при отсутствии закрепления постов за теми или иными генеалогическими группами; замкнутый тип — когда политические должности принадлежат исключительно членам «правящего класса», составляющего лишь небольшую долю всего населения⁵⁵. Для подхода Ллойда вообще характерно гораздо большее внимание к экономическим аспектам проблемы, чем у его предшественников; и все же в сути своей и его типология остается формальной. Скажем, сопоставляя первый и второй варианты модели, он отмечает, что при последнем земля может принадлежать уже не *descent group*, а лицам, населяющим деревню или квартал⁵⁶. Но ведь различие это имеет принципиальное значение: речь идет о стадийно разных явлениях, у Ллойда же все три варианта лежат на одной горизонтали!

Существенно в типологии Ллойда и еще одно обстоятельство. Он, пожалуй, первый из британских антропологов-африканистов попытался вступить в научную полемику с учеными марксистского направления. Так, признавая, что содержание политической элиты требует взимания с непосредственных производителей дани или налога, Ллойд рассуждает следующим образом. Марксисты-де все это считают эксплуатацией производителя; но эксплуатацию можно свести к тем случаям, когда у сопротивляющихся и недовольных изымается продукт не для одной только политической элиты, но и для всей социальной группы, к которой последняя принадлежит («назовем ее правящим классом», добавляет он). Однако ведь при этом совершенно нельзя понять, в чем, собственно, в этом смысле различие между элитой и всем высшим слоем населения? Кроме того, знакомство с марксистской литературой у Ллойда в данном случае ограничено единственной работой И. И. Потехина о феодализме у ашанти⁵⁷. Никак нельзя свести «марксистскую концепцию классовой борьбы» к соперничеству между общинными вождями и членами правящей династии, рассматривая это соперничество как характерный пример классовой борьбы⁵⁸. Надо, тем не менее, сказать, что истолкование значения конфликтов в обществе у Ллойда намного шире и в принципе, вероятно, правильное, чем у антропологов манчестерской школы — Глукмана и его последователей, считающих конфликт в традиционных африканских обществах исключительно интегрирующим фактором⁵⁹. Характерно, кстати, что не один Ллойд попытался в какой-то мере воспользоваться марксистскими работами при рассмотрении конфликтных ситуаций в традиционных обществах континента. О возможности «сочетать» структурно-функциональную теорию с конфликтным подходом «по Марксу» в этих случаях говорил и Э. Саутхолл⁶⁰. Обращение к марксизму можно, конечно, только приветствовать. Но следует при этом помнить, что марксистская теория не терпит эклетического соединения с немарксистскими взглядами.

Весьма существенная деталь типологии Ллойда: сам он отрицает, что три его модели можно рассматривать как стадии прогрессивного развития африканских обществ и их политических институтов. В качестве аргумента приводится только один

⁵³ P. C. Lloyd. Указ. раб., с. 83.

⁵⁴ Там же, с. 88, 89.

⁵⁵ Там же, с. 84.

⁵⁶ Там же, с. 102.

⁵⁷ Там же, с. 77, 78.

⁵⁸ Там же, с. 80.

⁵⁹ M. Gluckman. Custom and conflict in Africa. Oxford, 1955; *его же*. Order and rebellion in Tribal Africa. Selected essays with an autobiographical introduction. London, 1963; *его же*. Politics, law and ritual in Tribal Africa. Oxford, 1965.

⁶⁰ A. W. Southall. Orientations in political anthropology. — «Canadian Journal of African Studies», v. 3, 1969, № 1, Winter, p. 50.

довод: третий вариант (замкнутая политическая элита) вовсе не обязательно оказывается последней ступенью. Он может быть и первой — в случае завоевания. И мы, таким образом, вновь возвращаемся к старой, восходящей еще к Ф. Оппенгеймеру, теории происхождения государства в результате завоевания⁶¹.

Можно, следовательно, говорить о том, что рассмотрение в западноевропейской немарксистской этнографии проблем, связанных с африканскими политическими структурами, до настоящего времени оставалось в рамках преимущественно формальных типологий. Поэтому изучение таких вопросов, как пути сложения африканских государств, а главное — их существо, во многом ограничивается внешней стороной явлений.

Что дело обстоит именно таким образом, свидетельствует последняя по времени из предложенных британскими исследователями типологий — та, которую разработал Саутхолл в 1965 г. Справедливо критикуя своих предшественников — Э. Ивенса-Притчарда, Р. Лича, Л. Мэр и других — за недостаточный уровень генерализации, Саутхолл, тем не менее, свою новую типологию, развивающую ту, что была предложена в «Алурском обществе», строит опять-таки на вторичном факторе: дифференциации политических ролей⁶². К этому критерию он добавляет еще один: характер делегирования власти и полномочий в системе. На этом основании предлагаются три ступени в развитии африканских доколониальных политических структур: сегментно-политическая, сегментно-пирамидальная, сегментно-иерархическая⁶³.

Первая в общем соответствует категории *stateless* в классификации «Африканских политических систем», последняя — в основном «преобладающая в современном мире» (понятно, что различия между политическими структурами современного мира в зависимости от их социальной основы Саутхолл не делает). Большинство же африканских политических систем, по мнению исследователя, не достигло этой высшей стадии, задержавшись на уровне сегментных или «конфедеративных» государств, как раз и образующих сегментно-пирамидальные структуры.

Что большая часть доколониальных политических образований Африки не достигла уровня развитой государственности — с марксистской точки зрения, бесспорно. Однако типология Саутхолла никак не объясняет причин, приведших к оформлению того или иного типа политической структуры, ее социально-экономических основ, ограничиваясь чисто организационной стороной такой структуры. Конечно, типология эта очень подробна и может оказаться весьма полезной как рабочий инструмент; но она именно ничего не объясняет. И как раз поэтому, кстати, она способна служить хорошей иллюстрацией неприложимости к исследованию доколониальных африканских обществ концепций М. Вебера, к которым восходит в основном аргументация Саутхолла. И не его одного: влияние Вебера вообще весьма ощутимо во многих британских работах (что, кстати, признают и сами британские антропологи⁶⁴).

Французские исследователи обратились к изучению политических явлений в африканских обществах гораздо позже своих коллег с другого берега Ламанша — практически уже в 60-х годах. И начинали они свои работы с более высокого теоретического уровня. В частности, французские африканисты даже немарксистского направления испытали гораздо большее воздействие марксистских идей и потому оказались намного более гибкими в оценке социальных и политических явлений в африканских обществах.

Характерно при этом, что для большинства французских авторов изучение политических структур в доколониальной Африке оказалось неразрывно связанным с исследованием проблемы африканского феодализма. Сама эта проблема не может рассматриваться в рамках настоящего сообщения — она заслуживает особого анализа и в силу своей важности и из-за объема накопленного материала. Однако при ознакомлении с французскими работами вопрос «что такое феодализм?» практически не может быть отделен от изучения политических отношений и политических структур.

⁶¹ P. C. Lloyd. Указ. раб., с. 107.

⁶² A. W. Southall. A critique of the typology of states and political systems, p. 123—126.

⁶³ Там же, с. 126—129.

⁶⁴ Это отмечают, например, Глукман и Эгган — см. M. Gluckman and F. Eggan. Указ. раб., с. XVIII, XIX; A. Richards. Introduction. — In: East African chiefs, London, 1960, p. 8.

В этом мы убеждаемся уже на примере одного из самых ранних исследований такого рода — работы Ж. Макэ, в которой дано было цитированное ранее определение политических отношений (см. выше). Ибо из этого определения политического как совокупности всех отношений между управляющими и управляемыми непосредственно следует вывод: феодализм есть политический строй, ибо он система организации таких отношений⁶⁵. Макэ знаком с марксистским определением феодализма, однако это определение считает недостаточным именно потому, что оно, по его мнению, недооценивает политический фактор (например, отношения вассалитета внутри самого класса феодалов). Отсюда Макэ делает вывод: «Возможно, что политический строй соответствует способу производства, но это необязательно»⁶⁶. Правда, исследователь признает, что государство предполагает постоянное принуждение, следовательно, и аппарат для такового. Но из этого следует несколько неожиданное заключение: из наличия такого аппарата и проистекает, по мнению Макэ, разделение общества на два четко различимых класса⁶⁷. Иначе говоря, в основе подхода опять-таки лежит надстроечное явление — ведь смысл управления, то, чем надлежит управлять в первую очередь, т. е. прежде всего функционирование общества как экономического организма, вовсе не затрагивается. А ведь Макэ в общем признает, что в основе общественного развития лежит развитие производства!

Не лишена, впрочем, интереса та оговорка, которой Макэ сопроводил это признание примата общественного производства. Признание это, говорит Макэ, не следствие философской позиции, а просто итог полевого опыта; автор не утверждает, что реальность должна соответствовать такой схеме. Ибо в последнем случае речь шла бы уже не о рабочей гипотезе, а о концепции⁶⁸. Иными словами, исследователь менее всего склонен занимать сколько-нибудь четкую мировоззренческую позицию.

Как политическое отношение выглядит феодальная зависимость и в более поздней работе Макэ. Это видно хотя бы из того, что в описании отношений зависимости в Межозерье подчеркнуто: внутри верхнего слоя общества феодальные отношения (понимаемые как взаимные обязательства) заменяют политические институты. Таким образом, и здесь отношения эксплуатации, лежащие в основе государственной структуры, выпадают из поля зрения⁶⁹.

Тенденция к отделению феодализма «политического» от его экономического и социального аспектов и, в частности, от такого распространенного в Африке социально-экономического явления, как клиентела, проявилась не у одного Макэ. Так, в самой откровенной форме присутствует она у Р. Вердые⁷⁰. И еще более резко она отразилась у некоторых участников специального номера журнала «Cahiers d'Etudes Africaines», посвященного отношениям зависимости в доколониальной Африке. Так, Р. Ботт и его соавторы, с одной стороны, полагают, что клиентела — это модель, обозначающая отношения вассалитета вне общен исторического контекста, а с другой — обвиняют коллег в двух «молчаливых допущениях»: аналогии с европейской системой и постулате о причинной связи, существующей между зависимостью и централизованной политической системой⁷¹. Нетрудно видеть, что здесь в скрытой форме содержится тезис об отсутствии какого бы то ни было сходства исторических условий в Африке с европейскими и одновременно подразумевается отрицание правомерности применения к Африке понятийного аппарата науки, выработанного на базе изучения европейских обществ. И речь идет даже не о теории общественно-экономических формаций — трудно требовать ее применения от ученых-немарксистов, а о таких понятиях и категориях, как рабство, феодализм или феодальные отношения. В логическом своем раз-

⁶⁵ J. Maquet. Указ. раб., с. 296.

⁶⁶ Там же, с. 297, 298.

⁶⁷ Там же, с. 299.

⁶⁸ Там же, с. 313.

⁶⁹ J. Maquet. Institutionalisation féodale des relations de dépendance dans quatre cultures interlacustres. — «Cahiers d'Etudes Africaines», v. IX, 1969, № 3 (35), p. 409.

⁷⁰ R. Verdier. Observations préliminaires à une étude sociologique des systèmes politiques négro-africains traditionnels. — In: «Recueils de la société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions», XXII — «Gouvernés et gouvernants». Bruxelles, 1969, p. 161, 162.

⁷¹ R. Botté, F. Dreyfus, M. Le Pape, Cl. Vidal. Les relations personnelles de subordination dans les sociétés interlacustres de l'Afrique Centrale. — «Cahiers d'Etudes Africaines», v. IX, 1969, № 3(35), p. 351, 352.

витин такой подход ведет к имплицитному признанию существования «особого пути» исторического развития Африки и в конечном счете — к отрицанию единства всемирно-исторического процесса, что совершенно неприемлемо для марксистской науки.

В работах Ж. Ломбарда, в особенности в книге «Структуры феодального типа в Черной Африке»⁷², также подвергнута критике дуальная схема Фортеса и Ивенс-Притчарда. Но Ломбард с самого начала ставит вопрос иначе, чем британские критики этой типологии: для него проблема упирается в критерии типологизации. Ибо, справедливо полагает исследователь, на одном лишь уровне централизации и эффективности власти границу между обществами типов «А» и «В» определить невозможно. В этом с Ломбардом можно согласиться, но сам он ответа на поставленный вопрос не дает. Глубинные причины различий между разными типами политической организации, т. е., в конечном счете, уровень социально-экономического развития того или иного общества, остаются нераскрытыми. Это тем более досадно, что в нескольких работах Ломбарда хорошо показано, как новые отношения, построенные на эксплуатации непосредственных производителей, взрывают старую систему кровнородственных отношений, на которой некогда держалось традиционное общество. Правда, явления эти Ломбард рассматривает в политических категориях, говоря об отношениях феодальных, или феодального типа⁷³. Иначе говоря, для него, как и для Макса или Вердые, феодализм — это в первую очередь именно политические отношения. Феодальные тенденции в африканских обществах, говорит Ломбард, следует определять более в смысле формы политической организации и типа общественных отношений, основанных на личных связях, но не на реальных правах, построенных на феоде⁷⁴.

И все же Ломбард делает заметный шаг вперед по сравнению с Р. Колборном, хотя именно колборновское определение феодализма как способа управления, но не социально-экономической системы⁷⁵, он почему-то считает более всего приложимым к африканским общественным системам. В собственном определении Ломбарда сделана попытка сочетать социально-экономический и политический моменты: «В негро-африканских обществах система „феодального“ типа, или с „феодальными“ тенденциями представляет одновременно построенную на неравенстве социальную структуру, порождающую ясно определенные социально-экономические и даже политические отношения между разными социальными категориями, могущие быть названными вертикальными отношениями, и децентрализованную политическую структуру, в которой областные правительства пользуются известной автономией и экономическими привилегиями, но связаны с верховной властью в центре личными узами, могущими быть не только политического порядка, но и семейного и экономического»⁷⁶. Тем не менее и это определение страдает половинчатостью: дело в том, что для Ломбарда основой остается все же политическое преобладание, позволяющее даже при типичном для Тропической Африки, во всяком случае для большей ее части, сохранении ритуальной власти над землей за так называемыми «хозяевами земли» (*chefs de terres*), т. е. представителями коренного населения, при завоевании их территории, производить перераспределение материальных выгод в пользу завоевателей⁷⁷.

Такого рода параллелизм политической и поземельной структур отмечал и Ж. Баландьё, считавший его типичным для традиционной Африки⁷⁸. Надо признать, что вообще взгляды этого ученого по поводу политических структур Тропической Африки отличает наибольшая среди французских авторов последовательность. Так, Баландьё подчеркивает, что в доколониальной Африке государство сравнительно редко приобретало завершённую форму и существовало скорее как тенденция. Говорит он и о том, что неравенство социальных статусов может стать прообразом классовой структуры общества⁷⁹, особенно учитывая то, что традиционному обществу органически присущи

⁷² J. Lombard. Structures de type féodal en Afrique Noire. Etude des dynamismes internes et des relations sociales chez les Bariba de Dahomey. Paris — La Haye, 1965.

⁷³ J. Lombard. La vie politique dans une ancienne société de type féodal: les Bariba de Dahomey. — «Cahiers d'Etudes Africaines», v. 1, 1960, № 3, p. 7.

⁷⁴ J. Lombard. Structures de type féodal en Afrique Noire, p. 371.

⁷⁵ «Feudalism in History. Ed. by R. Coulborn». Princeton, 1956, p. 5—7.

⁷⁶ J. Lombard. Structures de type féodal en Afrique Noire, p. 371.

⁷⁷ Там же, с. 369.

⁷⁸ G. Balandier. Указ. раб., с. 158.

⁷⁹ Там же, с. 99, 156.

неравенство и отношения зависимости⁸⁰. Но, по мнению Баландьё, в условиях сегментных обществ в силу их низкого технико-экономического уровня неравенство экономическое менее значимо, нежели неравенство генеалогическое и ритуальное⁸¹. Добавлю, однако, что здесь надлежит разграничивать субъективное восприятие неравенства или каких-то его форм самими членами общества и объективную важность в историческом развитии той или иной его разновидности. В противном случае определяющий характер экономического фактора оказывается как бы смазанным.

Небезынтересно отметить, что последний тезис Баландьё перекликается с мнением видного британского антрополога Дж. Гуди, который на основании несходства земледельческой технологии в Африке и Европе утверждает, что в первой невозможно было возникновение феодальных общества и государства, аналогичных европейским⁸². Гуди полагает, что в условиях Тропической Африки не могли сложиться те поземельные отношения, которые в Европе служили основой всей феодальной структуры. В частности, он сомневается, можно ли рассматривать как эксплуатацию содержание непосредственными производителями тех, кто распоряжается землей, — это может быть просто «ответной услугой» и у нас нет способа проверить, как обстоит дело (по *real test*)⁸³.

Верно, что такого рода явления не обязательно суть эксплуатация — это в конце концов зависит от уровня общественного развития в каждом конкретном случае, что можно установить только при детальном рассмотрении основных сторон того или иного общественного организма. И надо сказать, что как раз большинство африканских обществ, материалом которых оперирует Гуди, отличал довольно высокий уровень социально-экономического развития, и это позволяет говорить именно об эксплуатации, а не об «обмене услугами». Но такой «технологический детерминизм» не выдерживает критики еще и потому, что в литературе (в том числе советской) была показана возможность создания и отчуждения в Африке прибавочного продукта при мотыжном земледелии⁸⁴.

Тем не менее книга Гуди заслуживает того, чтобы быть отмеченной особо, как довольно необычное явление в британской антропологической литературе. Правда, когда Гуди отмежевывается от «грубого материалистического детерминизма», его концепция неожиданно приобретает довольно сомнительное политическое звучание — в виде требования не модернизировать экономику африканских стран в наши дни по «американской и советской моделям»⁸⁵.

Итак, даже беглое рассмотрение некоторых ведущих тенденций западноевропейской этнографической науки в изучении политических структур доколониальной Африки показывает невозможность решить вопросы типологии и характера политических образований, существовавших на континенте, с методологических позиций буржуазной науки. Только применение марксистско-ленинской методологии позволяет разрешить эти проблемы так, чтобы логическая конструкция не приходила в противоречие с фактическим материалом. Поэтому исследователям в социалистических странах и ученым-марксистам в странах Западной Европы следует обратить серьезное внимание на изучение данного круга вопросов.

⁸⁰ G. Balandier. Les relations de dépendance personnelle: présentation du thème. — «Cahiers d'Études Africaines», v. IX, 1969, № 3(35), p. 347.

⁸¹ G. Balandier. Anthropologie politique, p. 76.

⁸² J. Goody. Technology, tradition and state in Africa. London — Ibadan — Accra, 1971.

⁸³ Там же, с. 31.

⁸⁴ См., например: G. Brasseur. Pression démographique et équilibres naturels. — «Notes Africaines», 1961, № 91—92; В. В. Крылов. Основные тенденции развития аграрных отношений в Тропической Африке. — «Народы Азии и Африки», 1965, № 4; *его же*. Азиатский способ производства как особая форма рабства или феодализма. — В кн.: «Общее и особенное в истории развития стран Востока. Материалы дискуссии об общественных формациях на Востоке (азиатский способ производства)». М., 1966

⁸⁵ J. Goody. Указ. раб., с. 76.

Типологические исследования по фольклору. Сборник статей памяти Владимира Яковлевича Проппа (1895—1970). М., 1975, 320 стр.

«Владимир Яковлевич Пропп... был одним из крупнейших фольклористов нашего времени, автором трудов, снискавших мировую известность и определивших собой целое направление в современной науке о народном творчестве». Этими словами Б. Н. Путилова, автора статьи «Проблемы фольклора в трудах В. Я. Проппа», открывается сборник, посвященный памяти выдающегося ученого.

Тематика работ В. Я. Проппа, метод и принципы его исследования фольклора были не только отражены, но и углублены во многих статьях этого издания. Определяющим для сборника является интерес к проблемам специфики фольклора, к его генезису и истории, к обнаружению механизмов жанро- и сюжетообразования. Характерно стремление авторов, вслед за В. Я. Проппом, соединить структурно-типологические и историко-генетические аспекты.

В статье «Специфика фольклора в свете теории информации» К. В. Чистов приводит цепь конкретных и убедительных доказательств, которые дают основания «традиционную теорию отличий фольклора от литературы... превратить в историю отличий литературы от фольклора» (стр. 28). Исходя из того, что практически все критерии отличий фольклора от литературы (кроме механизма коммуникаций) были исторически изменчивы, автор основное внимание уделяет естественному (контактному) и «техническому» способам коммуникаций, которые изучаются им подробно и теоретически осмысливаются. Анализ механизма коммуникаций имеет важное значение для науки, так как он «поможет нам прояснить и многие историко-фольклорные и — шире — историко-культурные проблемы, в том числе и некоторые проблемы современной культуры» (стр. 43).

Частная и вместе с тем существенная проблема, позволяющая показать отличие фольклорного по своей природе произведения от литературного, рассматривается в статье П. А. Гринцера. Автор изучает эпические формулы как один из главных признаков доказательства устного генезиса поэм «Махабхарата» и «Рамаяна». Существует общее мнение об устной природе обеих поэм, тем не менее к их анализу применяются нормы письменной литературы: центром исследования оказывается проблема авторства этих поэм, споры идут о датировке памятников и пр. Однако, — пишет П. А. Гринцер, переключаясь в этом плане с В. Я. Проппом, — «устный памятник не знает ни автора в обычном понимании этого слова, ни канонического текста, ни определенной даты создания, ни отделенных непроницаемыми барьерами редакций» (стр. 157).

П. А. Гринцер, пользуясь известной методикой А. Лорда, дает подсчет эпических формул, приспособленных к требованиям метра. В понятие формулы автор вкладывает тот же смысл, что и М. Парри, который не только дал определение эпической формулы, но и показал особенности употребления формул в тесной связи с эпическим метром. Классификация эпических формул, данная в статье П. А. Гринцера, их обилие в поэмах «Махабхарата» и «Рамаяна» служат, очевидно, достаточно убедительным доказательством устных корней этих произведений. Эпический певец, владея определенным арсеналом формул, мог практически неограниченно создавать по этим моделям новые, импровизируя «традиционные сказания».

В отличие от А. Н. Веселовского В. Я. Пропп считал формулу единицей более общей и более сложной структуры — мотива. Выяснению принципов строения эпического мотива посвящена статья Б. Н. Путилова «Мотив как сюжетобразующий элемент». Конкретной разработке проблемы предшествует глубокий теоретический анализ мотива как элемента эпической сюжетной системы. Б. Н. Путилов вскрывает намеченные, но не раскрытые Веселовским определенные уровни отношений мотива и сюжета, показывает особенности сюжета как системы. Одной из основных особенностей сюжета является его внутренняя динамичность, поэтому «мотивы можно рассматривать как определенным образом организованные моменты движения сюжета» (стр. 144). Сюжет способен к внутренним изменениям. Необыкновенная продуктивность, которой обладают мотивы, их способность к различным переосмыслениям создают возможность вариативности фольклорных текстов. Специфика эпоса рождает особенность мотива, которая заключается в его «типовом, формульном характере». Б. Н. Путилов, рассматривая содержание мотива, доказывает, что «содержательная наполненность», «временная и пространственная протяженность», «соотношение статического и динамического начала» в эпических мотивах различны, что порождает необходимость выделения определенных типов эпических мотивов, которые в свою очередь в сумме составляют «основу эпической сюжеттики».

Классификация типов эпических мотивов, предложенная Б. Н. Путиловым, чрезвычайно важная сама по себе, имеет вместе с тем и определенную перспективу, так как она должна способствовать «познанию процессов эволюции художественного сознания эпической среды, уяснению сложных отношений эпоса и действительности» (стр. 155).

С работой Б. Н. Путилова до известной степени перекликается статья Г. А. Левинтона «К проблеме изучения повествовательного фольклора», в которой рассматриваются принципы сюжетообразования в фольклоре и выдвигаются некоторые соображения научной реконструкции и интерпретации типовых сюжетов, прежде всего сказочных и эпических, на основе знания законов сюжето-мотивообразования и семантики мотивов.

Системный метод изучения *dramatis personae*, блестяще продемонстрированный В. Я. Проппом в «Морфологии сказки» и в «Исторических корнях волшебной сказки», нашел применение в статье Е. С. Новик «Система персонажей русской волшебной сказки». Описание системы персонажей осуществляется в этой работе на межсюжетном уровне. Сложность классификации *dramatis personae* заключается в том, что не только функции действующих лиц независимы от персонажей, но и персонажи в свою очередь, как доказывает Е. С. Новик, независимы от функций, которые они выполняют, т. е. прямые корреляционные связи «между поступком персонажа и его семантической характеристикой» (стр. 215) практически совсем отсутствуют. Это новый, не затронутый В. Я. Проппом аспект в изучении морфологии сказки.

С. Д. Серебряный в статье «Интерпретация формулы В. Я. Проппа (в связи с ее применением к индийским сказкам)» выясняет морфологию формулы, которая была намечена, но осталась не проясненной в «Морфологии сказки». Автор строит статью, подтверждая весь ход доказательств наблюдениями, материалами, доводами из работ самого В. Я. Проппа.

Объединение мифологического (генетического) и лингвистического путей в изучении мифологических трансформаций основного мифа нашло отражение в статье В. В. Иванова и В. Н. Топорова «Инвариант и трансформация в мифологических и фольклорных текстах». Такое сочетание двух аспектов исследования не случайно, так как «инвариант часто прочнее всего удерживается на поверхностной для мифа структуре, являющейся следом более древней глубинной структуры языкового уровня» (стр. 73). Любые трансформации приводят к изменениям основного текста при сохранении его инвариантной схемы. «Вся сумма трансформаций исходного текста,— пишут авторы статьи,— определяет пределы устойчивости лежащей в его основе схемы, позволяет различить постоянные и переменные величины в тексте и тем самым наметить правила преобразования, в соответствии с которыми можно вывести все множество вариантов схемы» (стр. 50). Из этого делается вывод, что трансформации могут быть поняты не только как изменчивость текста, но и как синонимия разных вариантов, которая покажет устойчивость основного текста. Демонстрация разных форм трансформаций осуществляется на материале группы текстов о поединке Громовержца и его противника Змея. Авторам статьи удается реконструировать морфологическую схему мифа о божестве Грома, который преследует Змея. Показана и более далекая жанровая трансформация основного мифа — ею оказывается белорусская сказка «Праздник Ильишкы». Более поздней, коренным образом переработанной схемой мифа являются некоторые обряды праздника Ивана Купалы; отдельные весьма отдаленные мотивы мифа звучат в языковых фразеологизмах.

Словарь пространственных элементов, составленный Т. В. Цивьян на материале албанской волшебной сказки, явился органическим развитием «грамматических» идей В. Я. Проппа. Албанские сказки оказались очень удобным объектом исследования, так как они в меньшей мере, чем сказки многих других народов, подверглись позднейшим искажениям и потому отражают архаические черты человеческого мышления. Лингвистический аспект в изучении сказки «открывает широкие возможности и для собственно семантического анализа сказки — реконструкции архетипических черт сюжета и на этом основании установления мифологической модели мифа» (стр. 191).

Этнографический принцип в изучении фольклора играл значительную роль в трудах В. Я. Проппа, который в свое время писал: «Историческая фольклористика, изучающая зарождение явлений... опирается на этнографию. Такое изучение есть звено подлинно исторического изучения. Поэтому между фольклористикой и этнографией существует самая тесная связь. Вне этнографии не может быть материалистического изучения фольклора»¹. Этот принцип получил развитие в работах Е. М. Мелетинского и, в частности, в его статье «Структурно-типологический анализ мифов северо-восточных палеоазиатов (Вороний цикл)». Е. М. Мелетинский обращается к изучению мифологии палеоазиатов, преимущественно чукотско-камчатской группы. Мифы и сказки северо-восточных народов особенно интересны, так как они сохраняют архаические черты мифического способа мышления. Автор статьи показывает, что сказки палеоазиатов практически неотделимы от мифов, что, впрочем, не является особенностью культуры только чукотско-камчатской группы населения, а характерная черта вообще всех архаических культур. В статье показаны отличия корякско-ителменской мифологической сказки от европейской. Особенности палеоазиатской сказки подробно прослежены на анализе одного из разделов мифологических сказок о приключениях и истории брачных связей сыновей и дочерей Ворона (Вороний цикл). «Двойность» брачных связей Вороньего рода, характерная для композиции мифологических сказок, «является особенностью синтагматики этих сюжетов» (стр. 122).

¹ В. Я. Пропп. Специфика фольклора. — «Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция филологических наук», Л., 1946, с. 145.

Широко привлеченный Е. М. Мелетинским этнокультурный комплекс помогает раскрыть особенности мифологической сказки. Предельно полный объем вариантов мифов-сказок на избранную тему, широко использованный круг этнографических материалов помогают вскрыть древний календарный подтекст некоторых мифологических мотивов, понять ряд «темных» мест в этих мифах.

Конкретный анализ мифов-сказок палеоазиатов дает возможность автору сделать важные выводы о свойствах мифологической фантазии вообще. Анимистическое мироощущение предполагает как следствие «двойную» природу человека, а также представление о столь же всеобщей качественной однородности живого и неживого, макрокосма и микрокосма.

Если Е. М. Мелетинский изучает как частный вопрос «конкретное» и однородное мифологическое пространство в плане раскрытия мифологической фантазии определенных народов, то С. Ю. Неклюдов рассматривает пространственно-временную организацию повествовательного фольклора в плане общей теории. Семантическая структура мифа и фольклорно-логическая структура волшебной сказки близки и легко соотносимы, хотя сказка как жанр сложилась уже после того, как мифический способ мышления перестал быть господствующим. С. Ю. Неклюдов стремится доказать, что для повествовательного фольклора характерно определенное историческое взаимоотношение между содержательным планом мифа и формально-содержательным планом фольклора. «История повествовательного фольклора,— пишет С. Ю. Неклюдов,— характеризуется постоянным переходом элементов из содержательного плана в формальный... При этом уход в план выражения... подчас оказывается фактом сохранения весьма древних смыслов» (стр. 182). Данная закономерность демонстрируется в статье на частном примере соотношения динамических и статистических начал в мифе.

Подмеченная и обоснованная в статье С. Ю. Неклюдова закономерность, на наш взгляд, искусственно ограничена. Традиционное многовековое отставание формы выражения от содержания — это общий для фольклора (в том числе и для поэтических жанров) закон. Мифическое сознание теряет со временем основные элементы содержания, но форма выражения эстетически ценных представлений сохраняется почти нетронутой, она лишь слабо видоизменяется, а потому и живет веками. Готовые устойчивые поэтические формулы вновь осмысливаются и присутствуют в народной поэзии уже для выражения иных чувств, иных настроений.

И. И. Ревзин рассматривает значение основных положений «Морфологии сказки» В. Я. Проппа для общей теории знаковых систем (статья «К общесемiotическому истолкованию трех постулатов Проппа»).

Проблемам типологии, структуры, тематики народных изречений, их взаимоотношениям с различными языковыми и фольклорными формами посвящена статья Г. Л. Пермякова «К вопросу о структуре паремнологического фонда».

В статье «Относительно полисемантической малайскоязычной «Повести о санг Бо-ме» Б. Б. Парникель выясняет многосторонние и разностадиальные связи повести с мифологией и их роль в истории произведения.

«Типологические исследования по фольклору» — большая удача современной фольклористики. Работа как нельзя лучше подтверждает слова Б. Н. Путилова о том, что научные идеи, заключенные в трудах В. Я. Проппа, «живая творческая мысль ученого, его понимание фольклора и выработанные им принципы исследования будут сохранять свою плодотворность, и влияние их с годами будет шириться и крепнуть, ибо ученые типа В. Я. Проппа принадлежат столько же настоящему, сколько и будущему науки» (стр. 15).

В. И. Еремина

НАРОДЫ СССР

Этнографическое картографирование материальной культуры народов Прибалтики (ответственные редакторы В. А. Александров и Н. В. Шлыгина). М., 1975, 239 стр.

В настоящее время в развитии советской этнографии все большую роль играют региональные историко-этнографические атласы,готавливаемые Институтом этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР совместно с научными учреждениями союзных республик, ведущими исследовательские работы по этнографии. С составлением одного из таких атласов — атласом народов Прибалтики — связана и рецензируемая книга. Характерной ее особенностью (как и подготавливаемого атласа) является то, что материалы группируются не по отдельным этническим общностям, а по историко-культурным областям, которые в определенных пределах нередко совпадают с административно-территориальными единицами. Такой метод заслуживает

самой положительной оценки, так как он позволяет охарактеризовать культуру всех этносов рассматриваемой историко-культурной области и проследить взаимовлияние их культур в зонах контактов между ними. Другой особенностью советских историко-этнографических атласов является строго историческое расположение фактических материалов. Они, как правило, рассматриваются на трех хронологических уровнях: середина XIX, конец XIX — начало XX в. и 1920—1930-е годы, когда в большинстве регионов нашей страны, в частности в Прибалтике, еще сохранились, хотя и в неодинаковой степени, специфические особенности традиционно-бытовой культуры разных народов.

В рецензируемой книге помещено 13 статей, подготовленных учеными Москвы, а также Эстонии, Латвии и Литвы. Несмотря на то что статьи посвящены различным явлениям материальной культуры, их объединяют общие методологические и методические установки, в первую очередь, стремление рассматривать традиционно-бытовую культуру народов Прибалтики в тесной связи с их этническим и социально-экономическим развитием. Все статьи связаны с двумя большими сферами материальной культуры: сельскохозяйственным производством, постройками и поселениями. Третий раздел атласа — «Одежда» — в книге, к сожалению, не нашел отражения. Впрочем, в задачу составителей не входило осветить все проблемы; их задача — ознакомить читателей главным образом с наименее изученными сторонами материальной культуры эстонцев, латышей и литовцев.

Книга открывается статьей Л. Н. Терентьевой «Из опыта работы по этнографическому картографированию» (стр. 3—10). В ней изложены принципы составления региональных историко-этнографических атласов, которые в конечном счете дадут возможность создать сводные атласы по народам СССР, а также по народам Восточной и Центральной Европы (последний атлас подготавливается совместно с учеными многих зарубежных стран). В статье Л. Н. Терентьевой кратко изложены методы историко-этнографического картографирования, рассказано о первых шагах в этом направлении в Прибалтике еще в период существования буржуазных республик и особенно после восстановления Советской власти в 1945 г. Автор упоминает (к сожалению, слишком кратко) о работе Комплексной прибалтийской экспедиции, организованной в 1952 г., а также о плодотворной деятельности многих прибалтийских исследователей, подготовивших в послевоенный период ряд специальных монографий по отдельным элементам материальной культуры. Справедливо отмечена большая роль в развитии этнографической науки Прибалтийских республик покойного академика Академии наук Эстонской ССР Х. А. Моора, одного из крупнейших археологов и этнографов нашей страны. Л. Н. Терентьева подчеркивает разнообразие источников, положенных в основу отдельных работ по атласу (полевые этнографические материалы авторов, музейные коллекции, архивные данные, в отдельных случаях также археологические и лингвистические материалы). Благоприятное впечатление производят многочисленные карты, рисунки, фотографии и иллюстрации, помещенные в сборнике; большинство из них являются авторскими оригиналами (стр. 9, 10).

Первые статьи сборника посвящены изучению и картографированию различных сторон земледельческой и животноводческой техники. Все они основаны на оригинальных полевых материалах авторов, изучении богатых этнографических коллекций в различных музеях Эстонии, Латвии и Литвы, а также на анализе археологических, историко-архивных, статистико-экономических, а частично и лингвистических данных. А. О. Вийрес в статье «Упряжные волы и лошади в Прибалтике» проследил способы использования волов и лошадей при сельскохозяйственных работах по всей Прибалтике на протяжении 600 лет — с XIII по XIX в. Хорошо аргументированным представляется вывод автора о том, что «при пахоте во всей Прибалтике на ранних этапах пользовались как волом, так и лошадью, причем первоначально преобладало применение вола, пока хомут, распространившийся примерно в середине I тысячелетия н. э., не дал возможности более широко применять для пахоты лошадь» (стр. 31). Большим достоинством статьи А. О. Вийреса является широкое привлечение сравнительных данных по соседним с Прибалтикой территориям (Приднепровью, Финляндии, Центральной Европе и т. д.), а также пристальное внимание к хозяйственно-культурному взаимодействию прибалтийско-финских и балтийских (летго-ливотских) этносов как между собой, так и с соседними народами (в частности, с восточными и западными славянами). Работа А. О. Вийреса представляет большой интерес и для проблем историко-культурного районирования не только Прибалтики, но и Европы в целом.

Истории земледельческой техники эстонцев в конце XIX — начале XX в. посвящена статья Л. Х. Феоктистовой «Нововведения в земледельческой технике у эстонских крестьян», в которой рассматривается пока еще мало исследованный вопрос о нововведениях в сфере пахотных и разрыхляющих орудий в Эстонии, начиная с 60-х годов XIX в., когда барщинные формы помещичьего хозяйства постепенно сменялись капиталистическими. Автор применила оригинальный метод составления статистико-географических картограмм. На одной из них прослежено распространение в 1910 г. в Эстонии традиционных и фабричных пахотных орудий в крестьянских хозяйствах (стр. 39), на другой приведены аналогичные данные о разрыхляющих орудиях — различных типах борон (стр. 43). В заключение Л. Х. Феоктистова останавливается на роли эстонских земледельческих обществ в пропаганде новых агротехнических приемов и усовершенствованных орудий. Интересно упоминание о том, что один из наибо-

лее активных представителей демократического направления в «Эстонском пробуждении» К. Р. Якобсон был инициатором первого пахотного соревнования в 1874 г. для показа преимуществ отвального плуга по сравнению с сохой. В конце статьи Л. Х. Феоктистова справедливо отмечает, что «на практике воспользоваться новыми приемами агрокультуры и современной земледельческой техникой могли лишь зажиточные крестьяне» (стр. 47). К этой статье тематически и методически примыкают работы Э. К. Яагосильд «Уборка ржи в Эстонии» и Э. Х. Кару «Способы молотбы в Эстонии во второй половине XIX — начале XX в.». Обе статьи отличаются тщательностью обработки оригинальных полевых, архивных и литературных этнографических материалов. Статьи снабжены несколькими картами, из которых наибольший интерес представляют карты распространения орудий уборки ржи в середине XIX в. и на рубеже XIX — XX вв. (стр. 50 и 57), применения кичиги и цепа в различные периоды (стр. 67), типов эстонских цепов (стр. 71), приемов молотбы яровых (стр. 74). Эти карты позволяют проследить смену орудий уборки ржи и приемов молотбы в период развития капитализма в Эстонии. Картографический материал дополняется прекрасно выполненными рисунками и фотографиями.

Статьи И. А. Лейнаса и А. И. Вишняускайте посвящены историко-этнографическому изучению льноводства, которое в Прибалтике получило наибольшее развитие во второй половине XIX — начале XX в. в связи с ростом капиталистических отношений и связанного с ними товарного производства. В царской России большую роль в производстве льна для мирового рынка играли западные губернии. Об этом говорится в статье И. А. Лейнаса «Льноводство и льноводческие орудия в Латвии во второй половине XIX — начале XX в.». «В центре этого льноводческого района находился Рижский порт, через который в середине XIX в. вывозилась половина экспортируемого из России льна» (стр. 79). И. А. Лейнаса приводит статистические данные о развитии льноводства в латышских районах и дает интересные карты распространения способов первичной обработки тресты (с замачиванием и без замачивания) (стр. 83), различных видов трепалок (стр. 85) и мялок (стр. 89). Карты сопровождаются рисунками и фотографиями, дающими наглядное представление о способах обработки льна и льноводческих орудиях латышей. Автор приходит к обоснованному выводу, что в развитии льноводства в Латвии намечаются два периода подъема: в первой половине XIX в., когда в обработку льна был внесен ряд новшеств, и в конце XIX в., когда начали использовать льнообрабатывающие машины (стр. 90). Статья А. И. Вишняускайте «Ручная мялка у литовцев», посвященная, казалось бы столь частному вопросу, представляет большой интерес для этнографов, особенно если учесть, что льноводство, играющее серьезную роль в хозяйстве многих народов, до настоящего времени почти не привлекало внимания этнографов. Автор дает карту типов и вариантов мялок в Литве в начале XX в. (стр. 97), сопровождая ее многочисленными и высококачественными рисунками. Не вызывает сомнений конечный вывод автора: «Анализ конструкции литовских мялок позволяет нам с полной ясностью видеть, что они имеют много общих черт с льномялками соседних народов, что отчасти определяется простотой орудий такого типа, отчасти культурными взаимосвязями» (стр. 104). К сожалению, статьи И. А. Лейнаса и А. И. Вишняускайте написаны в нескольких разных ключах и не согласованы друг с другом, что затрудняет непосредственное сравнение приемов и орудий льноводства у двух соседних и близкородственных по происхождению и дальнейшей этнокультурной истории народов — латышей и литовцев.

Две следующие статьи являются как бы переходными от земледельческих сюжетов к изучению различных построек, связанных с животноводством. Л. А. Думпе в статье «Животноводческие постройки на западе и юге Латвии» делит крестьянские животноводческие постройки латышей по планировке на два основных типа: линейный и многоугольный, в пределах которого выделяется несколько подтипов — полностью замкнутый скотный двор и несколько разновидностей незамкнутого двора (в частности, Г-образные и П-образные).

Распространение этих типов построек на западе и юге Латвии в 1840—1860 гг. представлено на специальных картах (стр. 113, 114, 116). Автор подчеркивает, что «на всей территории распространения животноводческих построек сложного многоугольного плана в бедняцких дворах преобладали маленькие линейные хлева. Сложные постройки в форме четырех- или многоугольника, естественно, ставились только в хозяйствах, где было значительное количество скота» (стр. 117). Все же только социально-экономическими факторами объяснить район распространения многоугольных дворов трудно. Очень интересно, что такие дворы распространены лишь на территории расселения в прошлом западных, но не восточных балтийских племен. Северная граница распространения многоугольных построек «почти полностью совпадает с южной границей древнего расселения ливов, на территории которых скотные дворы такого плана не отмечены» (стр. 124). Л. А. Думпе с полным основанием ставит вопрос о вероятной роли этнических традиций (возможно, очень древних) в формировании этих историко-территориальных особенностей животноводческих построек.

Для Литвы во многом аналогичный материал представлен в статье Р. В. Меркене «Развитие планировки помещений для скота в период капитализма (1861—1940 гг.)». В этой статье большой научный интерес представляет карта распространения различных типов хлевов на территории современной Литовской ССР в 30—40-х годах XIX в.

(стр. 141), а также тщательно выполненные рисунки и планы различных типов жилищно-водоканальных построек литовцев (стр. 133, 136, 138, 143, 144). Как и Л. А. Думпе, Р. В. Меркене приходят к выводу о том, что изменения в поселениях для скота в конце XIX—XX в. «с одной стороны, отражали развитие локальных этнографических особенностей, с другой — процесс приспособления хлеба к новым потребностям капиталистического способа производства» (стр. 146). Заключительные статьи книги посвящены изучению и картографированию типов и форм крестьянских поселений преимущественно на материалах XIX—начала XX в. Г. Х. Троска и Н. В. Шлыгина в статье «О формах эстонских деревень» рассматривают общие вопросы типологии, особенно выделяя так называемые рассеянные деревни; убедительно показано на основании архивных, в том числе картографических данных, что деревни этого рода существовали у эстонцев уже в средние века. Авторы пришли к выводу, что те рассеянные поселения, которые были связаны единым пахотным массивом, представляли собой действительно особую форму деревни, а не группу однодворков. Вторая статья этих авторов «О бобыльских поселениях в Эстонии» рассматривает их развитие в конце XIX в. в связи с ростом социальной дифференциации сельского населения и ростом прослойки безземельного крестьянства. В статье помещена оригинальная карта распространения бобыльских деревень в Эстонии в конце XIX в. (стр. 179). Большую научную ценность представляет работа Г. Х. Троска «О картографировании поселений северной Эстонии». Данные топографической съемки начала XIX в. позволили автору составить несколько карт, дающих наглядное представление о плотности распространения дворов и деревень (стр. 164, 166), о распределении дворов по группам деревень различных размеров (стр. 168), о распространении одиночных дворов по волостям (в %) (стр. 169), о географическом распространении разных форм деревень — кучевых, круговых, рядовых, цепочечных, рассеянных и уличных (стр. 171). Г. Х. Троска указывает на связь форм деревень Эстонии не только с уровнем социально-экономического развития, но и с природной средой — почвами, рельефом местности, водным режимом и т. п. (стр. 172).

Статья Л. Н. Терентьевой «О формах крестьянского расселения и землепользования Западной и Южной Латвии в XIX—начале XX в.» (стр. 183—234) — самая большая в рецензируемой книге — представляет собою непосредственное продолжение многолетних исследовательских работ автора по сельским поселениям Латвии в целом. «Учитывая специфику исторического и социально-экономического развития Латвии — ранний распад сельской (соседской) общины как целостного социального института с его правовыми нормами, самоуправлением, хозяйственной и идеологической общностью ее членов», автор видит свою задачу в определении степени сохранности общинных черт в формах крестьянского землепользования и расселения (стр. 184). На базе богатых архивных, литературных и собственных полевых материалов автору удалось показать многообразный процесс развития форм крестьянского землепользования и расселения и степень его зависимости от таких факторов, как тип хозяйства, формы семьи, формы наследования, этнический и социальный состав населения и т. д.

Проанализированные автором материалы убедительно доказывают несостоятельность взглядов об исконности расселения крестьян Курземе и Земгале хуторами и об отсутствии у них коллективных форм землепользования. Совершенно правильно критика Л. Н. Терентьевой буржуазных концепций об определяющем значении этнического фактора в формировании типов поселений. Статья Л. Н. Терентьевой оснащена многочисленными картами и картограммами, статистическими таблицами, планами различных поселений с прилагающими к ним земельными угодами. В конце статьи помещена составленная автором итоговая сводная схема распространения деревень и разных форм землепользования в волостях Курляндской губернии на 1870 г. (стр. 230). Весьма важны выводы о распаде многодворных поселений и о переходе к дисперсному хуторскому типу расселения. «Проанализированный в статье материал характеризует еще одно типичное для капитализма явление: он отражает в типах поселений и формах землепользования резкую социальную дифференциацию крестьян» (стр. 233). Работа Л. Н. Терентьевой удачно завершает рецензируемую книгу, которая заслуживает высокой оценки и будет полезна для обмена опытом с другими коллективами, работающими над составлением региональных историко-этнографических атласов.

Н. Н. Чебоксаров

Е. Е. Неразик. Сельское жилище в Хорезме (I—XIV вв.). Из истории жилища и семьи. Археолого-этнографические очерки. М., 1976, 255 стр., илл.

Монография Е. Е. Неразик — результат многолетнего планомерного исследования жилищ и поселений Хорезма — одного из древнейших очагов среднеазиатской цивилизации и интереснейших археолого-этнографических регионов, культура которого до сих пор отличается большим своеобразием. Хорезм едва ли не самая изученная в археологическом отношении область Средней Азии. Сейчас, после выхода в свет фундаментальной работы Е. Е. Неразик, сказанное в полной мере относится и к хорезмским жилищам и поселениям.

Рецензируемая работа отличается несколькими особенностями. Это прежде всего очень широкий хронологически — свыше десяти столетий — диапазон исследования, что позволило автору проследить особенности жилища в процессе его длительной эволюции. Комплексность исследования, привлечение наряду с археологическим большим этнографического и собственно исторического материалов обеспечили возможность всестороннего и глубокого анализа собранных фактов. Этому способствовало также использование в работе многочисленных сравнительных данных по истории жилища сопредельных стран Востока. Эволюция хорезмского жилища прослеживается, таким образом, не только на локальном, но и на значительно более широком историческом фоне.

В основу монографии положены обширные археологические данные, полученные руководимым Е. Е. Неразик отрядом за шесть лет работы в песках Хорезма. За это время обследованы десятки поселений и сотни жилищ; раскопано 30 жилищ, наиболее типичных для каждого из охваченных исследованием исторических периодов. Планы поселений составлены на основе не только инструментальных съемок, но и дешифровки аэрофотосъемок. Этот во многих отношениях уникальный материал мог быть получен только в условиях хорезмских пустынь. Представляя большую научную ценность и сам по себе, он дает основу для исследований различных аспектов истории древнего и средневекового Хорезма и для этнографических исследований среднеазиатского жилища.

Автор поставил перед собой две взаимосвязанные задачи: воссоздание истории сельского жилища Хорезма I—XIV вв. и реконструкцию форм обитавшей в нем семьи, восстанавливаемой на основе археологического изучения жилища и привлечения различных исторических и этнографических параллелей. Проблема формирования сельского жилища в историографии Средней Азии впервые рассматривается так полно. В Хорезме до работ Е. Е. Неразик были археологически выявлены лишь отдельные сельские постройки, исследованные в трудах С. П. Толстова, однако в целом его выводы строились главным образом на материалах поселений. В большинстве других областей Средней Азии изучение истории сельского жилища затруднено малочисленностью сохранившихся сельских построек. Хорезм в этом отношении представляет большие возможности. Точно так же впервые в историографии Средней Азии так полно рассматривается и проблема исторической реконструкции семьи. В последнее время интерес к этой теме заметно возрос, однако ею занимаются главным образом исследователи археологических памятников доклассового и раннеклассового времени. Предметом рассмотрения Е. Е. Неразик является семья феодального общества. Его верхняя хронологическая граница приближает исследуемые Е. Е. Неразик явления к тем, которые относятся к периоду, освещаемому этнографическими источниками, и поэтому данная работа очень важна и для развития этнографических исследований семьи.

Выводы, сделанные Е. Е. Неразик, убедительны, а положенные в основу работы методы удачно сочетают археологический и этнографический подход к теме. Автор прослеживает историю хорезмских жилищ и поселений до тех форм, которые сходны с характером хорезмских сельских поселений и своеобразной жилой архитектурой Хорезма XIX — начала XX в. Таким образом, ей удалось добиться столь желательного объединения археологического и этнографического материалов, позволяющего установить и проследить многовековую преемственность в культуре, в данном случае — постепенное формирование того своеобразного типа жилища, каким является южноузбекское хорезмское хаули. Не менее интересны для этнографов результаты исследования поселений. В монографии раскрываются древние истоки того рассредоточенного способа расселения, которое осталось свойственным Хорезму и в XIX в. Рассредоточенное расселение наблюдалось и в других областях Средней Азии, но типичным на всем протяжении истории, вплоть до коллективизации, оно было именно для Хорезма. Отмечу, кстати, что автор напрасно (хотя и с оговорками) использует применительно к исследованным им усадьбам термин «хутор». Я согласна с Б. Х. Кармышевой, что принятое в литературе обозначение такого поселения как хуторского неправильно, так как здесь отдельные дома, окруженные посевами, не были самостоятельными, как хутора в России или Прибалтике, а были объединены в общины¹. Е. Е. Неразик, анализируя это явление и привлекая широкий сравнительно-этнографический материал из различных регионов Средней Азии, справедливо считает, что его истоки лежат в пережитках сельской общины. Следует лишь пожалеть, что последняя для Хорезма остается этнографически неизученной. А между тем для того чтобы эта связь предстала перед историками более конкретно, необходимо изучить сельскую общину Хорезма конца XIX — начала XX в. так же детально, как это сделано Р. Я. Рассудовой для Ташкентской области и Ферганской и Зарафшанской долин, где община существовала тоже в условиях древнего поливного земледелия. Одна из задач, вставших перед этнографами в свете исследования Е. Е. Неразик — выявление сочетания разбросанного поселения, характерного для Хорезма, с традициями сельской общины, а также с хозяйственной жизнью отдельной семьи.

Рассматривая основные этапы формирования хорезмского сельского жилища, автор затрагивает ряд важных и тесно связанных с этой темой вопросов: влияние типа хозяйства на облик жилища, связь между особенностями жилых и хозяйственных построек, воздействие на облик жилища факторов политической истории и, наконец, роль

¹ «Этнографические очерки узбекского сельского населения». М., 1969, с. 134.

этнических традиций в сложении типа жилища и его элементов. Последний из вопросов представляет для этнографии особый теоретический интерес. Это большая и сложная проблема, к сожалению, еще не получившая в литературе достаточной разработки. Мне кажется правильной точка зрения автора, что для раскрытия этнических корней форм жилища наиболее выразительными могут оказаться всевозможные детали, в частности внутренний вид жилища.

Проследив на таком детальном отрезке истории изменения в планировке и характере жилища, Е. Е. Неразик использует эти данные для реконструкции истории семьи. Этот аспект ее исследования представляется очень ценным и интересным для истории семьи вообще, истории семьи у народов Средней Азии в частности. Надо сказать, что выявление взаимосвязей между типом жилища и формой семьи неизмеримо трудно, но оно необходимо, поскольку о семье древней Средней Азии в письменных источниках прошлых веков прямых сведений почти нет. Основные возможности для реконструкции дает археологический материал, однако свидетельства археологии в этом плане всегда косвенны, часто неоднозначны и при неверных методологических посылках легко могут повести к ошибкам. Так, многие археологи, говоря о древней или раннесредневековой семье, не учитывают, что малая семья в своем законченном выражении характерна для капитализма. Вряд ли можно применять одинаковые термины («малая семья») для явлений, существовавших в капиталистическом и первобытном обществе. Имея структурное сходство, семья, конечно, существенно различалась в обе эпохи по своей сущности, и это должно отражаться и в терминологии.

Нельзя также не учитывать, что семья, малая по своей структуре, т. е. образованная брачной парой и ее не состоящими в браке детьми, может быть очень многочисленной, а семья не «малая», т. е. образованная более чем одной брачной парой, может оказаться меньше иной «малой» семьи. Поэтому мне кажется совершенно правильным, что Е. Е. Неразик употребляет термин «малая семья» с большой осторожностью и сомневается в том, что такая семья могла стать в древнем Хорезме «основной единицей общества» (стр. 211). Анализируя этот вопрос, Е. Е. Неразик совершенно верно связывает форму семьи с общими экономическими условиями жизни, в частности со степенью развития товарно-денежных отношений. Поскольку в древнем Хорезме оно оставалось ограниченным, заслуживает внимания предположение Е. Е. Неразика о том, что небольшие по размерам расположенные рядом дома могли быть жилищами единой агнатической группы, в которой, естественно, выделялись отдельные брачные пары с детьми.

Вообще заслугой автора является убедительное обоснование большой роли агнатических групп в древнем и средневековом Хорезме. Пользуясь широко принятым в советской литературе термином «патронимия», Е. Е. Неразик показывает, что патронимические связи, по-видимому, сохраняли большое значение в хорезмской сельской общине и связывает причины этого с особенностями поливного земледелия, при невысокой в то время сельскохозяйственной технике. Хорошо известно, что патронимические традиции были тесно связаны с традициями большесемейного уклада, а этот последний сохранялся в Средней Азии необычайно долго. Большие семьи встречались здесь даже тогда, когда большесемейный уклад явно изживался, — отдельные примеры наблюдались даже после коллективизации и окончательно исчезли только в послевоенные десятилетия². В то же время уже в конце XIX в. большие семьи бытовали преимущественно в среде богатых крестьян и главным образом в неполной форме — одним хозяйством жили уже не все женатые сыновья одного отца. Распространился обычай при разрастании семьи выделять одного, а затем постепенно и других сыновей. В бедных семьях сыновья часто уходили на заработки в другие места, там женились и оседали. Выделенные семьи какое-то время оставались типичными малыми семьями, но со временем, после женитьбы выросших сыновей, они закономерно вновь превращались в неразделенные. Жилище такой семьи отражало происходившие в ней изменения: для каждого женатого сына строилось отдельное жилое помещение с прихожей; новое помещение пристраивалось и в том случае, если глава семьи брал вторую жену. Таким образом, замена большесемейной организации малосемейной происходила неравномерно, по-разному в различных социальных слоях и в разных хозяйственных условиях; соответственно неодинаковой была и эволюция жилища семьи. Так же, вероятно, обстояло дело и в далеком прошлом. И хотя Е. Е. Неразик исследовала очень много жилищ, она не могла, конечно, охватить их во всем разнообразии реальной жизни. Однако ей удалось показать эту нестабильность форм семьи в Хорезме, не прямой путь ее эволюции, возвращение казалось бы уже изжитых форм ее, приспособляемых к новым историческим и экономическим условиям. В связи с этим хотелось бы сделать одно попутное замечание. Е. Е. Неразик права, когда она объясняет глубинными социальными изменениями появление в афригидском Хорезме жилищ, которые могли быть жилищами отдельных семей. Но она допускает и другое объяснение — влияние «чужеродных этнических групп, пришедших из низовий Амударьи» (стр. 223) — очевидно, кочевников.

Хотя диффузия культурных особенностей, несомненно, происходила, нельзя объяснить чужим влиянием, исходившим из иной по этническим корням культуры, такие стороны материальной культуры как структура жилища, которые непосредственно

² См.: М. А. Бикжанова. Изменение форм семьи. — В кн.: О. А. Сухарева и М. А. Бикжанова. Прошлое и настоящее селения Айкыран. Ташкент, 1955.

обусловлены формой семьи и в своей основе общественным строем. Это объяснение к тому же не согласуется со всей концепцией раздела.

В целом предложенная Е. Е. Неразик реконструкция форм семьи кажется убедительной, и немалую роль в этом сыграла комплексность исследования, в частности плодотворное использование источников разного рода — и надписей на хорезмских оссуариях, и документов из архива Топрак-калы — в сопоставлении с синхронными им сельскими поселениями и жилищем, изученными археологически, и привлечение иных письменных памятников соответствующей эпохи, например документов с горы Мут. К сожалению, важные проблемы, разрабатываемые Е. Е. Неразик и представляющие прямой интерес для этнографов, последними не исследованы, вследствие чего она была лишена возможности привлечь широкие этнографические данные о размещении семьи в среднеазиатском жилище.

Наряду со структурой, Е. Е. Неразик исследует в своей монографии и другой аспект характеристики семьи — ее численность. Сделать это на археологическом материале, как справедливо отмечает сам автор, еще труднее, чем выявить структуру семьи. В самом деле, сколько человек помещалось в данном жилище? Семьи могли жить и очень скученно, и более или менее просторно. Сколь высока могла быть скученность, показывает, например, описание А. Давыдовым жилища ягнбозев верховьев Зарафшана. Зимой, когда в горах очень холодно, семья раньше ютилась в очаговом отделении основной жилой комнаты на площади около 9 м². К сожалению, А. Давыдов, приводя описание жилищ и их планы, не сообщает, каковы были состав, структура и численность живших в них семей, в частности как размещались брачные пары и какими нормами регламентировались отношения между ними. Конечно, ягнбозское жилище не может считаться для Средней Азии типичным: условия жизни в горах были особенно суровы. Но и на равнине, даже в крупных городах до конца XIX в. бытовой уклад был достаточно своеобразен. Еще в конце XIX в., по рассказам стариков, в Ташкенте семья нередко проводила на айване не только лето, но и зиму, загородившись от непогоды занавеской и обогреваясь сандалом. Таким образом, не исключено, что в качестве жилой для всех времен года должна учитываться и площадь айвана. Вопрос о численности осложняется еще и тем, что в районах орошаемого земледелия была широко распространена традиция сезонных переездов из зимнего жилища в летнее, обычно находившееся в другом месте — около земельного участка. Этот обычай существовал как в городах, так и в селениях. Зафиксирован он, например, в Самарканде, Ташкенте, Сайраме⁴. Но как в этом отношении обстоит дело в Хорезме — неизвестно, там этот вопрос не изучался. Все это, разумеется, затрудняет подсчеты численности семьи. В рецензируемой монографии в основу исчислений положено количество жилых помещений в доме в соотношении с числом брачных пар внутри семьи и в сопоставлении с этнографическими данными А. Н. Жилиной по южному Хорезму. Это очень перспективный путь, но из-за недостаточности сравнительно-этнографических данных он, как это отмечает и автор, пока делает возможными лишь сугубо ориентировочные подсчеты.

В заключение хотелось бы обратить особое внимание на очень удачные последние разделы книги, посвященные общине. Этот аспект — один из самых важных для исторического прошлого среднеазиатских народов — получил разработку только в самое последнее время, но зато значительно продвинут введением в научный оборот новых источников, в первую очередь письменных. Е. Е. Неразик удачно использовала эти материалы и данные сравнительно-этнографического плана. В своей совокупности подобранные и сопоставленные Е. Е. Неразик факты немало дают для характеристики хорезмской сельской общины и понимания ее связей с семьей. И здесь напрашиваются некоторые этнографические параллели, свидетельствующие как об общности этого института у разных народов Передней и Средней Азии, так и о его необычайной живучести, которая и дает возможность провести такие параллели. Например, отмечаемый автором древнеассирийский обычай делить землю между общинниками на «жребий» встречает далекий аналог в изученных Р. Я. Рассудовой узбекских «чаках» (ча — и доля, и жребий, так как доли земли распределялись по жеребьевке).

Подытожив сказанное, отмечу еще раз, что монография Е. Е. Неразик может по праву рассматриваться как ценный вклад в советскую науку. Автор поставил перед собой ряд труднейших задач и предложил их решение. Все ее основные положения представляются хорошо аргументированными и убедительными. Это исследование, выполненное археологом, показывает, как важен синтез археологических, этнографических и собственно исторических данных и как необходимо этнографам учитывать в своей работе и в самой постановке задач исследований те проблемы, которые встают перед археологами.

О. А. Сухарева

³ А. Давыдов. Материальная культура верховьев Зарафшана. Душанбе, 1973, с. 70.

⁴ П. П. Иванов. К вопросу об исторической топографии старого Сайрама. Сб.: «В. В. Бартольд». Ташкент, 1927.

Изучение древнейших этапов истории народов Средней Азии, проводящееся в последние десятилетия с широким размахом, на обширной территории и с использованием новых методов, привело к крупным открытиям и к большому накоплению фактов. Это позволило наметить этапы исторического развития форм хозяйства, материальной и духовной культуры древнего населения отдельных историко-культурных областей данного региона, проследить сложные этнокультурные процессы, происходившие как внутри отдельных областей, так и на территории всей Средней Азии и сопредельных стран.

Исследования в Южной Туркмении выявили древнейший очаг земледельческой цивилизации; там же были обнаружены древние центры протгородских цивилизаций. Недавно такие центры были найдены в Южном Узбекистане и Северном Афганистане — на территории древней Бактрии. Северные районы Средней Азии менее исследованы, и это связано прежде всего с тем, что перед нами огромные, ныне в значительной мере пустынные площади, обследование которых требует значительных организационных усилий. Тем не менее все эти годы они были объектом внимания ряда крупных экспедиций, среди которых в первую очередь следует назвать Хорезмскую археолого-этнографическую экспедицию. Созданная ее основателем С. П. Толстовым периодизация древних этапов истории населения Южного Приаралья послужила основой для дальнейших работ в этой области.

Книга М. А. Итиной посвящена исследованию одного из важнейших этапов в истории Южного Приаралья — периода становления и развития производящего хозяйства, расцвета металлургии меди и бронзы, разложения первобытнообщинного строя. Этот более чем тысячелетний период, конец которого знаменует переходом к классовым отношениям, был чрезвычайно важен и в плане сложных этнических процессов, происходивших на территории Южного Приаралья. Следы этих процессов улавливаются на археологическом материале, который является для автора основным источником и содержит данные и по проблеме миграций степных племен в южном направлении и взаимоотношений их с населением земледельческих оазисов, и по проблеме культурных влияний земледельческих цивилизаций на их северную степную «варварскую» периферию.

Все эти и некоторые другие аспекты истории древнего населения Южного Приаралья нашли свое отражение в монографии М. А. Итиной. Это историческое исследование вносит новое в наши знания об этнокультурной истории северных областей Средней Азии, определяет их место среди ряда крупных этнокультурных регионов степей Евразии, выявляет их роль в процессе этногенеза народов Средней Азии.

Книга М. А. Итиной состоит из введения, семи глав и заключения.

Введение содержит задачи исследования и определяет методы его проведения. К числу заслуг автора следует отнести используемый им и пропагандируемый на протяжении всей книги комплексный метод исследования, при котором анализ археологических источников ведется с помощью данных этнографии и естественных дисциплин — географии и геоморфологии.

Одна из наиболее сложных проблем исторической интерпретации первобытных археологических материалов — привлечение для их осмысления этнографических данных. Этой проблеме уделено значительное место во введении, где анализируются методы комплексных археолого-этнографических реконструкций в советской и зарубежной науке и убедительно показывается преимущество отечественной методики. Особое внимание автор уделяет проблеме реконструкции форм общественной организации на материалах поселений и жилищ. В СССР эта моргановская традиция получила серьезное развитие уже в 1930—1940-х годах, за рубежом — только в послевоенное время, что, однако, не мешает представителям американской «археологии поселений» считать себя в этой области первооткрывателями. Созданное советскими этнографами учение о хозяйственно-культурных типах (ХКТ) и историко-этнографических областях (ИЭО) дает возможность сравнить сходные ХКТ независимо от их пространственно-временной протяженности, тогда как на Западе все еще преобладают различные варианты предложенного Ф. Эггеном метода «контролируемого сравнения», допускающего сопоставление лишь там, где может быть прослежена непрерывность культурного развития.

Конкретное применение метода аналогий при исследовании материалов поселений, жилищ и могильников приводится М. А. Итиной в соответствующих главах книги.

Глава первая посвящена истории исследований первобытных памятников в Южном Приаралье, изучение которых в большинстве случаев велось под руководством или при участии автора.

В главе второй дается палеогеографический фон, который, поскольку речь идет о первобытности, в значительной мере предопределил систему расселения, тип жилищ, основные направления хозяйства населения Южного Приаралья на протяжении всего исследуемого периода. В этой главе наиболее полно проявляет себя комплексный метод исследования, основанный на совместной работе археологов и географов-геоморфологов с применением аэровизуальных исследований, дешифрирования данных аэрофотосъемки, проведения специальной крупномасштабной аэрофотосъемки. Многолетнее

участие автора в комплексных исследованиях такого рода, проводящихся Хорезмской экспедицией, позволило ему дать картину зависимости расселения древнего человека от функционирования той или иной системы дельтовых протоков Амударьи. Анализ расположения стоянок на берегах древних русел и дельтовых протоков дал автору возможность, с одной стороны, наметить картину функционирования древних русел Амударьи в эпоху неолита и бронзы, с другой — выявить некоторые более частные процессы — систему отмирания протоков Южной Акчадарьинской дельты в пространстве и во времени.

Выявленный Хорезмской экспедицией с помощью применения аэрометодов уникальный по сохранности «заповедник» поселений второй половины II тысячелетия до н. э. в Южной Акчадарьинской дельте дал бесценный материал по системе расселения и типу жилища и открыл для науки новый, но уже вторичный древний очаг развития ирригационного земледелия.

Фактической основой исследования являются главы третья и четвертая, где дается историко-этнографический анализ материалов, полученных в результате раскопок поселений эпохи развитой и поздней бронзы. В главе третьей в научный оборот вводится новый материал, позволяющий достаточно полно охарактеризовать культуру населения Южного Приаралья эпохи развитой бронзы — тазабэгьябскую, которая, имея много общих черт с так называемыми культурами степной бронзы евразийских степей, отличается все же известной самобытностью. Причиной этого, по мнению автора, являются: местная культурная традиция, своими корнями уходящая на юг, постоянный процесс влияния земледельческого Юга на степной Север, проявляющийся и в прямой инфильтрации отдельных племенных групп, и наконец, развитие ирригационного земледелия на плодородных аллювиальных почвах дельтовой равнины.

К числу удач автора можно отнести выявленный в результате тщательного анализа топографии поселений и характера их культурных остатков (наличие или отсутствие подъемного материала) андроновский этнокультурный пласт. Стратиграфически он перекрывает тазабэгьябские поселения и свидетельствует о тех сложных этнических перемещениях, которые происходили на территории Средней Азии, видимо, вдоль речных русел, особенно интенсивно в конце II тысячелетия до н. э.

Попытку автора дать относительную хронологию раскопанных поселений можно только приветствовать, что же касается абсолютных дат, то это уязвимое место данной классификации. Вызывает сожаление отсутствие датировок по C^{14} , тем более, что металлических вещей, которые могли бы быть опорными при датировках, нет или почти нет. Обращает на себя внимание и то, что при большом количестве поселений открыт всего один могильник. Это тем более странно, что сочетание поселения (здесь, скорее всего, несколько поселений) и могильника было бы естественным для исследуемого времени. По-видимому, кроме могильника Кокча-3, существовали и другие. А где хоронили своих умерших андроновцы? Надо надеяться, что дальнейшие работы автора в исследуемом им тазабэгьябском «заповеднике» приведут к открытию новых погребальных памятников, столь необходимых для решения вопросов этнической истории древнего населения Южного Приаралья.

Анализ поселения эпохи поздней бронзы Якке-Парсан 2 (амирабадская культура) дан менее подробно, так как материалы эти были частично опубликованы, но памятник заслуживает самого пристального внимания, ибо это полностью раскопанный поселок. Он состоит из 17 домов и дает большой материал для выявления качественно новых признаков в хозяйстве, культуре, формах общественной организации населения Южного Приаралья в конце II — начале I тысячелетия до н. э.

По-видимому, из-за недостатка места эта глава структурно несколько отличается от предыдущей: в ней нет описания каждого жилища, нет подсчетов общего числа фрагментов керамики, найденных в каждом доме. А между тем поселение Якке-Парсан 2 — памятник, который заслуживает подробной публикации, не говоря уже о желательности унификации при описании исследуемых материалов.

Главы 5—7 специально посвящены хозяйству, системе расселения и жилищу, формам общественной и семейной организации населения в древней дельтовой области Амударьи в исследуемое время.

Заслуживает внимания раздел, посвященный анализу земледельческого хозяйства, основанного на ирригации, следы которой дошли до наших дней в виде системы каналов, арыков, полей, на которые вода подавалась из небольших дельтовых протоков. Достаточно совершенные разветвленные ирригационные системы, по-видимому, служат подтверждением земледельческо-скотоводческого, а не наоборот, направления хозяйства тазабэгьябских племен. Интересно, что анализ расположения стоянок в эпоху поздней бронзы и характер остеологического материала, полученного при раскопках, позволяют автору сделать вывод о том, что в самом конце II тысячелетия до н. э. в Южном Приаралье произошло выделение хозяйственного типа полукочевого скотоводства из хозяйственно-культурного типа земледельческо-скотоводов предшествующего времени. При этом ХКТ полуседлых скотоводов стал традиционным на территории Сырдарьинской дельты, сохранившись там на тысячелетия, а оседлоземледельческий хозяйственный тип с высокоразвитым ирригационным земледелием стал возможен в Южной Акчадарьинской и Присарыкамышской дельтах Амударьи (стр. 191, 192). Эти выводы автора, в свете проводящегося сейчас грандиозного по масштабу хозяйственного освоения древних аллювиальных равнин Амударьи и Сырдарьи, могут быть при-

няты во внимание при решении будущего соотношения двух отраслей сельского хозяйства в этом обширном регионе.

Любопытны наблюдения автора, касающиеся эволюции типов расселения и жилищ, форм общественной и семейной организации древнего населения Южного Приаралья. «Хуторская» система расселения поселками в 2—3 дома (ведущая в эпоху развитой бронзы) в эпоху поздней бронзы сменяется крупными поселками, насчитывающими около 20 домов. Большая семья, в составе которой было несколько нуклеарных, населяла один большой дом. В эпоху поздней бронзы число ее членов разрастается, дома делаются двоянными или строеными, появляются специальные хозяйственные пристройки, свидетельствующие о росте производительных сил общества, об увеличении избыточного продукта, находящегося уже во владении отдельных большесемейных общин. Однако, как справедливо отмечает автор, земля, особенно в связи с ирригационным земледелием, требующим приложения сил большого коллектива людей на значительных площадях, была общинно-родовой собственностью. В то же время увеличение поголовья скота, совершенствование земледельческого хозяйства неизбежно вели к созданию прибавочного продукта, который скапливался в отдельных семьях, выделяя их в составе общины и способствуя формированию института вождей племен и союзов племен (стр. 208).

Монографии М. А. Итиной присуще широкое привлечение этнографических данных для осмысления археологических материалов, органический синтез фактов археологии и этнографии при реконструкции исторического прошлого населения Южного Приаралья. Этот подход характерен для всех основных глав книги и используется для реконструкции самых различных особенностей хозяйства, общественного строя и культуры. Так, восстанавливая главные черты хозяйственной жизни населения избыточных рыбной ловли Амурары, автор делает попытку объяснить отсутствие костей рыбы и орудий рыболовства в домах тотемическим почитанием рыб, которое доказывается широко бытуемыми и уходящими далеко в прошлое пережитками этого культа. Очень интересно приложение новейших данных общей этнографии к анализу социальной организации Южного Приаралья эпохи развитой бронзы. Рассматривая археологические данные о поселениях и жилище этого времени, автор показывает излишнюю категоричность высказывавшихся раньше мнений о непременно патриархальном строе подобного рода обществ. С этим нельзя не согласиться: в советской науке аргументирована концепция позднего матриархата, базисные структуры которого, а следовательно, и их вещественные остатки едва ли отличимы от патриархальных.

Особенно насыщена в этнографическом отношении глава седьмая, в которой на основе погребальной обрядности реконструируются формы социальной и семейной организации населения низовий Амурары. Здесь комплексный археолого-этнографический анализ позволил пересмотреть «привычные» археологические представления и дать им принципиально новую трактовку. Это прежде всего интерпретация парных разнополюсных одновременных захоронений, долгое время однозначно рассматривавшихся как бесспорное свидетельство патриархальных порядков; подобный взгляд считался тем более бесспорным в отношении развитых скотоводческих обществ. Привлеченные М. А. Итиной этнографические параллели позволили поставить вопрос о том, можно ли было в условиях родового строя хоронить одновременно с мужем жену, если даже при патриархальном браке женщину обычно хоронят в земле ее рода? Очевидно, что нет, и известные, в общем относительно немногочисленные парные захоронения такого рода — это, видимо, захоронения с мужчинами не жен, а рабынь-наложниц. Выявленные наряду с ними парные одновременные захоронения — еще одно свидетельство разложения родового строя и упрочения нуклеарной семьи. При этом автор опять-таки справедливо предостерегает от скоропалительных выводов о той или иной — патриархальной или подматриархальной — форме распада первобытнообщинных порядков, в том числе и в скотоводческих обществах. Здесь также должны быть учтены этнографические данные, например по туарегам Сахары или беджа, показывающие, что даже у современных кочевых скотоводов в период разложения родового строя могут сохраняться яркие черты позднего матриархата.

Надо в то же время отметить, что этнографические параллели используются в работе со всей осторожностью и строгостью. Современные народы, как правильно отмечает автор, отнюдь не могут быть «безоговорочно признаны живой моделью человеческих коллективов, например, эпохи бронзы». Однако с необходимым учетом исторических изменений только они могут «предостеречь археологов от создания стройных кабинетных реконструкций» (стр. 224).

В Заключении автор дает общую картину заселения и освоения человеком Южного Приаралья, становления производящего хозяйства, его эволюции, приведшей к выделению полукочевых скотоводов из среды земледельцев-скотоводов.

История развития культуры, сложные этнические процессы, протекающие в этом регионе, даются на широком историческом фоне, с привлечением материалов Средней Азии в целом и сопредельных областей Евразии.

Книгу М. А. Итиной отличает тщательный анализ собранного ею большого фактического материала, хорошо иллюстрированного, надежно фундамирующего построения автора. Эта книга, благодаря использованию автором комплексного археолого-геоморфологического метода, вносит существенный вклад в научные представления о далеком прошлом Южного Приаралья, его естественной среде и воздействии на нее антропо-

генного фактора. В то же время она содержит большой материал, который может быть практически использован при современном освоении пустынных территорий Южного Приаралья и прогнозировании дальнейших изменений его природной среды.

Широко применяемый автором комплексный метод с использованием данных общей этнографии делает книгу подлинным палеоэтнографическим исследованием, открывающим для науки на материалах северных областей Средней Азии еще одну страницу истории первобытного общества.

Т. А. Жданко, Б. А. Федорович

Е. Б. Вирсаладзе. Грузинский охотничий миф и поэзия. М., 1976, 360 стр.

Рецензируемая книга является итогом научной деятельности недавно скончавшейся Елены Багратовны Вирсаладзе — заслуженного деятеля науки Грузинской ССР, замечательного знатока и исследователя грузинского фольклора. Елена Багратовна еще в начале тридцатых годов получила прекрасную фольклористическую подготовку сначала у профессора В. И. Котетишвили в Тбилиси, а затем у профессоров М. К. Азадовского и Н. П. Андреева в Ленинграде. Она совершила много научных экспедиций в различные районы Грузии и тщательно обследовала разные архивы (что, между прочим, привело к открытию первых датированных и ранее неизвестных грузинских сказок). На основе полевых исследований были сделаны серьезные теоретические выводы, которые содержатся в ее многочисленных трудах и в особенности, в двух монографиях «Народно-поэтическое творчество грузинских горцев. Мтиулеты, Гудамакари» (комплексное изучение всех жанров в рамках одного района) и «Грузинский охотничий эпос. Древнейшие циклы» (докторская диссертация). Фольклористы также высоко ценят написанные ею главы в трехтомнике «Грузинское народное творчество» (русский однотомный вариант издан под ее редакцией), статьи о фольклоризме грузинских писателей (Руставели, грузинские романтики, А. Казбеги, П. Какабадзе) и многие другие ее оригинальные работы. Она руководила подготовкой библиографического свода грузинского фольклора, многочисленными публикациями памятников грузинского фольклора (в том числе по-русски — «Грузинские народные предания и легенды»).

Рецензируемая книга — расширенный, дополненный вариант исследования, защищенного ею в качестве докторской диссертации. В этой книге дается описание и углубленный анализ целого пласта (ранее мало известного) грузинской мифологии, ритуала, народной эпики и лирики, соотносимого, по крайней мере типологически, с календарными и иными мифами Средиземноморья и Древнего Востока.

Научные результаты, полученные Е. Б. Вирсаладзе, имеют также принципиальный характер для понимания специфики охотничьей мифологии и охотничьего фольклора в целом, и это достигнуто ею не только благодаря широкому использованию сравнительно-исторических данных по другим народам, но и, главным образом, в силу глубины и точности типологического анализа. Она сумела раскрыть, понять и использовать (о чем она сама пишет в блестящем методологическом введении к книге) своеобразную полистадиальность грузинского фольклора в рамках этногенетически и исторически единой культуры, что дало ей возможность построить целую историческую поэтику фольклора. На сравнительном фоне Е. Б. Вирсаладзе дает сводку разнообразных охотничьих обычаев (главным образом табу) грузинских горцев, а также представлений о хозяевах охоты (сванская Дали, Очопинте у хевсур, месепы Западной Грузии, сванско-осетинский Афсати и др.), но главное ее внимание привлекает фольклорный образ «погибшего охотника» и его мифолого-ритуальные связи с хозяйской охотой, дарующей ему любовь и охотничью удачу и затем убивающей его за нарушение табу.

Е. Б. Вирсаладзе начинает с рассмотрения широко известных (особенно в Раче, где их исполняют в хороводе) песен о несчастном охотнике и его собаке Курше: охотник забрел на высокую скалу, с которой не может уже спуститься. Он висит над пропастью, зацепившись ремешком от обуви и когда его возлюбленная (реже жена) подстрекает его прыгнуть в ущелье, он падает и разбивается. Истинный смысл этой странной песни раскрывается при сопоставлении со сванскими песнями и преданиями об охотнике Беткиле, которого богиня охоты Дали завлекла на высокую скалу, разрушила путь назад, прядя своих золотых волос привязала его к скале, под обломами которой ему суждено теперь погибнуть. На основании анализа огромного фольклорно-этнографического материала, Е. Б. Вирсаладзе раскрывает анализируемую мифологию именно как историю мести охотнику со стороны хозяйки охоты, подарившей ему свою любовь (представление о сексуальном избрании охотника) и охотничью удачу, знаком которой часто является амулет. Она мстит за потерю амулета, разглашение тайны или иное нарушение табу. Гибель охотника является мистераль-

но-ритуальной. Убедительным тому доказательством является то, что ритуальная песня на этот сюжет, исполняемая в хороводе, связана с весенним праздником в Сванетии. К числу даров хозяйки охоты исследовательница относит и чудесную охотничью собаку Куришу, наделенную, по ее мнению, некоторыми астрально-аграрными атрибутами и отчасти являющуюся, наряду с оленем и туром, инкарнацией хозяйки охоты и шире — богини-матери. Другими зооморфными инкарнациями «божества природы» Е. Б. Вирсаладзе считает змею, рыбу, птицу, чему соответствуют предания о чудесном снаряжении, подаренном охотнику (а затем утерянном, что ведет к гибели) мифическим существом вешапи; или о чудесном понимании языка природы (также затем утерянном), данным герою змеей (рыбой). В некоторых сванских преданиях фигурирует Амирани, в качестве сына хозяйки охоты Дали, убитой ревнивой женой охотника (она срезает ее волосы, ср. Далила и Самсон). Охотник спасает недоношенного ребенка — будущего богатыря Амирани (знаменитого грузинского эквивалента Прометея!). Сравнительный материал по другим районам Грузии убедительно подтверждает тезис Е. Б. Вирсаладзе о том, что мотив этот общегрузинский и искони присущий сказанию об Амирани (дающему как бы «патриархальный», менее архаический вариант сказания о погибшем охотнике). И в эпизоде, в котором Амирани приковывают к скале (в этом эпизоде фигурирует и Курша!) исследовательница также усматривает непосредственную связь с традицией охотничьего мифа. Открытие Е. Б. Вирсаладзе нетривиальной мифологической субструктуры эпоса об Амирани следует считать ее блестящим научным результатом.

Е. Б. Вирсаладзе указывает на черты культа мифического охотника, убитого Дали, на почитание скалы, с которой он сорвался, на ритуальные плачи и хороводы, с ним связанные в некоторых местах, прежде всего в Сванетии. Весь этот комплекс Е. Б. Вирсаладзе соотносит сначала с кавказским субстратом, а затем и со средиземноморской «божественной парой» типа Иштари и Таммуза, Кибелы и Аттиса, Артемиды и Актеона и т. п. (заслуживают, в частности, внимания некоторые сближения с сюжетом Артемиды — Актеона).

Из приведенных исследовательницей древневосточных параллелей особый интерес представляют ее соображения об Энкиду (побратиме шумеро-аккадского героя Гильгамеша), как «сыне леса», порвавшего связь с природой по вине женщины. Блудницу, совратившую Энкиду, она сравнивает с коварной невесткой Тamar, спровоцировавшей прыжок охотника в ущелье. По этому поводу напомним, что блудницу в эпосе о Гильгамеше вероятней всего следует рассматривать как заместительницу самой Иштари, что в целом только поддерживает общую концепцию Е. Б. Вирсаладзе.

Большой интерес представляет анализ взаимодействия языческих и христианских представлений в грузинской «охотничьей» мифологии охоты (превращение Дали в злого духа Али и перенесение некоторых атрибутов хозяина зверей и «лунарных» черт на Св. Георгия; ср. интересные результаты по выявлению языческих реликтов в культе христианских святых в работах В. В. Иванова, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского и др.).

Последняя, не менее блестящая, часть книги посвящена выявлению мифологических корней (в смысле охотничьего мифа) в сюжетике и поэтике грузинского фольклора. Соответствующие архетипы вскрываются и в поэтических образах самой охотничьей поэзии, в сюжетах баллады о сражении «безусого юноши» с барсом (реликт сюжета наказания охотника за убийство чудесного тура) и баллады «Автандил поохотился», в тонике аграрной трудовой поэзии («песни покоса» — мтиблური), в грузинских заговорах и христианских молитвах, в свадебном ритуале (где сама «свадьба» интерпретируется в терминах «охоты»), в грузинских песнях, связанных с родами, наконец, в песнях героических (сравнение со зверями и перенесение на героев «зверинных» эпитетов). Этот анализ дает ценнейший материал для исторической поэтики, так же, как и следующее затем рассмотрение форм бытования «охотничьего эпоса» (хоровое исполнение, исполнение запевалой, песни или стихи без музыкального сопровождения). При этом Е. Б. Вирсаладзе высказывает некоторые гипотезы о путях выделения народной лирики и лироэпик из первобытного синкретизма.

Несомненно, отдельные суждения исследователя могут вызвать споры или возражения у других специалистов, будущие полевые и теоретические исследования, может быть, еще больше уточнят нарисованную Е. Б. Вирсаладзе картину грузинской «охотничьей» мифологии и «охотничьей» поэзии, но то, что сделано, представляется нам серьезнейшим научным открытием, а само открытие — результат жизненного трудового подвига Елены Багратовны Вирсаладзе.

Е. М. Мелетинский

Два последних десятилетия были отмечены крупными успехами в изучении замечательных памятников культуры народов Сибири — древних и средневековых наскальных рисунков. Наибольшая заслуга в их исследовании принадлежит А. П. Окладникову, который опубликовал серию монографий о наскальных рисунках Северной Азии — результат его поистине неустойчивых многолетних изысканий, начатых еще в предвоенные годы¹. Им обследованы многочисленные петроглифы на огромной территории — от бассейна Енисея до берегов Тихого океана и от степей Центральной Азии до Заполярья. Никто из предшественников А. П. Окладникова не придал такого размаха изучению петроглифов Северной Азии, не вложил столь много энергии в это дело.

Рецензируемая книга продолжает эти работы. Она содержит подробное описание и историческую интерпретацию древних и средневековых наскальных рисунков, сохранившихся на берегах Байкала. Особый интерес к этим памятникам объясняется не только их большой историко-культурной ценностью, но и тем, что район, прилегающий к Байкалу, является сложнейшим, крайне важным для этнической истории Сибири и вместе с тем недостаточно изученным этногенетическим узлом, с которым уже в древности были связаны исторические судьбы многих народов Северной и Центральной Азии — тунгусских, тюркских, монгольских, а возможно и самодийских.

Впервые петроглифы Байкала были открыты сравнительно давно — более ста лет назад, но, как вполне справедливо отмечает А. П. Окладников в предисловии к своей книге, они, тем не менее, до последнего времени оставались загадочными. Неясен был их возраст, никто всерьез не занимался их стилистическим и семантическим анализом. Основное внимание в рецензируемой книге и посвящено разработке этих важных и вместе с тем чрезвычайно интересных проблем.

Книга состоит из предисловия; пяти разделов, в которых рассматривается история изучения и дается детальное описание наскальных рисунков в байкальских бухтах Саган-Заб и Ая, на горах Сахюртэ, Орсо и в районе улуса Елгазур; большого раздела, посвященного семантике и датировке петроглифов Байкала; завершает книгу краткое заключение. Книга иллюстрирована многочисленными рисунками и photographиями наскальных изображений, включает схемы расположения отдельных рисунков на скалах и схематический план местонахождения байкальских писаниц. Монография написана на основе обширного фактического материала, собранного А. П. Окладниковым во время многократного обследования байкальских писаниц, а также обобщения всех имеющихся литературных свидетельств об этих памятниках, в том числе работ предшествующих исследователей этого края Н. Н. Агапитова, Б. Э. Петри, Т. И. Савенкова, П. П. Хороших и др. Привлечен также интереснейший фольклорный и этнографический материал.

Значительное внимание в книге уделяется рисункам в небольшой байкальской бухте Саган-Заб. Автор выделяет среди них как ранние, так и более поздние петроглифы. К наиболее ранним отнесены антропоморфные фигуры, изображенные фронтально, с широкими плечами и как бы треугольным туловищем, со слегка согнутыми в коленях ногами и различным положением разведенных рук. Эти фигуры А. П. Окладников справедливо рассматривает как изображение танцующих людей, причем их позы характерны для традиционных танцев Востока, где главная роль принадлежит символике рук. Сопоставляя архаичную группу рисунков из Саган-Заб с другими памятниками эпохи бронзы Сибири, и прежде всего сейминского типа в Западной Сибири и глазковского типа в Восточной Сибири, автор приходит к выводу о том, что их можно датировать II тысячелетием до н. э. Этот вывод подкрепляется открытием в той же бухте Саган-Заб поселения с характерным инвентарем этого времени.

Вместе с тем нельзя не согласиться с подмеченным автором неожиданным созвучием антропоморфных фигур из Саган-Заб и древнеегипетских фресок, среди которых мы видим такие же мощные нагие торсы, широко развернутые плечи и фронтальность туловища. Эти сопоставления с далеким Средиземноморьем можно расширить: так, в памятниках древней Аттики мы, например, видим очень близкие по стилю и композиции фигуры обнаженных плакальщиков на знаменитой амфоре из Дипилонского некрополя в Афинах (VIII в. до н. э.)².

К более поздней группе относится, в частности, изображение скачущего оленя с поджатыми ногами и огромными закинутыми назад рогами. Такие фигуры оленей

¹ А. П. Окладников. Шишкинские писаницы. Памятник древней культуры Прибайкалья. Иркутск, 1959; А. П. Окладников, В. Д. Запорожская. Ленские писаницы. М.—Л., 1959; А. П. Окладников. Петроглифы Ангара. М.—Л., 1966; А. П. Окладников, В. Д. Запорожская. Петроглифы Забайкалья, ч. I, Л., 1969, ч. II, Л., 1970; А. П. Окладников. Петроглифы Нижнего Амура. Л., 1971; А. П. Окладников, А. И. Мартынов. Сокровища тожских писаниц. М., 1972; А. П. Окладников. Петроглифы Сакачи-Аяна. М., 1974, и др.

² Б. Р. Виллер. Искусство древней Греции. М., 1972, рис. 63.

были характерны для скифского искусства на огромной территории евразийских степей в I тысячелетии до н. э.

Ряд наскальных изображений в байкальской бухте Ая во многих отношениях близок рисункам в Саган-Заба и сюжетно и стилистически. Такова, например, выбитая здесь большая фигура человека, показанного в фас, с округлой головой, увеличенной разведенными в стороны рогами, треугольным мощным туловищем с широкими плечами и узким тазом. Однако выполнена она не силуэтом, а контурными линиями (табл. 26а) в так называемом «скелетном» стиле, характерном для определенного круга сибирских петроглифов.

Среди рисунков на горе Сахюртэ, включающих антропоморфные изображения и фигуры животных, автор выделяет самые ранние из байкальских петроглифов. Это реалистичные изображения двух лосей во время гона, которые по аналогии с подобными фигурами на петроглифах Ангары и Лены датируются каменным веком. Такую датировку автор обосновывает не только тем, что сходны стиль и характер композиции (пара лосей, лось-самец преследует самку), но и тем, что у подножья скалы обнаружена мастерская каменоломня, существовавшая здесь в каменном веке.

Очень интересны и петроглифы на горе Орсо, в пади Малая Орсо, а также на скалах в районе улуса Элгазур, изображавшие людей и животных, главным образом изобей. Среди этих петроглифов имеются более ранняя и более поздняя группы, причем последняя, хотя и небольшая, но очень выразительная, бесспорно относится к средневековью и позволяет дать характеристику позднейшего этапа в развитии наскального изобразительного искусства местных племен.

Наряду с археологическими в монографии рассматриваются и чисто этнографические проблемы, точнее — те сюжеты, в которых видна своего рода стыковка археологии и этнографии. Так, касаясь вопроса об идейном содержании наскальных рисунков на берегах Байкала, А. П. Окладников присоединяется к мнению исследователей бурятской культуры М. Н. Хангалова и Б. Э. Петри о том, что в их основе лежат шаманские представления. Ряд рисунков автор связывает с культом плодородия. Так, одно из изображений в Саган-Заба А. П. Окладников вполне обоснованно считает фигурой женщины, показанной в момент родов. В подобных наскальных изображениях отражено, по мнению А. П. Окладникова, стремление усилить магическими приемами производительную силу человеческой общины и животного мира.

Обращаясь к шаманским материалам, А. П. Окладников пишет об очень глубокой древности шаманского комплекса, полное сложение которого он относит к началу I тысячелетия до н. э. (стр. 100). Автор монографии несомненно прав, считая, что известное нам в Сибири шаманство с его мифологией и ритуалом сложилось в Северной Азии и отчасти в Центральной Азии в зоне контактов между племенами тайги и степей (стр. 99). Изучение истории шаманства, причем не только на основе археологических, но и этнографических материалов и письменных источников, все в большей мере свидетельствует о том, что известные нам формы развитого сибирского шаманства сложились на стыке степных и лесных культур. Однако вопрос о времени полного сложения шаманского комплекса, в особенности его развитых форм у южносибирских народов, вряд ли может считаться окончательно решенным. Имеются серьезные основания полагать, что процесс сложения развитых форм шаманства в основном завершился лишь во второй половине I тысячелетия н. э.³ Вместе с тем возможность существования уже в рассматриваемую эпоху определенных форм шаманства, сохранившихся до первой четверти XX в., вряд ли может оспариваться, и трактовка А. П. Окладниковым ряда байкальских рисунков как связанных с шаманством вполне правомерна и весьма убедительна. Привлекая археологические, фольклорные и этнографические источники, А. П. Окладников связывает бурятские шаманские ритуалы и мифологию шаманистов с теми сюжетами, которые обнаружены на наскальных изображениях. Это и ритуальные танцы шаманов с характерными для них атрибутами, и изображение женщин-лебедей, которые столь ярко сближают древние фрески с аналогичными сюжетами в мифологическом творчестве бурятского народа.

Не имея возможности рассматривать здесь все «шаманские» рисунки, детально анализируемые автором книги, позволим себе в качестве примера поразительных связей ряда байкальских петроглифов с сибирским шаманством остановиться на очень интересной антропоморфной фигуре из бухты Ая, выполненной в «скелетном» стиле и упомянутой выше. Она изображена с небольшим рогообразным возвышением на голове и несколькими полосами, прикрывающими большую часть «лица». На широко развернутых плечах имеются загадочные выступы, слегка расширенные в верхней части. Рядом с фигурой показаны змеи. На ее туловище отчетливо изображены «позвоночник» и «ребра». А. П. Окладников бесспорно прав, трактуя их как оформление шаманского костюма и ссылаясь при этом на описание якутского шаманского плаща, для которого характерно изображение подобного «скелета». Несомненно справедливо и отнесение изображенных здесь змей к шаманским принадлежностям. Действительно, у якутов, тувинцев и некоторых других сибирских народов к шаманскому плащу пришивали изображения — вместелища духа змеи, считавшегося одним из наиболее сильных помощников шамана. Однако хотелось бы отметить, что, пожалуй, наи-

³ С. И. Вайштейн. Тувинское шаманство. М., 1964, с. 10—17.

более близкие аналогии этой фигуре, позволяющие раскрыть семантику не только «скелета» и «змея», но и некоторых других деталей изображения, обнаруживаются в шаманском костюме восточных тувинцев. Так, по аналогии с ним можно считать, что фигуру из Ая увенчивает головной убор, в верхней части которого имеются разведенные в стороны, но сшитые у основания длинные орлиные перья, а на лицо опускаются жгуты-ленты. На плечах фигуры видны обращенные вверх пучки перьев, олицетворяющие птичью ипостась шамана. Близость ряда деталей ритуальной одежды шаманской фигуры из бухты Ая к таковым у восточнотувинских шаманов свидетельствует о значительной древности традиции облачения у последних. Вместе с тем, учитывая, что «скелет» и некоторые другие особенности, присущие костюму восточнотувинских шаманов, известны также тунгусам, эвенкам, селькупам, якутам, кетам, в этногенезе которых участвовали компоненты, связанные в той или иной мере с пребыванием в обширном районе от Саян до Байкала, есть основания полагать, что шаманский костюм древнего прибайкальца, столь реалистично переданный в уникальной фигуре из Ая, был характерен не только для предков бурят, но и для всего древнего населения этого региона Южной Сибири.

Ряд параллелей в шаманской мифологии бурят и байкальских петроглифах, рассмотренных в рецензируемой книге, чрезвычайно интересен и свидетельствует о глубоких местных корнях бурятской культуры.

Разумеется, у читателей может возникнуть вопрос, как оказались в мифологии бурят сюжеты, восходящие к эпохе бронзы, если в то далекое время на берегах Байкала не только не было бурят, но и их ближайших предков. Ведь сам А. П. Окладников утверждал в своих предшествующих работах, что ядро бурятской народности составили монголоязычные переселенцы из степей Центральной Азии, появившиеся на берегах Байкала не ранее X—XI вв. Отвечая на этот вопрос, А. П. Окладников в рецензируемой монографии подчеркивает, что становление бурятской народности как этнографического целого шло сложными путями: на древнюю этническую основу и древнюю таяжную культуру, уходящую корнями не только в бронзовый, но и в каменный век, наслоились со временем новые элементы — степные, связанные сначала с тюрко-, а затем и с монголоязычными группами, которые влились в состав аборигенного населения. Вместе с тем в монографии большое внимание уделяется и другой стороне культурного развития местных племен — их культурным связям, далеко выходившим за пределы Прибайкалья. Байкальские петроглифы позволяют говорить о культурных контактах создавших их племен II и начала I тысячелетия до н. э. не только с населением соседних областей Сибири, но также районов, расположенных далеко на запад — Карелии, Прибалтики, вплоть до Скандинавского полуострова. Такая же непрерывность в распространении культурных элементов, как подчеркивает автор монографии, связывает Южную Сибирь и Забайкалье с Центральной и Средней Азией, что отражает существование уже в эпоху бронзы, а возможно, и ранее, широких по масштабам культурно-этнических контактов между древним населением этих областей Евразии.

Заканчивая чтение этой увлекательно написанной и очень содержательной книги, нельзя не согласиться с ее заключительными строками: «Самый главный вывод из всей суммы частных фактов имеет еще более широкий и общий характер. Он подтверждает, что в конечном счете все богатство нашей культуры есть результат коллективного творчества народов всей планеты — общее дело и достижение всего человечества».

С. И. Вайнштейн

НАРОДЫ АМЕРИКИ

Ю. В. Кнорозов. Иероглифические рукописи майя. Л., 1975, 272 с.

Ленинградское отделение издательства «Наука» выпустило в свет новую монографию Ю. В. Кнорозова «Иероглифические рукописи майя», которая представляет собой итог многолетней работы автора по анализу и прочтению трех уцелевших рукописей индейцев майя, относящихся к XII—XV вв. н. э. Эта книга служит непосредственным продолжением монографии того же автора — «Письменность индейцев майя» (М.— Л., 1963), где содержатся факсимиле упомянутых рукописей, принципы их дешифровки, основы майяской грамматики и словарь старого языка юкатанских майя.

И хотя работы Ю. В. Кнорозова получили ныне широкое признание не только в нашей стране, но и за рубежом, необходимо еще раз отметить огромный личный вклад советского ученого в исследование культуры древних майя, в дешифровку и прочтение их литературного наследия. «Ирония интеллектуальной истории», — пишет профессор Йельского университета Майкл Ко, — состоит в том, что известие о дешифровке письменности майя пришло не из США, Англии или Германии, которые имели почти полную монополию на изучение майя в течение прошедшего столетия, а из Советской России — от ученого, который вдохновляется в своей работе идеями марксизма-ленинизма — Юрия Кнорозова»¹.

Видимо, специалисты в области лингвистики смогут в дальнейшем по достоинству оценить поистине подвижнический подвиг ученого. Ю. В. Кнорозов провел колоссальную работу по изучению особенностей языка далекого и малоизвестного нам до сего дня индейского народа, дал правильную общую оценку письменности майя как письменности иероглифической, разработал новые и оригинальные приемы дешифровки древних писмен (и не только майяских) — метод «позиционной статистики» и, наконец, дал полный перевод на русский всех трех уцелевших доиспанских рукописей, заговоривших вновь, пять веков спустя. Для нас же, историков, здесь важнее конечный результат — в научный оборот введен совершенно новый, полновесный исторический источник, способный во многом восполнить и изменить наши пока еще скудные представления о характере общества индейцев майя накануне испанского завоевания в XVI в. Правда, источник этот по своему содержанию весьма сложен и своеобразен. Все три иероглифические рукописи — Дрезденская, Парижская и Мадридская — являются жреческими требниками. «Они содержат подробный перечень обрядов, жертвоприношений и предсказаний, связанных со всеми отраслями хозяйства (земледелие, охота, рыбная ловля, пчеловодство) и касающихся всех слоев населения (жрецы, воины, купцы, ремесленники, земледельцы), кроме рабов. Соответствующие указания даны в виде краткого описания занятий богов. Эти сведения давали основание жрецу совершать обряды, требовать надлежащей жертвы, определять благоприятное время и предсказывать будущее (в основном, конечно, бедствия) всем — от правителей до новорожденных, используя исторические прецеденты и астрологические данные... В жреческих требниках дела богов (примеру которых должны были следовать соответствующие группы жителей) описаны в строгих календарных рамках, с точностью до одного дня. Даты записаны цифрами и знаками. Занятия богов кратко указаны в тексте и, кроме того, изображены на рисунке (сцена). В сценах, кроме изображений, часто встречаются различные поясняющие символы или слова. Таким образом, в параграф рукописи входят календарные даты, текст и рисунок...»².

Сложный, эзотерический характер упомянутого источника делает его во многом малодоступным широкому читателю. Однако довольно пространные и квалифицированные комментарии Ю. В. Кнорозова в значительной мере устраняют и это препятствие, облегчая проникновение в таинственный и малопонятный для нас мир помыслов, чувств, верований и деяний создателей одной из величайших цивилизаций доколумбовой Америки.

К сожалению, издательство, по каким-то непонятным соображениям, неожиданно «урезало» столь необходимый читателю раздел комментариев, произвольно его сократив. В данном случае налицо вопиющее противоречие между интересами весьма широкой (в том числе и немалой зарубежной) читательской аудитории и узко ведомственными соображениями учреждения, основная задача которого, думается, состоит в том, чтобы пропагандировать и распространять выдающиеся достижения советской науки. По неизвестным причинам из рукописи книги были выброшены столь же необходимые читателю «Алфавитный указатель аффиксов и служебных слов», «Указатель имен», «Указатель дней 260-дневного цикла» и т. д., общим объемом свыше 30 страниц. Мне представляется, что подобное обращение со столь уникальной по характеру научной работой, какими бы высокими словами о рентабельности, «экономии средств» и т. д. оно ни прикрывалось, должно быть решительно осуждено. Мелкая экономия оборачивается здесь гораздо большими потерями морального и научного порядка.

В чем же состоит значение вновь опубликованных рукописей для исследования культуры древних майя?

Прежде всего в том, что это первые подлинные письменные документы майя доиспанской эпохи, дошедшие до наших дней, прочитанные и переведенные на один из европейских языков. До сих пор мы располагали для характеристики постклассического общества майя (X—XVI вв. н. э.) на Юкатане только испанскими источниками XVI—XVII вв. н. э., в которых многие стороны повседневной жизни индейцев либо искажались, будучи непонятными, либо вообще не освещались. Индейские источники — вроде известных книг «Чилам Балам»³, написанных латинскими буквами, но на языке майя, — хотя и включали в себя значительную информацию по доиспанской эпохе, были созданы уже в колониальный период и не могли не нести на себе заметного влияния христиан-

¹ М. D. Сое. *Maya scribe and his world*. N. Y., 1973, p. 11.

² Ю. В. Кнорозов. *Иероглифические рукописи майя*. Л., 1975, с. 228.

³ См. Ю. В. Кнорозов. *Письменность индейцев майя*. М.—Л., 1963, с. 47—101.

ства и европейской культуры. Следовательно, майянистика вместе с прочтением этих грех рукописей XII—XV вв. н. э. впервые получила аутентичные исторические документы для периода, на несколько столетий предшествовавшего приходу в Новый Свет испанских конкистадоров. В этих документах, созданных майя и для своих внутренних потребностей, объективно отражены многие стороны их повседневной жизни, экономики, социально-политической структуры и верований. Особенно ценный материал дают рукописи для изучения религии древних майя. Большой интерес представляет, например, фигура Кан-ваай-туна (синоним Кан-ваай-ку) — бога-распорядителя четырех «зловещих» дней в конце года, когда производилась передача власти очередному правителю (аналогичные функции выполняли также Хо-ваай-тун, Мам; Йуу-аан). Этот бог, безусловно, имел вполне реального двойника и на земле в виде соответствующего должностного лица (видимо, верховного жреца), следящего за правильностью передачи власти от одного правителя другому.

Имена многих богов пантеона майя мы вообще впервые узнаем только из рукописей: Иум Виил — бог изобилия, К'ашиш — бог дождя, боги — покровители профессий и сословий и т. д. В целом данные по майяской религии, содержащиеся в названных документах, — хорошая основа для проникновения и в более раннюю эпоху — время существования классических городов-государств (I тысячелетие н. э.).

Не менее важно и то, что на основе этих новых исторических источников Ю. В. Кнорозов создал впечатляющую картину майяского общества кануна испанского завоевания. Перед нами во всей осязаемой плоти фактов раннеклассовая цивилизация индейцев доколумбовой эпохи — один из наиболее типичных примеров раннеклассовой государственности и цивилизации древнего мира, дающий богатый материал для соответствующих параллелей и сопоставлений. И вполне закономерно В. Н. Никифоров в своей обстоятельной монографии «Восток и всемирная история», как бы подводящей итоги «второго раунда» дискуссий об «азиатском способе производства», подчеркнул, что благодаря исследованиям Ю. В. Кнорозова «Города-государства Центральной и Южной Америки несравненно полней, чем скудные сведения о древнеегипетской или шумерийской цивилизациях, позволяют представить жизнь первых островков классового общества...»⁴. Напомним, что речь идет как раз о постклассических обществах (X—XVI вв.) доиспанской Мезоамерики и Перу. Города-государства юкатанских майя предстают в интерпретации Ю. В. Кнорозова (см. раздел комментариев к рукописям, стр. 226—257) как сложные и динамичные социально-экономические организмы, с иерархической стратификацией общества, наследственными династиями правителей, влиятельным жречеством, военной и придворной знатью, профессиональными ремесленниками и торговцами (которые обслуживали, правда, главным образом нужды правящей верхушки города), свободными общинниками (земледельцами, рыбаками, охотниками, пчеловодами и т. д.), всякого рода зависимыми людьми и рабами. Экономическую основу майяских городов-государств на Юкатане составляло земледелие — подсечно-огневая система «мильпа» (стр. 230—238).

Однако для полноты исторической картины неотлифические рукописи майя необходимо сопоставить с другими видами источников, и прежде всего с археологическими находками. Только такой комплексный метод исследования и дает максимальный эффект при всякого рода исторических реконструкциях древних социально-экономических систем. И пожалуй, нигде больше в Новом Свете плодотворные результаты этого союза археологии, этнографии и истории не проявляются столь наглядно и ярко, как на территории культуры майя. Особенно велики возможности археологии и этнографии в области изучения древней экономики. Не приходится сомневаться в том, что основой хозяйства юкатанских майя в X—XVI вв. было подсечно-огневое майсовое земледелие. Справедливы и слова Ю. В. Кнорозова об ограниченных возможностях этой экстенсивной системы. «Через 2—3 сезона, — пишет он, — кукурузное поле истощалось и на четвертый год жрецы уверенно предсказывали неурожай...» (стр. 230). Однако в таком случае остается непонятным, каким образом достигли древние майя прочной оседлости, значительной концентрации населения в определенных районах и, наконец, создания многолюдных городов, существовавших непрерывно в течение многих столетий? Здесь и приходят на помощь данные археологии и этнографии. Выяснилось, что сложный, многоцелевой характер земледелия у древних майя (сочетание на одном участке различных культивируемых растений и деревьев) позволял долгое время сохранять плодородие почвы даже в условиях ее интенсивной эксплуатации при подсечно-огневой системе. Кроме того, многообразие природных и климатических условий даже в пределах сравнительно единой географической зоны лесистых тропических равнин (долины рек с ежегодными паводками, озера, гряды холмов, болотистые низины и т. д.) позволяло индейскому населению жить оседло на одном месте, без какой-либо опасности исчерпать плодородие окрестных полей. Большую роль играло сочетание «мильпового» лесного земледелия с интенсивной обработкой искусственно удобряемых приусадебных участков, садов и огородов, существовавших на всей территории майя. Наконец, археологически доказано теперь и наличие у майя с глубокой древности и некоторых интенсивных систем земледелия: террасы, каналы, «возвышающиеся поля» (ridged-fields) и т. д.

⁴ В. Н. Никифоров. Восток и всемирная история. М., 1975, с. 249.

Мне представляется не совсем правильным видеть, как это делает Ю. В. Кнорозов (стр. 229—230), в присутствии в рукописях сведений о собирательстве улиток, моллюсков и водяных лилий на берегах водоемов только ретроспективное отражение древних доземледельческих способов хозяйственной деятельности. Увы, даже в эпоху расцвета цивилизации зыбкое равновесие земледельческого хозяйства майя всецело зависело от капризов природы. Засухи, ураганы, неустойчивые тропические ливни часто вызывали в селениях Юкатана подлинное опустошение. И тогда майские земледельцы, чтобы не умереть с голоду, вынуждены были добывать себе пищу собирательством, рыболовством и т. д. Кроме того, водное и лесное собирательство, видимо, довольно широко практиковалось для пополнения запасов пищи между сборами урожаев маиса и прочих сельскохозяйственных культур. Этим и объясняется, по-моему, присутствие столь странных, на первый взгляд сюжетов, в требниках сельских жрецов майя XII—XV вв., как собирательство водяных лилий.

Очень полезным оказалось сопоставление сведений о погребальном обряде, содержащихся в рукописях, с данными археологии. «Умершего окрашивали в красный цвет (очень древний обычай, вероятно, не раз переосмысливавшийся)», — пишет Ю. В. Кнорозов (стр. 249). Судя по археологическим находкам, в I тысячелетии н. э. в низменных лесных областях майя в красный цвет окрашивали только погребенных самого высокого социального ранга. Этой же краской покрывались стены заупокойных храмов правителей, лица и открытые части тела у фигур, запечатленных на стелах, притолоках и рельефах майяских городов.

«В связи с преданиями о прибытии предков с севера, — продолжает Ю. В. Кнорозов, — считалось, что умерший отправляется на легендарную северную родину...» (стр. 249). При раскопках Тикаля и Вашактуна — древнейших центров цивилизации майя классического периода — было установлено, что наиболее пышные и богатые гробницы содержат погребения людей, лежащих вытянуто на спине, головой на север, т. е., видимо, к легендарной прародине⁵.

Весьма интересными представляются мне и сообщения рукописей о наличии у майя накануне конкисты культа предков. По Дрезденской рукописи, например, бог-земледелец отправляется в определенное время года к могилам предков «для получения руководящих указаний от умерших...» (стр. 249). Рядовые общинники майя хоронили своих покойников под полами и платформами домов, после чего, согласно некоторым источникам XVI в. (Диего де Ланда), дом покидался жителями, оставаясь в полном владении призрака умершего. Однако археологические исследования не подтверждают этих сообщений, по крайней мере для доклассического (I тысячелетие до н. э.) и классического (I тысячелетие н. э.) периодов. При раскопках скромных жилищ (house mounds) выяснилось, что захоронения в них совершались многократно, но дом, тем не менее, продолжал нормально функционировать, как и прежде (Вашактун, Бартон Рамье и др.).

В Тикале жилые и хозяйственные постройки обычно встречаются группами по две — пять штук, расположенными вокруг прямоугольных внутренних дворов и площадок. Американские археологи с полным основанием отождествляют каждую такую группу с домохозяйством большой патрилокальной семьи (extended patrilocality family). Почти во всех этих домохозяйствах одна из построек архитектурно, да и по более богатому набору вещей, несколько выделялась среди других. Именно там находится обычно и больше всего погребений. Вполне вероятно, что в этих более просторных и богатых домах жили самые старшие в большесемейных коллективах.

Таким образом, культ предков (судя по историческим и этнографическим данным) играл существенную роль в религиозных обрядах всех слоев общества майя. Он осуществлялся первоначально только в семейных святилищах и внутри домов, так как умерших хоронили тут же, под полами жилищ. Как и все земледельческие народы, майя придавали большое значение общению с духами предков с целью получения от них покровительства и прогнозов на будущее. Однако по мере усиления социального размежевания в обществе майя и укрепления власти правителя все более выступает на первый план поклонение царским предкам. Культ предков правителя осуществляется теперь в специальных храмах, возведенных над гробницами наиболее почитаемых представителей правящей династии. Судя по материальным признакам проявления этого культа (культ стелы — алтаря) и по размаху архитектурного строительства в этой связи, уже на рубеже нашей эры поклонение царским предкам приобрело характер общегосударственной религии. Именно данная особенность майяской религии оказала непосредственное влияние как на официальное искусство городов-государств I тысячелетия н. э., так и на их внешний вид и планировку. Наиболее ярким примером такого рода мемориальных сооружений, связанных с заупокойным культом правителя и его предков, служит «Храм Надписей» в Паленке (VIII в. н. э.): там между гробницей правителя и храмом наверху существует не только опосредованная, но и прямая связь — через особую каменную трубу — «канал для души», по меткому выражению А. Руса Лундье⁶.

⁵ A. Ruz Lhuillier. Costumbres funerarias de los Antiguos Mayas. México, 1968, p. 113—119.

⁶ A. Ruz Lhuillier. La civilización de los Antiguos Mayas. Santiago de Cuba, 1957, p. 145—166.

В заключение следует отметить еще один немаловажный момент. Как ни значительны сами по себе для современной американистики дешифровка и прочтение трех уцелевших иероглифических рукописей майя XII—XV вв., еще важнее представляются мне те многообещающие перспективы, которые открывает фундаментальная работа Ю. В. Кнорозова для дальнейших исследований в области майянистики. Перевод рукописей — хорошая база для изучения других текстов майя: речь идет прежде всего о многочисленных иероглифических надписях некалендарного характера, запечатленных на каменных стелах, алтарях и рельефах, а также на фресках и росписях керамических сосудов в городах I тысячелетия н. э. Наличие значительного числа стандартных надписей на погребальной керамике из царских гробниц классического периода открывает самые блестящие возможности в данном направлении⁷. Широкое чтение таких надписей на сооружениях и предметах, находимых во время раскопок древних городов, позволило бы в свою очередь довольно быстро вывести археологию майя на уровень археологии месопотамской и египетской, где, как известно, во многом «скупой» и ограниченный на историческую информацию археологический материал удачно дополняется сведениями дешифрованных еще в прошлом веке клинописных текстов.

В. И. Гуляев

⁷ М. Д. Сое. Указ. раб., с. 3—12.

СОДЕРЖАНИЕ

В. И. Васильев (Москва). Проблемы этногенеза и этнической истории народов Севера (на самодийских материалах)	3
Е. И. Царенко (Донецк). Лингвистические данные к этнической истории кечуа	18
Р. Дж. Уорд (Канберра), Дж. У. Уэбб (Миннеаполис), М. Левисон (Кингстон). Заселение Полинезии: дрейф или навигация? Применение имитационного моделирования к решению вопроса	29

Дискуссии и обсуждения

О роли социальных факторов в биологической дивергенции человеческих популяций

А. Г. Козинцев (Ленинград). Социальная среда и биологическая дифференциация человечества	44
В. П. Алексеев (Москва). Некоторые дополнительные соображения о соотношении исторического процесса и биологической дифференциации человечества	49
К итогам дискуссии по статье В. П. Алексеева «О роли социальных факторов в биологической дивергенции человеческих популяций»	64

Сообщения

Г. Д. Джавадов (Баку). Орудия боронования в Азербайджане (XIX — начало XX века)	68
Г. Н. Симакон (Ленинград). Киргизские национальные развлечения (конец XIX — начало XX века)	79
М. Б. Кенин-Лопсан (Кызыл). К вопросу о категориях тувинских шаманов	92
Ю. Г. Круглов (Москва). Календарные обряды и обрядовая поэзия в Калужской области	96
Н. А. Криничная (Петрозаводск). Историко-этнографическая основа преданий о «зачарованных кладях» (по материалам русских северных преданий)	105
С. И. Авербух (Белгород). О некоторых этнических названиях бассейна Кабула у античных историков Александра	112
В. Е. Баглай (Ленинград). Эволюция представления о Солнце в древнеацтекской мифологии	122

Поиски, факты, гипотезы

З. П. Соколова (Москва). Загадка Юильского городка	129
--	-----

Научная жизнь

Л. М. Ивлева (Ленинград). Чтения памяти П. Г. Богатырева	139
А. Ф. Некрылова (Ленинград). Заседание секции фольклора ЛГИТМиК, посвященное 50-летию первой экспедиции по комплексному изучению русского народного искусства	143
В. А. Липинская, С. Б. Рождественская (Москва). Выставка «Жостовский расписной поднос» (К 150-летию промысла)	144
А. А. Лебедева, М. Н. Шмелева (Москва). Выставка работ Стефании Кульчицкой «Народные традиции в современной одежде и вышивке»	146
Г. А. Комарова (Москва). Взаимосвязи музыкальных культур народов РСФСР (музыкально-этнографический концерт)	149
Коротко об экспедициях	151

Критика и библиография

Критические статьи и обзоры

- Л. Е. Куббель (Москва). Доколониальные политические структуры Африки в западноевропейской этнографии 155

Общая этнография

- В. И. Еремина (Ленинград). Типологические исследования по фольклору. Сборник статей памяти Владимира Яковлевича Проппа (1895—1970) 169

Народы СССР

- Н. Н. Чебоксаров (Москва). Этнографическое картографирование материальной культуры народов Прибалтики 171
О. А. Сухарева (Москва). Е. Е. Неразик. Сельское жилище в Хорезме (I—XIV вв.). Из истории жилища и семьи. Археолого-этнографические очерки 174
Т. А. Жданко, Б. А. Федорович (Москва). М. А. Итина. История степных племен Южного Приаралья (II — начало I тысячелетия до н. э.) 178
Е. М. Мелетинский (Москва). Е. Б. Вирсаладзе. Грузинский охотничий миф и поэзия 181
С. И. Вайнштейн (Москва). А. П. Окладников. Петроглифы Байкала — памятники древней культуры народов Сибири 183

Народы Америки

- В. И. Гуляев (Москва). Ю. В. Кнорозов. Иероглифические рукописи майя 185

SOMMAIRE

- V. J. Vassiliév (Moscou). Problèmes de l'ethnogenèse et de l'histoire ethnique des populations du Nord (d'après les matériaux samodiens) 3
Ye. J. Tsarienko (Donietsk). Données linguistiques pour l'histoire ethnique des Ketchoua 18
R. G. Ward (Canberra), G. W. Webb (Minneapolis), M. Levison (Kingston). Le peuplement de la Polynésie: dérive ou navigation? Application du modèle-ment imitatif à la solution du problème 29

Discussions et délibérations

Du rôle des facteurs sociaux à la divergence biologique des populations humaines

- A. G. Kozintsev (Leningrad). Milieu social et différenciation biologique de l'Humanité 44
V. P. Aléxéiev (Moscou). Quelques réflexions supplémentaires sur la corrélation entre le processus historique et la différenciation biologique de l'Humanité 49
Bilan de la discussion sur l'article de V. P. Aléxéiev «Du rôle des facteurs sociaux à la divergence biologique des populations Humaines» 64

Communications

- G. Dj. Djavadov (Bakou). Outils d'herse en Azerbaïdjan aux XIXe — début XXe siècles 68
G. N. Simakov (Leningrad). Les distractions nationales Kirghizes (fin XIXe — début XXe siècles) 79
M. B. Kénine-Lopsan (Kyzyl). Contribution au problème des catégories des chamanes de Touva 92
Yu. G. Krouglov (Moscou). Rites de calendrier et poésie rituelle dans la région de Kalouga 96